





СОКРОВИЩА  
МИРОВОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

---

ВОЛЬТЕР

ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ, МЕМУАРЫ И  
ДИАЛОГИ

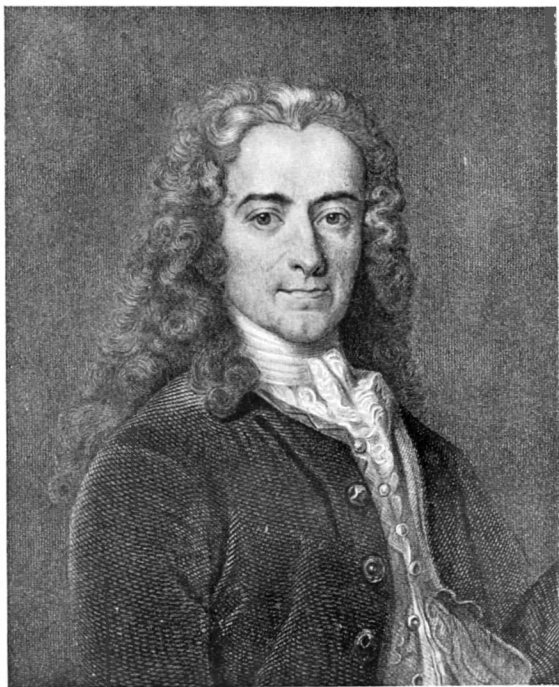
I

---

“ А С А Д Е М И А ”

1 9 3 1





**Ф. М. АРУЭ ДЕ ВОЛЬТЕР**

ВОЛЬТЕР

---

ТОМ: I

ФИЛОСОФСКИЕ  
ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

---

ЗАДИГ \* МИКРОМЕГАС  
КАНДИД \* ПРОСТАК  
ЦАРЕВНА ВАВИЛОНСКАЯ

---

ПЕРЕВОД ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
А. Н. ГОРЛИНА И П. К. ГУБЕРА  
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ  
П. С. КОГАН



---

"АКАДЕМИА"  
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД

1 9 3 1

**ОРНАМЕНТАЦИЯ КНИГИ**  
**ХУД. В. М. КОНАШЕВИЧА**

Ленинградский Областлит № 64830.  
Тираж 5000 Заказ. 8381. Гос.  
тип. „Ленингр. Правда“,  
Ленинград, Социали-  
стическая улица,  
7. № 14

## ФРАНСУА-МАРИ АРУЭ ДЕ ВОЛЬТЕР

(21 ноября 1694 г. — 31 мая 1778 г.).

### I

Настоящее имя Вольтера было: Франсуа-Мари Аруэ. Он родился в 1694 г. и умер в 1778 году. Его жизнь и деятельность принадлежат той великой эпохе, когда французская буржуазия готовила свержение дворянской монархии. Революция вспыхнула через одиннадцать лет после смерти Вольтера. Его считают величайшим из тех писателей XVIII века, которые подготовили умы к революции.

Чтобы понять огромное значение литературной деятельности этого гениального человека, напомним вкратце о ходе классовой борьбы в десятилетия, предшествовавшие взрыву 1789 года. Эти десятилетия были отмечены необыкновенным расцветом торговли и промышленности, вместе с которыми росло могущество буржуазии. В то время как дворянство выпускало из своих рук нити управления хозяйственной жизнью страны, буржуазия становилась фактическим ее руководителем. В стране существовали разные слои собственников, не принадлежавшие к привилегированному сословию и в то же время выполнявшие важнейшие функции в экономике тогдашней Франции. Капиталисты и финансисты, наживавшие миллионы на откупах, на поставках для армии и владевшие концессиями на торговлю с Индией; менее богатые негоцианты и промышленники таких крупных городов.



как Бордо, Нант и Лион; наконец, рантье, жившие доходами с процентных бумаг, т. е. кредиторы государства, все эти группы населения играли такую крупную роль, что их развитием обеспечивалось дальнейшее развитие самой страны. А между тем интересы буржуазии всюду приходили в столкновение с существующим режимом. Государственная система была построена на принципе политического неравенства. Рядом с буржуазией существовали два сословия, которые пользовались привилегиями. Эти сословия были: родовитое дворянство и духовенство. Таким образом французский народ состоял из трех сословий, из которых два, составлявшие меньшинство населения, пользовались сохранившимися от эпохи феодализма большими правами и преимуществами, а все остальное население, т. е. все те, кто не принадлежали к двум высшим сословиям, население, объединявшееся под именем третьего сословия, было лишено этих прав.

Дворяне являлись полными хозяевами в своих поместьях, они сохранили в ряде областей право суда, они не платили податей, которые платило остальное население. «Податной» — это слово было не только экономическим, но и морально-психологическим термином. Оно обозначало как бы человека низшей породы. Дворяне пользовались привилегиями по сбору винограда и продаже вина, облагали поборами крестьян, захватывали земли, опираясь на суд, который они сами же и творили.

В таком же привилегированном положении находилось и духовенство. Епископы и аббаты не платили податей, церковь обладала огромной политической властью и громадными территориальными богатствами, которые были освобождены от поземельного налога. Духовенство имело право продавать вино, изготовляемое из его винограда, беспошлинно и даже не подвергаясь контролю акцизного ведомства. Не трудно представить, какой страшной да-

держивающей силой являлись все эти привилегии для дальнейшего роста промышленности и торговли. Самые предприимчивые люди на каждом шагу наталкивались на конкуренцию со стороны вырождавшихся веселящихся придворных кутил. При покупке ли земли, при устройстве ли фабрики, в коммерческом ли предприятии, они сталкивались с людьми, которые не должны были платить пошлин и налогов там, где буржуа приходилось учитывать всевозможные поборы, — с людьми, которые были избавлены от каких бы то ни было хлопот и формальностей там, где буржуа окружали тысячи затруднений и препятствий. Церковь и дворянство стояли препоной на пути прогресса. Буржуазия не могла двигаться вперед, пока существовали привилегии двух высших сословий. В это время интересы буржуазии совпадали с делом свободы, и история выдвинула буржуазию в качестве вождя освободительного движения. Передовая буржуазная литература ощущала дворянские привилегии прежде всего, как моральную неправду, как насилие над человеческой личностью, как попрание естественных прав человека, как поругание человеческого достоинства. Этому немало содействовали распущенность аристократии и нетерпимость и фанатизм церковников. Дворяне не только обирали народ, они не хотели садиться за один стол с представителями третьего сословия. Церковь не только желала беспощадно получать доходы с своих виноградников, она душила всякое проявление свободной мысли. Она преследовала протестантов, она угрожала ученым и философам, при чем лишь в редких случаях ей не удавалось добиться содействия светских властей. Между тем, буржуазия нуждалась в свободе исследования, в развитии науки и техники для своего экономического роста и успехов промышленности. Таким образом борьба буржуазии против церкви и дворянства в своем философском и

художественном выражении превращалась в борьбу за свободу совести, за свободу мысли и человеческой личности. Только после революции стало ясным, какие свободы отстаивали откупщики и рантие. Но в те времена капиталисты боролись против государственного строя, который одинаково давил все живые и творческие силы страны.

## II

В этой социальной обстановке разворачивалась литературная деятельность Вольтера. Он был величайшим выразителем этой молодой воинствующей буржуазии; он был наделен всеми ее инстинктами, ее слабостями и ее героическими качествами. С людьми, привыкшими к преимуществам с момента рождения, вступили в борьбу люди, добывавшие эти преимущества своей энергией, умом, инициативой, знаниями и изобретательностью. Неудивительно, что эти новые люди были сильны, честолюбивы и упорны в борьбе. Им нужна была прежде всего свобода для борьбы, для проявления своих дарований. Завоевав себе положение, они ценили его и кичились им, так как были обязаны им только себе. Их любовь к почестям, их жажда богатства и славы не походила на феодальную гордость старого дворянства. Там была традиция, здесь — захват, там — привычка, почти равнодушные, здесь — ясное сознание ценности завоеванных преимуществ. Вольтер прежде всего воплощение своего века в этом смысле. Он — сын века, утвердившего закон свободного соперничества и конкуренции, закон захвата в качестве основного закона жизни. Он — завоеватель. Если он — защитник свободы, если он гениальными сарказмами ниспровергал устои прошлого, традиции, авторитет, религию привилегии, то делал это потому, что его

инстинкт властного и предприимчивого буржуа требовал простора, требовал освобождения от всех пут для проявления силы и творчества новых господ положения. Он был пропитан духом буржуазного класса, его жадностью, его инстинктивным пренебрежением к массам, не сумевшим завоевать себе положение, наконец, его явным влечением к разлагающейся аристократии, за которой все еще оставалась наследственная гордость, привычка к командованию, наследственные земли и богатства. Но с другой стороны, ему же принадлежат и лучшие качества буржуазии героического периода ее истории, когда она шла во главе европейских народов, вела их к новой капиталистической индустриальной форме производства, представлявшей высшую ступень экономического развития по сравнению с остальными земледельческими и ремесленными формами. Ее классовые интересы совпадали с делом свободы, а их осуществление вело неизбежно к уничтожению цепей, сковывавших живые общественные силы. Выступления буржуазии рассеивали в то время атмосферу тьмы и невежества, разбивали предрассудки, открывали беспредельные перспективы человеческому гению. Он принадлежит этой буржуазии, готовившейся к таким техническим победам, которые не знало предшествующее человечество, которые должны были поразить мир чудесами открытий и изобретений. Отсюда сочетание бесчисленных противоречий в этом человеке, который одновременно защищал равенство всех людей и в то же время боялся дать власть и свободу народным массам, который издевался над церковью, но боялся уничтожить бога и старался сохранить его авторитет и идею его бытия в глазах народа. Вольтер жил и писал в тот период истории буржуазии, когда ее освободительная роль скрывала ее инстинкты, которые должны были обнаружиться после ее победы. Вот почему в сознание потомства Вольтер пере-

шел в качестве борца за свободу, в качестве великого разрушителя основ «порядка», в качестве опасного безбожника. «Это уж так самим богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят», замечает гоголевский городничий. Так думала вся Европа, — вольтерьянство почиталось восстанием против бога и учрежденного им порядка.

В действительности Вольтер теперь на историческом отдалении представляется значительно более умеренным, чем он казался своим современникам. Самая его жизнь была во многих отношениях типичной историей молодого буржуа, пролагающего себе дорогу к влиянию и богатству. Он был сыном нотариуса в Шатле, переселившегося позднее в Париж, где он получил место в счетной палате. В иезуитском коллеже, где воспитывался будущий писатель, он сблизился с молодыми аристократами, и уже здесь приобрел себе популярность своими остроумными сатирическими стихотворениями. Ему едва минуло двадцать лет, когда его посадили в Бастилию за сатирические стихи, направленные против регента. Некий шевалье де Роган, которого также задел Вольтер, избил его палкой. Вызов на дуэль, посланный Вольтером, был встречен насмешкой, и таким образом сын буржуа, которого за его беспокойный нрав снова посадили в Бастилию, мог убедиться на собственном опыте в прочности существующего режима. Уже в эти годы Вольтер шел к своей карьере всеми доступными ему путями. Он завязывает связи, он наблюдает сильных мира сего, свою первую трагедию «Эдип» он посвящает жене регента, от которого получает подарок. После столкновения с де Роганом Вольтер уезжает (в 1726 г.) в Англию, страну, где буржуазия уже пользовалась огромным влиянием и где Вольтер познакомился с учением Локка, изучил английских поэтов Шекспира и Мильтона. Английская

наука и философия оказали на него огромное влияние, так же как и на других философов просветительного века во Франции. В еущности Вольтер и другие французские писатели XVIII в. были только великими популяризаторами идей, которые зародились в Англии, и эти идеи они распространили по всему миру. В 1729 г. Вольтер возвращается во Францию, где издает «Письма об Англии», этот пламенный гимн Англии, ее учреждениям, этот одновременно злой памфлет на феодально-клерикальную Францию. Издателя «Писем» посадили в Бастилию, книга была сожжена рукой палача, а сам Вольтер, спасаясь от преследований, нашел убежище у маркизы де Шатле, в ее поместьи Сирей на границе Лотарингии, где он провел более десяти лет в обществе этой выдающейся женщины, делившей с ним его труды.

В эти годы Вольтер продолжает завязывать связи. Он не стесняется лстыть сильным мира сего, пишет пьесу по случаю свадьбы дофина в 1745 г. и получает звание камергера. Он, враг неравенства, обличитель дворянских привилегий, однако с практицизмом истинного буржуа сам добивается дворянского звания. Раз оно является силой, раз оно лишнее оружие в борьбе за успех, Вольтер не отказывается захватить и это оружие. Он добивается места в Академии и, зная, какую огромную роль играют иезуиты в этом вопросе, он стремится завоевать их расположение. Тот самый Вольтер, который больше всех писателей сделал для уничтожения авторитета церкви и для дискредитирования духовенства, пишет письмо одному священнику: «Если когда-либо под моим именем была напечатана хоть одна строчка, которая доставила огорчение хотя бы одному сельскому дьячку, то я готов перед лицом церкви разорвать эти строчки. Я хочу жить и умереть мирно в лоне католической церкви. никого не огорчая, никому не вредя, не утверждая ни одного мнения.

могущего кому-либо показаться предосудительным». Итак, Вольтер стал академиком, придворным поэтом, писал оды в честь короля и пьесы для его развлечения. Не следует, однако, думать, что Вольтер был просто карьеристом, беспринципным льстецом, что он торговал своим цером. Вольтер знал цену своим высокопоставленным друзьям, и в своих лучших творениях он оставался верен себе и тем передовым идеям, которые выдвинула его эпоха, и часто необдуманная выходка, выдававшая презрение свободолюбивого поэта к придворной жизни, приводила к разрыву с теми аристократами, которых расположение Вольтер добыл с таким трудом и энергией.

### III

Своеобразный характер союза монархов и философов особенно ярко вскрывается в истории отношений Вольтера и Фридриха Великого. Этот прусский король, познакомившись с Вольтером, был очарован его остроумием и гениальностью. Когда в 1749 г. умерла госпожа де Шатле, Вольтер согласился, наконец, переехать в Берлин ко двору Фридриха, который давно уже приглашал к себе знаменитого писателя. В Берлине Вольтер сначала был осыпан милостями и получил звание камергера. Но вскоре между ним и королем начались разногласия. Причин было не мало. Есть основание думать, что Вольтер использовал свое пребывание у прусского короля для того, чтобы информировать свое правительство о некоторых политических тайнах. Но есть и причины другого порядка, бросающие тень на репутацию автора «Кандида». Он был замешан в одной некрасивой спекулянтской истории, с целью наживы, принял участие в сомнительной афере, запрещенной прусскими законами. Наконец, Вольтер, на обязанности которого, между прочим, лежало

исправление, в смысле стиля, рукописей короля, не раз позволял себе насмешки над литературными произведениями своего коронационного друга. В 1753 году, после трехлетнего пребывания в Берлине, Вольтер покинул Германию. Так потерпела фиаско эта наиболее яркая попытка союза между монархом и философом.

Покинув прусского короля, Вольтер тщетно пытался завоевать себе расположение французского двора. Но в придворных кругах хорошо помнили алой язык философа. То удовольствие, которое доставляло его остроумие, не могло искупить язвительных насмешек, которыми он клеймил сильных мира сего. В 1755 году Вольтер, обладавший уже крупными средствами, переселился в Швейцарию, где купил себе имение Ферне, которое вскоре приобрело мировую известность. Он был теперь независим, богат, пользовался беспримерным авторитетом, переписывался с папой и большинством европейских монархов, к его слову прислушивались государственные деятели всех стран. Когда по проискам иезуитов был колесован гугенот Калас, обвиненный в убийстве своего сына, будто бы хотевшего перейти в католичество, Вольтер привел в волнение весь цивилизованный мир своими пламенными филиппиками против фанатизма, своей горячей защитой идеалов терпимости и свободы совести. Три года Вольтер вел упорную борьбу за пересмотр дела Каласа и, по его собственным словам, за это время ни разу улыбка не появлялась на его лице. В конце концов дело было пересмотрено, честь несчастного мученика, яввшего жертвой изуверства, была восстановлена, а семье его было выдано тридцать шесть тысяч ливров в возмещение понесенного ею материального ущерба.

Именно фернейский период имеется в виду, когда говорят о Вольтере, как о великом борце против тьмы, против предрассудков, фанатизма и всех форм тирании и на-



сия. Писатель, которому был запрещен въезд в Париж, был главой международной республики мыслителей, республики интеллигентов всей Европы. Несмотря на запрещение, в 1779 году 84-летний Вольтер решил приехать в Париж. Само собой разумеется, что парижская полиция не осмелилась вспомнить о неотменном запрещении. Но король и правительство, епископы и аббаты были сильно встревожены появлением престарелого писателя. Все силы старого порядка заволновались при одной мысли, что Вольтер может переселиться в Париж. Дни, проведенные им в Париже, послужили поводом к небывалым овациям. Когда он приехал в Академию, все академики вышли ему навстречу, и он был тут же избран председателем на ближайшую сессию. При его выходе из Академии толпа обнажила головы. В театре, где шла его пьеса, при появлении Вольтера в ложе, публика устроила бурную овацию, в ложу вошел артист и возложил на голову писателя венки, на сцене вся труппа окружила бюст Вольтера и увенчивала его лавровыми венками, артистам не давали начинать их роли, прерывая каждое слово новыми овациями. При выходе из театра, карету Вольтера сопровождала с факелами огромная толпа. Вольтер не вынес этих волнений. Он умер в том же году 30-го мая.

Но и после его смерти правительство и король не перестали волноваться. Прах великого обличителя оставался страшной угрозой притеснителям. В церковном погребении Вольтеру было отказано. И после своей смерти Вольтер продолжал возбуждать ненависть реакционных сил, остался знаменем революции, — лучшее свидетельство того, что приговор истории клонился в его пользу. И в массе противоречий, отметивших путь Вольтера, итог получился с перевесом в сторону положительных, а не отрицательных сторон его жизни.

## IV

Переходя к литературной деятельности Вольтера, следует прежде всего сказать несколько слов о его философских и социально-политических взглядах. В своих религиозно-философских воззрениях он был деистом. Сущность этого учения заключается в признании существования бога, но в отрицании откровения, как источника его познания. Бога следует постигать разумом. Отсюда вытекало то следствие, что философы, люди разума, должны были занять место духовенства, в качестве толкователей воли и намерений бога, в качестве толкователей истины. В те времена деизм был передовым учением, огромным шагом вперед по сравнению с поповским учением об откровении. На практике деистическое учение позволило Вольтеру бороться с главным злом эпохи — с нетерпимостью и религиозными гонениями. Деизм вырывал духовное руководство человечеством из рук церковных изуверов и передавал его людям разума, он объявлял истину предметом человеческого суждения, разрешал свободу мысли и совести в той области, в которой до того человек приводился к истине кострами и колесованиями.

Из рационализма Вольтера вытекало и его политическое учение, — теория просвещенного абсолютизма. Выражаясь парадоксально, его религиозно-философским идеалом был философ, человек разума на папском престоле, его политическим идеалом был философ на королевском троне. Идея народоправства была чужда Вольтеру даже в тех скромных пределах, в каких допустил ее Монтескье в своей теории разделения властей. В политических воззрениях Вольтера еще сильнее, чем в философских, сказались его принадлежность к богатой

буржуазии и его связи с высшей аристократией. Буржуазия ненавидела дворянство, и через одиннадцать лет после смерти Вольтера она устроила великую революцию руками «народа», т. е. крестьянства, ремесленников, городской бедноты и т. д. Но буржуазия вовсе не собиралась передать власть в руки народа. Она, как мы знаем, лишит дворянство его привилегий, но завоюет власть для себя. Она создаст новые привилегии, правда, основанные не на родословном древе, а на предпринимательском гении, на инициативе и энергии, отлившихся в форму капитала, но привилегии, которые лягут на «народ», как называли в XVIII веке крестьянство и беднейшие группы городского населения, лягут не менее тяжелым игом, чем привилегии дворянства. Вольтер — плоть от плоти этой буржуазии. Его идеалы построены на культе сильных, предприимчивых и владеющих знаниями людей. В его глазах равенство и свобода в значительной степени есть свобода конкуренции, право каждого на равные условия в этой борьбе. Ему принадлежат знаменитые выражения по адресу народа, которые навсегда останутся позорным пятном на его имени. «Я боюсь, говорил он о крестьянах, что эта категория людей никогда не найдет ни времени, ни способности учиться. Мне кажется даже необходимым, чтобы существовали невежественные люди. Если бы вам, как мне, пришлось возделывать землю, вы, конечно, согласились бы со мною. Когда червь принимается рассуждать, все погибло». Или: «Народ всегда груб; это быки, которым нужны ярмо, погонщик и корм». И в своих доказательствах бытия бога он исходил, между прочим, из той идеи, что поддерживать веру в бога необходимо в интересах общества. Рассказывают, что Вольтер однажды попросил своих гостей не говорить против бога в присутствии своего лакея. «Я вовсе не хочу, чтобы он завтра

зарезал меня», т. е. Вольтер был убежден, что народ нельзя отвратить от преступлений иначе, как путем религии. Ему принадлежит известный афоризм: «Если бы бога не было, его необходимо было бы выдумать».

## V

Свои идеи Вольтер проводил в самых разнообразных литературных формах. Он был блестящим публицистом, автором замечательных памфлетов, писал лирические стихотворения, трагедии, повести, поэмы и т. д. Его лирика отличается тем изяществом, грацией и остроумием, которые соответствовали вкусам тогдашнего светского общества. Его многочисленные «Оды», «Стансы», «Послания», «Сатиры», «Басни» и т. д. имели огромный успех. Но используя эти любимые формы, Вольтер влагал в них новое содержание и, в сущности сам того не замечая, являлся их разрушителем. Он воспринял традиции ложноклассической придворной эпохи, но самое выступление его, типичного буржуа, было симптомом разрушения придворных вкусов и рожденной ими классической литературы. Старыми формами он пользовался для обличения фанатизма и деспотизма, которыми держалось господство общества, создавшего эти формы, пользовался для проповеди гуманности, терпимости и свободы. Поэма «Девственница» особенно показательна. Вольтер подверг жестокому осмеянию знаменитую Орлеанскую деву, Жанну д'Арк. Следует вспомнить, как глубоко чтити французы память легендарной девушки, которой приписывалось много чудес и спасение Франции от английского ига. Жанна д'Арк почиталась святой, защитницей и покровительницей Франции. Церковь внушала народу убеждение, что «святая дева» была призвана самим богом, через нее явившим свою милость французскому народу. Совер-

шенно в ином виде представил историю Жанны д'Арт Вельтер. Чудеса, сопровождавшие выступление «Орлеанской девы», изображены в таком виде, что они наносят непоправимый удар, не только легенде, будившей патриотические и религиозные чувства французов, но и самой религии. Вольтер погружает в грязь один из самых чистых женских образов, созданных народным преданием и поэтической фантазией. Девственность и невинность Жанны, которые, по преданию, помогли ей спасти короли и Францию, становились предметом двусмысленных и циничных шуток Вольтера, дали пищу его остроумию и злоязычию. Агитационный характер носила и другая поэма «Генриада», написанная в ложноклассическом стиле. Ее тема — прославление царствования Генриха IV. Но пользуясь этим сюжетом, Вольтер прославил не столько предка Людовика XV, сколько идеал терпимости и справедливости, и герой «Генриады» явился живым укором своим преемникам, при которых насилие и фанатизм достигли таких чудовищных размеров. Поэму пришлось выпустить в Англии, так как во Франции она не могла не встретить всевозможных затруднений. Если в качестве публициста Вольтер выступал обличителем церкви и дворянства, то его поэмы делали то же дело, быть может, еще более верно. Здесь как художник он разрушал церковные святыни самым действенным оружием, самыми действенными средствами при помощи художественных комических образов.

Как драматический писатель, Вольтер был продолжателем классической трагедии, он умел писать для двора, отвечая его вкусам не хуже Корнеля и Расина. В то время как великий современник Вольтера—Дидро уже вывел на сцену честных буржуа, изображал мещанские драмы, разыгрывавшиеся в обыкновенных семьях, в то время как Мерсье доказывал, что забавные происшествия могут слу-

чатся и при дворе, а слезы и трогательные приключения не редки и в хижинах бедняков, Вольтер продолжал соблюдать традиции великих классиков и выбирал для трагедии возвышенные и героические чувства, царей и героев. Как драматурга, его ценили наравне с Расиным, его трагедии имели огромный успех. Сохраняя условности придворного классического театра, Вольтер наполнил свои пьесы новым содержанием. Уже в первой его пьесе «Эдип» знаменитая фраза Иокасты о жрецах, мнимая мудрость которых держится легковерием людей, была стрелой, направленной в католическое духовенство. В «Бруте» — перед нами проповедь политической свободы, в «Магомете» резкое обличение религиозной лжи и даже восстание против всякой религии вообще, так как основанием в религии представляются Вольтеру плутовство и невежество.

## VI

Но, несомненно, что из всех художественных произведений Вольтера наиболее жизненными оказались его рассказы. Они до сих пор читаются с неослабевающим интересом, в то время как лирика Вольтера и отчасти его трагедии сохраняют только историческое значение. Рассказы эти блещут остроумием, пересыпаны язвительными шутками и в карикатурных формах изображают пороки современного Вольтеру общества. Остановимся на главных. В одной из лучших повестей «Задиг», Вольтер переносит нас во времена царя Моадбара в Вавилон, который в сущности является современным Вольтеру Парижем. В нем живет молодой человек, по имени Задиг, который, несмотря на свое богатство и молодость, умел сдерживать свои страсти и был наделен многими замечательными качествами.

Задиг подвергается ряду несчастий и неприятностей за свою правдивость. Однажды он вышел погулять в свое загородное поместье. Эта невинная прогулка послужила поводом для ряда неприятных последствий. Он увидел евнуха королевы с офицерами, в большом беспокойстве бегавших взад и вперед. Оказывается, у королевы пропала ее любимая собака, а из конюшни короля вырвалась его лучшая лошадь. На вопрос евнуха Задиг дал точные указания относительно того, как выглядели и в какую сторону убежали пропавшие животные. Евнух решил, что Задиг украл и лошадь и собаку, и его присудили к наказанию кнутом и к ссылке на всю жизнь в Сибирь. К счастью беглецы нашлись. Суд отменил свое решение, но приговорил Задига к уплате четырехсот унций золота, за то, что он солгал и заявил, что никогда не видал животных, о которых в то же время дал такие подробные сведения. Тогда Задиг объявил, что он действительно никогда не видал «ни уважаемой собаки королевы, ни священной лошади короля королей». Но, обладая необыкновенно точной наблюдательностью, он по отпечатавшимся на песке следам догадался, что это следы маленькой собаки. «Легкие и длинные черты, отпечатавшиеся на небольших возвышениях в песке между лапами, показали мне, говорил Задиг, что это была сука, у которой соски висели, из чего можно было заключить, что она недавно ощенилась. Следы другого рода, бороздившие поверхность песка сбоку передних лап, дали мне знать, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что под одной лапой песок везде менее взрыт, чем под другими, то я догадался, что собака нашей августейшей королевы немного хромает, если я смею так выразиться». Вольтер выдумал этот эпизод, для того, чтобы одновременно и осмеять французский суд и показать ценность наблюдательности и знаний. Пораженные сметливостью Задига,

некоторые маги объявили его колдуном и требовали его сожжения. Однако, король приказал возратить ему четыреста унций, которые он должен был уплатить по приговору суда. Актуариус, эжекюторы, прокуроры пришли к нему во всем параде возратить его четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь на судебные издержки. «Задиг увидал, заканчивает этот эпизод автор, как опасно быть иногда слишком наблюдательным, и дал себе обещание, при первом же случае не говорить того, что он видел». Но за это решение он заплатился новым штрафом, так как однажды увидав в окно бежавшего преступника, он молчал на допросе, но был уличен, что в это время смотрел в окно, и был приружден к уплате пятисот унций. В тех словах, которые влагает автор по этому поводу в уста Задига, слышатся насмешка и горе гражданина страны, жившей в состоянии полного бесправия. «Великий боже, сколько приходится гратить за прогулку в лесу, в котором пробежала собака королевы и лошадь короля. Как опасно подходить к окну и как трудно дается в этой жизни счастье».

В таких комических сценах Вольтер осмеивает весь строй жизни современной ему Франции. В лице Задига он вывел, новидимому, самого себя, и его устами и в его действиях излагает свои излюбленные идеи. Задиг переживает ряд необыкновенных приключений. Восхищенный его мудростью, Моадбар приближает его и делает его своим министром. Вольтер пользуется этим случаем, чтобы нарисовать идеал правления в духе просвещенного абсолютизма. Задиг, говорит он, дал почувствовать всем священное могущество законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял воли Дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на него своей немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, то судило



был закон, а не его личная воля, когда законы были слишком строги, он смягчал решения, когда они были недостаточны, то его правосудие создавало новые, которые можно было принять за Зороастровы. От него народы заимствовали это правило, что лучше помиловать виновного, чем осудить невиновного. Задиг был убежден, что законы созданы не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Он имел способность открывать истину, которую все стараются затемнить. И автор приводит ряд запутанных тяжб, которые Задиг разрешает с истинно соломоновской мудростью.

Правление Задига — лучшая иллюстрация к системе просвещенного абсолютизма. Все решается абсолютной властью, все блага исходят от мудрости и справедливости неограниченного правителя. И хотя Задиг заявляет, что судьей является закон, а не его личная воля, однако; мы видим, что он вносит большие коррективы в закон, смягчает по своему усмотрению законы, когда они ему кажутся слишком строгими, и «создает новые законы, когда существующие ему представляются «недостаточными». Словом, его правление в итоге сводится к личному усмотрению. Но Вольтер допускал абсолютизм при условии, что правителем является правитель мудрый и справедливый, т. е. стоящий на высоте современной философской мысли.

На протяжении всего романа мудрость Задига противопоставляется глупости и невежеству ложных правителей и мудрецов. Так, например, однажды поднялся большой спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно запрещать есть грифов, говорили одни, когда такого животного не существует». «Оно должно существовать, потому что Зороастр запрещает его есть». Задиг примирил их, сказав: «Если есть грифы, то

мы не станем их есть; если же их нет, то тем более. Таким образом мы все исполним закон Зороастра». Еще в более комической форме изображает Вольтер церковную казуистику. Уже 1500 лет длится в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две противоположные партии, из которых одна утверждала, что в храм Митры должно вступать непременно левой ногой; другая глумилась над этим обычаем и вступала правой. Ожидали торжественного праздника священного огня, чтобы узнать, к какой стороне примкнет Задиг. Все устремили взоры на его ноги, и весь город был в волнении и ожидании. Задиг вошел в храм, прыгнув обеими ногами, и затем красноречиво доказал, что для бога, неба и земли, у которого нет лицеприятия ни для кого, не может быть предпочтения ни правой, ни левой ноге. Добившись престола в Вавилоне, Задиг осуществил идеал просвещенного монарха, и повесть оканчивается следующими словами: «Государство наслаждалось спокойствием и славой и процветало. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небо».

## VII

Другая повесть Вольтера «Кандид», пользующаяся особенно широкой популярностью, принадлежит к числу наиболее глубоких и острых сатир, направленных против католической церкви. Самое заглавие ее «Кандид или оптимизм» заключает в себе тонкую иронию. Наш мир лучший из миров, да и может ли он быть не лучшим, если им управляет господь бог, как известно «всеблагий», не имеющий другой задачи кроме блага людей. Как бы ни были тяжелы страдания человека, он должен знать, что все они ведут к его благу. Пусть

земля залита потоками крови, наполнена стонами и слезами, пусть люди истребляют друг друга в бессмысленных войнах, пусть процветает эксплуатация и тунеядствующее меньшинство поглощает плоды тяжелого труда миллионов, человек не должен роптать и протестовать, потому что ему не дано знать о неисповедимых путях, которыми бог ведет ко благу. Содержание этой повести заключается в необычайных приключениях молодого человека Кандида и его воспитателя Панглоса, который преподавал «метафизико-теолого-космолого-нигелологию». Этот учитель был необычайным оптимистом и превосходно доказывал, что нет следствия без причины и что в настоящем мире, лучшем из всех возможных миров, замок господина барона, где жили Панглосс и Кандид, лучше всех замков, а баронесса лучше всех баронесс. «Дознано, говорил он, что все есть, как есть, и ничего иначе быть не может, чем оно есть, ибо все создано для известной цели, и следовательно для самой лучшей цели. Так, носы созданы для того, чтобы носить очки, и вот почему мы носим очки; ноги очевидно существуют для штанов, и действительно мы носим штаны. Камни созданы для тесания, для постройки замков, и вот у вашего прекрасного замка, оно и понятно, знатнейшему барону приличествует лучшее помещение; а вот свиньи, так те сотворены для того, чтобы их ели, и мы круглый год едим буженину. Значит, глупо говорят, что все хорошо, надо говорить, что все превосходно». Приключение Кандида начинается с того, что барон выгоняет его из замка, поймав его за ширмами в то время как Кандид целовался с его дочерью Кунигундой. С тех пор и Панглосс, и Кандид могли бы на горьком опыте убедиться, что мир, в котором им приходится жить, принадлежит к числу самых ужасных и отвратительных во всем мире. Они видят войну, где воюющие стороны

истребляют друг друга, грабят и сжигают, насилуют женщин, после чего оба короля служат в лагерях благодарственных молебны. Потеряв все, голодный, Кандид просит милостыню у важных особ, но все они отвечают ему, что если он будет продолжать заниматься этим ремеслом, то его посадят в исправительный дом, чтобы проучить.

Однажды он обратился к человеку, который только что целый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот оратор покосился на него и сказал: «Вы за правое дело?» — «Всякое дело право, скромно отвечал Кандид, потому что все имеет свои причины и всякая причина имеет свои следствия, все связано между собою и все устроено к лучшему. Видно, нужно было, чтобы меня выгнали от Кунигунды, прогнали сквозь строй, а теперь мне нужно просить милостыню, пока не научусь работать; все это не могло быть иначе». — «Дело, любезнейший, в том, сказал ему оратор, веришь ли ты, что папа антихрист?» — «Не слышал, отвечал Кандид; но антихрист ли он или нет, а у меня хлеба нет». — «Ты не достоин есть, сказал ему оратор, ступай, без денег, ступай, негодяй, не смей никогда подходить ко мне». Жена оратора, выглянув из окна и услышав, что человек сомневается, что папа антихрист, вылила ему на голову полный...». Далее Кандид еле спасается после кораблекрушения, при котором погибли почти все пассажиры. Он узнает, что во время войны болгарские солдаты изнасиловали его возлюбленную Кунигунду, распороли ей живот, раскроили голову самому барону, который хотел защитить ее, изрубили в куски баронессу, разрушили до основания замок, уничтожили амбары, овец, уток, деревья, но что этот поступок не остался не отомщенным, потому что авары также распорядились в соседнем поместье, принадлежавшем барону,

Образцом художественной сатиры Вольтера может служить то приключение Кандида, о котором рассказывается в VI главе. После землетрясения, разрушившего три четверти Лиссабона, туземные мудрецы решили, что лучшее средство предотвратить окончательную гибель города состоит в том, чтобы дать народу зрелище прекрасного ауто-да-фе. Коимбрский университет полагал, что церемониальное сожжение нескольких человек на медленном огне есть самое верное средство помешать земле трястись. Вследствие этого схватили одного бискайца, изобличенного в браке с кумой, и двух португальцев, которые ели шпигованного дышленка и оставляли шпиг. Бискаец и двое не любителей свиного сала были сожжены. В тот же день земля опять тряслась с страшным грохотом.

Подобно тому, как «Задиг» является жестокой сатирой на судебные и административные порядки, царившие во Франции при старом порядке, так «Кандид» — злая сатира на католическую церковь и на ее учение о благодати божьей. История Кандида должна была бы убедить его как раз в противоположном и заставить согласиться с мнением одного из героев этой повести, что бог предоставил земной шар на произвол какого-нибудь злого существа. Он не видал города, который не желал бы гибели соседнему городу, не видал семьи, которая не желала бы беды другой семье. Всюду слабые ненавидят сильных и в то же время пресмыкаются перед ними, сильные же обращаются со слабыми, как со стадом, с которого продают шкуру и мясо. Миллион патентованных убийц рыщет по Европе из конца в конец, систематически занимаясь грабежом и убийством, они добывают себе этим хлеб, потому что более честного ремесла не знали. В городах, где, повидимому, царствует спокойствие и процветает искусство, люди гораздо более тер-

заяются завистью, заботами и беспокойством; чем осаждаемые города ужасными войнами.

Повесть заканчивается словами Панглосса, который, несмотря на все пережитое, остался неисправимым оптимистом. «Все тесно связано в этом лучшем из миров, если бы вас не выгнали из прекрасного замка пинками за любовь к Кунигунде, если бы вас не арестовала инквизиция, если бы вы не побродили пешком по Америке, не ранили шпагой барона, не потеряли ваших баранов из прекрасного Эльдорадо, то теперь не ели бы лука-тов и фисташек».

## VIII

Действие «Задига» и «Кандида» происходит в экзотических странах, чаще всего на Востоке. Писатели XVIII века часто прибегали к этому приему. В лице вавилонского царя и его министров легче было оеменывать французское правительство, чем выбирая сюжет из жизни современной Франции. Фантастическим сюжетом Вольтер воспользовался и в более ранней своей повести «Микромегас». В центре ее житель Сириуса великан Микромегас, который вместе с жителем Сатурна совершает путешествие на землю. Микромегас был ростом восемь лье. Попав на землю, путники решили сначала, что земля необитаема, они наклонялись, ложились, везде сщупывали, но их руки и глаза не соответствовали крошечным существам, которые здесь пресмыкаются, и путешественники не получили ни малейшего ощущения, которое могло бы заставить их подозревать, что на земле живут люди. Только, когда житель Сатурна поймал своим мизинцем кита и положил его на ноготь большого пальца, Микромегас расхохотался над чрезвычайной микроскопичностью этого уродца. Затем Микро-

мегас схватил нечто уже более значительное. Это был корабль с группой ученых, возвратившихся из полярной экспедиции, Вольтер в комических красках изображает поднявшийся на корабле переполох. Пассажиры и корабельная прислуга, полагая, что они унесены ураганом и выброшены на какую-то скалу, крайне переполошились. Матросы, выкатив винные бочки, выбросили их на руку Микромегаса и за ними бросились сами. Геометры, забрав свои квадранты, секторы и бывшие с ними лапландских девушек, тоже спустились на его палубе. Постепенно, при помощи микроскопа, Микромегасу удалось разглядеть людей, и он даже догадался, что они разговаривают между собой. Чтобы не оглушить маленьких букашек, великаны вложили в рот зубочистки, тонкий конец которых приставили к кораблю, и заговорили шепотом. Люди не могли понять, откуда исходили эти слова. Корабельный священник в страхе стал читать заклinateльные молитвы, матросы — ругаться, а ученые сочинять теории, но, несмотря на все теории, они все-таки никогда не могли отгадать, кто с ними говорил. В конце концов между великанами и людьми завязываются сношения, они начинают слышать и понимать друг друга.

Вольтер пользуется этим гулливеровским сюжетом для проведения своих любимых идей. Великаны приходят в восхищение от необыкновенных способностей в знании таких ничтожных козявок. Особенно поражает их, когда геометры при помощи своих приборов с совершенной точностью определяют размеры обеих гостей. Они не сомневаются, что эти крошечные существа, заключающие в себе так мало вещественного и состоящие, повидимому, почти из одного духа, вкушают на своей земле самые чистые радости, проводят всю свою жизнь в любви и размышлении, потому что настоящая жизнь

духа не может быть иною. Микромегас, никогда не видевший счастья, убежден, что он, наконец, нашел его здесь на земле. Эту идею о том, что люди, наделенные от природы разумом и знаниями, могли бы сделать жизнь на земле прекрасной и содержательной, Вольтер искусно вкладывает в уста обитателей других планет для того, чтобы ярче оттенить людское безумие, чтобы показать, во что превратили люди землю. На замечание Микромегаса о духовности человечества, люди общаются ему такие сведения, которые приводят его в глубочайшее изумление. «В нас всегда найдется вещества слишком много для того, чтобы делать зло, если только оно происходит от вещества, и слишком много духа, если оно зависит от духа. Знаете ли вы, например, что в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, сто тысяч глупцов в шляпах режутся со ста тысячами таких же глупцов в чалмах и что так ведется почти на всей земле с незапамятных времен». Когда житель Сириуса ужаснулся и спросил о причинах таких ужасных раздоров между столь ничтожными животными, то разговаривавший с ним философ ответил, что причиной борьбы служит в сущности несколько кучек грязи, величиной с пятку Микромегаса (имеется в виду русско-турецкая война 1736—1739 гг. и Крым, служивший яблоком раздора между обеими государствами). И ни одного комка грязи не достается ни одному из глупцов, которые убивают друг друга. Ни те, ни другие никогда не видели и, может быть, никогда не увидят той земли, из-за которой идет война. Далее великаны узнают, что люди, занимающиеся наукой, согласны между собой относительно двух или трех положений, которые они понимают, и спорят о двух или трех тысячах, которые им не понятны. На вопрос Микромегаса об идеях, господствовавших среди людей, философы стали приводить раз-



ные системы, — один — Аристотеля, другой — Декарта, третий — Мальбранша, четвертый — Лейбница, пятый — Локка. Великаны из всех ответов удовлетворились только философией Локка. Обитатель Сатурна даже хотел обнять последователя этого учения, но ему помешала несоразмерность роста.

Прошло более полутора века с тех пор как Вольтер умер. За это время борьба за освобождение человечества приняла другие формы. Эксплуатируемые классы взяли дело борьбы в свои собственные руки. Люди разума не могут решать дела народа без самого народа, как думал Вольтер. И тем не менее, когда у нас после победы пролетариата было решено увековечить барельефами великих предшественников нашей революции, имя Вольтера было названо в числе первых. Это понятно. Пока существуют тьма и невежество, пока служители церкви всех исповеданий еще отравляют сознание миллионов проповедью нетерпимости и человеконенавистничества, пока существуют привилегии и праздно меньшинство, живущее на счет трудящихся масс, творения этого великого бунтаря и насмешника останутся чтимыми и нужными книгами человечества.

*И. С. Коган.*

З А Д И Г  
*или*  
С У Д Ъ Б А  
ВОСТОЧНАЯ ПОВЕСТЬ

1 7 4 8



**Z A D I G**  
**O U**  
**L A D E S T I N É E**

**Histoire orientale**

**1 7 4 8**



### АПРОБАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся, прослышавший за ученого и даже умного человека, читал эту рукопись и против воли нашел ее любопытной, занимательной, нравственной, философичной и достойной внимания даже тех, кто ненавидит романы. На этом основании я обесславил это сочинение и уверил господина Кади-эль-аскера \* в том, что оно отвратительно.

### ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ САДИ СУЛТАНШЕ ШЕРАА

10 числа, месяца schewal'я,\* 837 г. геджры.

Прельщение очей, мука сердец, свет разума!  
Не целую праха от ног ваших, ибо вы никогда не ходите, а если и ходите, то по коврам или по розам иранским. Приношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье ничего не делать и мог забавляться писанием истории Задига, — сочинения, в котором сказано больше, чем это кажется с первого взгляда. Прошу вас прочесть его и произнести

свой приговор. Ибо — хотя вы и находитесь в весне дней ваших, хотя все удовольствия ищут вас, хотя вы прекрасны и ваши таланты только увеличивают вашу красоту, хотя вас хвалят с утра до вечера и хотя, по всем этим причинам, вы были бы вправе не иметь здравого смысла, вы все же обладаете ясным умом и утонченнейшим вкусом, и я слышал, как вы судили о вещах правильнее престарелых дервишей с длинными бородами и в остроконечных шапках. Вы сдержаны, но вам чужда недоверчивость. Вы кротки, но не слабодушны, вы делаете добро искренно. Вы любите друзей и не знаете врагов. Ваше остроумие никогда не украшается выпадами злословия. Вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Наконец, ваша душа всегда казалась мне такою же ясной, как ваша красота. В вас есть даже некоторый задаток философии, и это заставляет меня думать, что вам, более чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца.

Оно было написано первоначально на древнем халдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели впоследствии на арабский для забавы славного султана Улугбеба. Это было в то время, когда арабы и персы начали писать «Тысячу и одну ночь», «Тысячу и один день» и пр. Улугу больше нравился «Задиг», но султанши предпочитали «Тысячу и одну ночь». «Как вы можете предпочитать, — говорил им Улуг, — бессмысленные и ничего незначащие сказки?». «За эти качества мы их и любим», — отвечали султанши.

Льшу себя надеждою, что вы не уподобитесь им, а вполне согласитесь с Улугом. Надеюсь даже, что когда вы устанете от стереотипных разговоров, похожих на тысячу и один, но только менее занимательных, мне можно будет найти время побеседовать с вами серьезно. Если бы вы были Фалестрисою времен Скандера, \* сына Филиппа, или царицей Савской, времен Сулеймана, то эти цари сами пришли бы поклониться вам.

Молю небесные силы, чтобы ваши удовольствия не нарушались, чтобы ваша красота не увядала и ваше счастье длилось вечно!

*Сади.*

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

##### *Кривой*

Во времена царя Моадбара жил в Вавилоне молодой человек, по имени Задиг, прекрасные склонности которого были упрочены воспитанием. Хотя он был богат и молод, но умел сдерживать свои страсти; будучи искренен, он вовсе не желал быть постоянно правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмеялся над теми пустыми, отрывочными и шумными суждениями, теми дерзкими клеветами, невежественными приговорами, пошлым гаерством и всей той шумихой слов, которая называется в Вавилоне разговором. Он узнал из первой книги Зороастра, \* что самолюбие есть шар, надутый воздухом, из которого

вырываются бури, когда его уколуют. Никогда За-диг не хвастал своим презрением к женщинам и легкими победами над ними. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ешь, давай есть и собакам, если бы даже они грозили укусить тебя впоследствии». Он был мудр, насколько можно было быть мудрым, и искал постоянно случая возвращаться в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он не пренебрегал изучением физических законов природы, насколько их тогда знали, и смыслил в метафизике столько же, сколько смыслили в ней и во всякое другое время, т.-е. очень мало. Он был твердо убежден, вопреки новой философии своего времени, что год состоит из 365 дней с четвертью и что солнце находится в центре вселенной. Когда же главные маги с оскорбительным высокомерием обвиняли его в неблагонамеренности и называли врагом государства всякого, кто верил в обращение земли вокруг своей оси и в то, что в году 12 месяцев, то Задиг молчал, не выказывая ни гнева, ни презрения.

Имея много денег, а, следовательно, и много друзей, обладая здоровьем, приятной наружностью, точным, светлым умом и благородным и откровенным характером, Задиг думал, что будет счастлив. Он собирался жениться на Земире, которая по своей красоте, происхождению и богатству считалась первою невестою во всем Вавилоне. Задиг питал к ней чистую и прочную привязанность, Земира страстно его любила. Приближалась счастливая минута их

соединения. Однажды, прогуливаясь под пальмами, украшавшими берега Евфрата, они увидели приближавшихся к ним людей, вооруженных саблями и стрелами. То были телохранители Оркана, племянника одного из министров. Лъстецы дяди внушили ему, что для него нет ничего невозможного. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он был о себе весьма высокого мнения, и предпочтение, оказанное Земирою Задигу, приводило его в отчаяние. И ревность, порожденная тщеславием, заставила его вообразить, что он без памяти любит Земиру. Он решился ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь молодой особы, один взгляд которой мог бы смягчить тигров горы Имаус. \* Земира оглашала окрестность раздражающими воплями и восклицала: «Дражайший мой супруг! Меня хотят с тобой разлучить!» Она не заботилась о собственной опасности и думала только о своем милом Задиге. А он, тем временем, защищал ее со всею силою, какую могут внушить мужество и любовь. С помощью своих двух рабов он обратил в бегство похитителей и привел в чувство Земиру, лишившуюся сознания и истекавшую кровью. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему: «О, Задиг! Я любила вас как будущего супруга, теперь же люблю как спасителя чести и жизни». Никогда еще не было сердца признательнее сердца Земиры; никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств, теми огненными словами, которые внушает признательность за величайшее из благо-



деяний и нежное чувство вполне законной любви.

Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее. Стрела попала ему около глаза и причинила глубокую рану. Земира просила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь орошались слезами: она ожидала минуты, когда глаза Задига снова смогут наслаждаться ее взорами, но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, \* который и приехал с многочисленной свитой. Он посетил больного и объявил, что тот потеряет глаз, предсказав даже самый день и час этого злополучного события. «Если бы это был правый глаз, — сказал он, — то я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы». Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою и Задиг совершенно выздоровел.

Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее; но как только мог выходить из дому, он поехал нанести визит той, которая была для него надеждой на счастье всей жизни и для которой одной он желал иметь свои глаза. Земира три дня тому назад уехала за город. Он узнал дорогой, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что она чувствует непреодолимое отвращение к кривым, намерена обвенчаться с Орканом в ту же самую ночь. При этой новости Задиг упал без чувств; отчаяние едва

не свело его в могилу; он был долго болен, но, наконец, рассудок одержал верх над отчаянием, а жестокость испытанного им горя послужила к его утешению.

«Так как я испытал, — сказал он, — такой жестокий каприз от девушки, воспитанной при дворе, то мне надо жениться на простой гражданке».

Он избрал Азору, девушку самую умную и из лучшего рода в городе, женился на ней и прожил целый месяц, наслаждаясь всеми прелестями нежнейшего союза. Но Задиг вскоре заметил, что жена его несколько легкомысленна и имеет склонность считать самых красивых молодых людей самыми умными и добродетельными.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### *Нос*

Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе и громко изъявляла свое негодование. «Что с вами, — сказал Задиг, — моя милая супруга? Кто вас так рассердил?»

«Да, — сказала она, — вы пришли бы в такое же негодование, если бы видели зрелище, свидетельницей которого я сейчас была. Я утешала молодую вдову Козру, похоронившую два дня тому назад своего молодого супруга на берегу ручья, протекающего по окраине луга. В горести, она дала обещание богам жить возле могилы до тех пор, пока источник будет там протекать». «Что же, — сказал Задиг, — вот достойная уважения женщина,

истинно любившая своего мужа». «Ах, — возразила Азора, — если бы вы знали, чем она занималась, когда я ее посетила!» «Чем же, прекрасная Азора?» «Она отводила русло источника».

Азора разразилась такими длинными ругательствами и такими грубыми упреками по адресу молодой вдовы, что это щегольство добродетелью не понравилось Задигу.

У него был друг по имени Кадор, один из тех молодых людей, в которых его жена находила более честности и достоинств, чем в других. Задиг сделал его своим поверенным, предварительно обеспечив его верность значительным подарком.

Однажды, когда Азора, проведя два дня в деревне у одной из своих подруг, возвратилась на третий день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее умер внезапно в эту самую ночь, но что ей не смели сообщить столь печальную новость и уже похоронили его в могиле отцов, на окраине сада. Азора плакала, рвала на себе волосы и клялась умереть. Вечером Кадор попросил позволения побеседовать с ней, и они плакали вдвоем. На другой день они плакали уже менее и обедали вместе. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своего состояния, и намекнул, что только тогда он будет счастлив, когда разделит свое богатство с нею. Дама поплакала, посердилась, но, наконец, успокоилась; ужин был длиннее обеда, и разговаривали они еще откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что в нем были недостатки. чуждые Кадору. В половине

ужина Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке; встревоженная дама велела принести свои специи, которыми она натиралась, чтобы попробовать, не поможет ли какая-нибудь от боли в селезенке; она очень сожалела, что великого Гермеса нет более в Вавилоне; она должна была дотрагиваться сама до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли. «И вы подвержены этой ужасной болезни?» — сказала она с состраданием. «Она ставит иногда в опасность самую мою жизнь, — отвечал ей Кадор, — и только одно лекарство может меня облегчить, это приложенный к моему боку нос человека, умершего накануне». «Вот странное лекарство», сказала Азора. «Нисколько не более странное, — отвечал он, — нежели подушечки господина Арну против апоплексии».

Этот довод, в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека, заставил даму решиться:

— Когда мой муж, — сказала она, — отправится из здешнего мира в другой по мосту Чинавар, ангел Азраил ведь не задержит его на том основании, что его нос будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой?

Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и приблизилась с целью отрезать нос Задигу, лежавшему вытянувшись в могиле. Задиг поднялся, закрывая нос одной рукою, а другою отстраняя бритву. «Сударыня, — сказал он ей, — не браните так громко против молодую Козру, но намерение отрезать мне нос нисколько не лучше намерения отвести русло источника.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Собака и лошадь*

Задиг испытал, что первый месяц супружества, как сказано в книге Зенда, \* — медовый месяц, а второй — месяц полынный. Он должен был, спустя несколько времени, развестись с Азорой, жите с которой стало для него невыносимо, и искал счастья в изучении природы.

«Нет никого счастливее, — говорил он, — философа, читающего в этой великой книге, которую бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу; его жизнь спокойна, ему нечего бояться, и нежная супруга не является, чтобы отрезать ему нос».

Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в свой загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался вычислением того, сколько футов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц Мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц Овна. Он никогда не помышлял бы о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но изучал прилежно свойства животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь однообразие.

Однажды, прогуливаясь возле небольшого леса, он увидел подбегавшего к нему евнуха царицы, вместе с несколькими придворными слугителями, которые, казалось, находились

в сильном беспокойстве, бегали взад и вперед, как будто они заблудились и искали потерянную ими драгоценную вещь.

«Молодой человек, — сказал ему первый внух, — не видели ли вы кобеля царицы?» Задиг скромно отвечал: «Т. е. суку, а не кобеля». «Вы правы», — отвечал первый внух. «Она очень маленькая болонка, — прибавил Задиг, — недавно оценилась, хромает на левую переднюю лапу и имеет очень длинные уши». «Вы видели ее?» — сказал внух, едва дыша от усталости. «Нет, — отвечал Задиг, — я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака».

Как раз в то же время, по странному стечению обстоятельств, самая лучшая лошадь из царских конюшен вырвалась из рук конюха в луга Вавилона. Начальник придворной охоты и другие чиновники бегали за ней с таким беспокойством, как первый внух за собакой. Начальник охоты обратился к Задигу и спросил, не видел ли он царского коня. «Это, — отвечал Задиг, — конь, у которого превосходнейший галоп; он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост в три с половиною фута длины, бляхи его удил сделаны из золота в 23 карата, а подковы из серебра в 11 денье». «По которой дороге пробежал он? Где он?» — спросил начальник охоты. «Я его не видел, — отвечал Задиг, — я даже никогда не слышал о нем».

Начальник охоты и первый внух не сомневались, что Задиг украл лошадь царицы и собаку царицы; они привели его в собрание великого Дестерхама, который присудил его к наказанию

кнутом и к ссылке на всю жизнь в Сибирь. Едва только объявили это решение, как нашлись и лошадь, и собака. Судьи были поставлены в печальную необходимость изменить приговор; но они присудили Задига к уплате 400 унций золота за то, что он осмелился утверждать, будто не видел того, что на самом деле видел.

Задиг должен был прежде заплатить эту пеню, а потом ему позволили оправдываться перед советом великого Дестерхама. Он говорил в следующих выражениях:

«Звезды правосудия, бездны знания, зеркала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и много сродства с золотом! Так как мне позволено говорить перед этим достойным собранием, то я клянусь вам Оромаздом, что я никогда не видел ни уважаемой собаки царицы, ни священной лошади царя царей. Вот что со мною было: я прогуливался возле небольшого леса, когда встретил почтенного евнуха и знаменитого обер-егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что это следы маленькой собаки. Легкие и длинные черты, отпечатавшиеся на небольших возвышениях песку между лапами, показали мне, что то была сука, у которой соски свисали до земли, из чего можно было заключить, что она недавно ощенилась. Следы другого рода, бороздившие поверхность песка с боку передних лап, дали мне понять, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что под одной лапой песок везде был менее взрыт, чем под другими, то я догадался, что собака нашей

августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться.

«Что же касается царского коня, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этого леса, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии. Вот, — сказал я, — лошадь с превосходным галопом. Пыль с деревьев по узкой дороге, шириною не более семи футов, была немного сбита направо и налево, в трех с половиною футах от середины дороги. «У этой лошади, — сказал я, — хвост в  $3\frac{1}{2}$  фута длины, который, в своем движении направо и налево, смел эту пыль».

«Я увидел под деревьями, образующими беседку в пять футов высоты, листья, недавно опавшие с ветвей; из этого я узнал, что лошадь дотрагивалась до них и, следовательно, была в пять футов роста. Что касается до ее удила, то оно должны быть из золота в 23 карата \* достоинством, потому, что она потерлась бляхами о камень кремневой породы, который я потом исследовал. Наконец, по следам подков, оставленным на камнях, я решил, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье».

Все судьи удивлялись чрезвычайной сметливости Задига, и слух о нем дошел до царя с царицей. И в передних и в гостиных, и в кабинетах только и говорили, что о Задиге, и хотя некоторые маги заявили мнение, что он должен быть сожжен, как колдун, царь приказал, однако, возратить ему пеню в 400 унций, к которой он был присужден. Актуариус, экзекуторы и прокуроры пришли к нему во всем



параде возвратить его 400 унций, удержав из них только 398 за судебные издержки; кроме того, слуги их потребовали тоже их долю.

Задиг увидел, как опасно иногда быть слишком наблюдательным, и дал себе обещание при первом же случае не говорить того, что видел. Случай к тому скоро представился. Убежал государственный преступник. Задиг видел его из окон своего дома, но на допросе ничего не отвечал. Его уличили в том, что он смотрел в это время в окно, и присудили за такое преступление к уплате 500 унций золота. По вавилонскому обычаю, Задиг поблагодарил судей за их снисходительность. «Великий боже! — сказал он самому себе, — сколько приходится терпеть за прогулку в лесу, в котором пробежала собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну и как трудно дается в этой жизни счастье!»

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

##### *Завистник*

Утешения от посланных ему судьбою несчастий Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был дом, отделанный со вкусом; в нем он собрал произведения всех искусств и предавался развлечением, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало хорошее общество. Но вскоре он узнал, как опасны ученые; однажды поднялся великий спор о законе

Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно запретить есть грифов, — говорили одни, — когда такого животного не существует?» «Оно должно существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запретил его есть». Задиг попытался примирить их, сказав: «Если существуют грифы, то мы не станем их есть; если же их нет, то тем более. Таким образом мы все исполним закон Зороастра».

Один ученый, написавший о грифах тринадцать томов и бывший к тому же великим теургом, поспешил обвинить Задига перед архимагом, по имени Иебор, \* глупейшим из халдеев и, следовательно, величайшим фанатиком. Этот человек рад был бы посадить Задига на кол для прославления солнца и потом с довольнейшим видом стал бы читать служебник Зороастра. Друг Задига Кадор (один друг лучше ста жрецов) явился к старому Иебору и сказал ему: «Да здравствуют солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига: он святой, в его птичнике водятся грифы, но он их никогда не ест, а его обвинил еретик, осмеливающийся утверждать, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что имеют раздельно-палые лапы». «Хорошо! — сказал Иебор, покачивая лысою головой, — Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а другого за то, что он дурно говорил о кроликах». Кадор, однако, замаял дело через посредство одной придворной дамы, которая имела от него ребенка и пользовалась большим знанием у магов. Никто не был посажен на кол, зато многие ученые роптали. предсказывая

падение Вавилона. Задиг воскликнул: «Как могу я надеяться на счастье! Меня все преследует в этом мире, даже то, что не существует». Он проклял ученых и решил жить исключительно в веселой компании. У него собирались самые благородные люди в Вавилоне и самые любезные дамы, он давал концерты и изысканные ужины, одушевлявшиеся прекрасными беседами, из которых он сумел изгнать старание блеснуть остроумием, ибо подобное желание представляет самое верное средство не иметь остроумия и портит самое блестящее общество. Тщеславие не руководило им ни в выборе друзей, ни в выборе блюд, так как он хотел быть, а не казаться, и тем самым приобрел истинное уважение, на которое и не думал претендовать.

Насупротив его дома жил некто Аримаз, злая душа которого отражалась на его грубой физиономии.

Желчный и напыщенный человек, он к тому же был скучнейшим из всех умников. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Ему досаждал стук колесниц гостей, съезжавшихся к Задигу, а похвалы этому последнему раздражали его еще более. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражавшим, как говорят, мясо, до которого они дотрагивались. Однажды он хотел дать праздник в честь одной дамы, которая вместо того отправилась ужинать к Задигу. В другой раз, болтая друг с другом во дворце, они встретили

министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть не всегда имеет достаточное основание. Этот человек, называвшийся в Вавилоне Завистником, вознамерился погубить Задига за то, что того прозвали Счастливец.

Случай делать зло представляется сто раз в день, а случай делать добро—лишь единожды в год, говорит Зороастр. Завистник пошел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел против своего вассала, князя Гирканского. Задиг, уже показавший свое мужество в этой короткой войне, хвалил царя, а еще более даму. Он взял ее записную книжку, написал экспромтом четверостишие и дал ей прочитать. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задиг по скромности или скорее по похвальному самолюбию отказал в этом. Он знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши только для того, кому они посвящены.

Он разорвал листок, на котором были написаны стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел небольшой дождь, и общество возвратилось домой. Завистник, оставшись в саду, долго искал, и, наконец, нашел часть листа, разорванного таким образом, что половина каждой строчки стихов имела известный смысл и сама составляла стих меньшего размера; но, что еще страннее — в этих коротеньких стишках заклю-

чались самые страшные оскорбления против особы царя. \* Вот оно:

Коварством и изменой  
На троне утвердился.  
Общественного мира  
Единственный губитель.

Завистник, в первый раз в своей жизни, почувствовал себя счастливым. В его руках было средство погубить добродетельного мужа. Полный злобной радости, он представил царю эту сатиру, написанную рукой Задига; последнего вместе с его друзьями и дамой посадили в тюрьму. Его так проворно судили, что не выслушали даже его оправданий. Когда Задиг шел выслушать приговор, Аримаз стал на дороге, по которой тот проходил, и сказал ему громко, что стихи его никуда не годятся. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но его приводило в отчаяние, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого мнимого преступления лишили свободы двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили высказаться, потому что против него говорила записная книжка. Таков был закон в Вавилоне. Его повели на казнь среди долбы любопытных, из которых ни один не смел пожалеть о нем и все теснились, чтобы только разглядеть его лицо и посмотреть, красиво ли он умрет. Только его родственники были огорчены...: потерю своего наследства, так как три четверти его имущества были конфискованы в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза.

В то время, как Задиг готовился к смерти, царский попугай улетел с балкона и спустился в его сад на розовый куст. В этом кусте лежал листок из записной книжки Задига, приставший к персику, снесенному ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с листком и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на последнем слова, которые, сами по себе не имели никакого смысла, но были, повидимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию (у монархов, любящих стихи, всегда можно рассчитывать на успех): приключение с его попугаем заставило его призадуматься; царица, вспомнив о том, что было написано на клочке из записной книжки Задига, приказала его принести. Когда сложили оба клочка, то они совершенно пришлись один к другому и можно было прочесть стихи в том виде, как их написал Задиг:

Коварством и изменой крамола свирепела.

На троне утвердился дарь, отстояв закон.

Общественного мира пора теперь приспела.

Единственный губитель душ наших—Купидон.

Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двоих его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и униженно просил у них прощения в том, что написал такие дурные стихи. Он говорил так приятно и умно, что царь с царицей пожелали видеть его вторично. Он пришел еще раз и еще больше понравился. Ему отдали все имущество обвинившего его несправедливо Аримаза, но он возвратил все обратно, и Завистник радовался, что ничего не потерял.

Благоволение царя к Задигу увеличивалось со дня на день. Он разделял с ним все свои удовольствия и советовался во всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало с каждым днем и могло сделаться опасным для нее, для ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так трудно сделаться счастливым.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

### *Великодушный*

Наступил великий праздник, который справлялся каждое пятилетие. В Вавилоне был обычай по истечении каждых пяти лет торжественно объявлять имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, на попечении которого лежало управление городом, объявлял о самых лучших поступках, совершенных во время его управления. Собирали голоса и царь произносил решение. К этому торжеству сходились со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, при чем царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и пусть боги даруют мне побольше подданных, подобных вам!»

Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, будучи окружен вельможами, магами и депутатами от всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых для приобре-

тения славы нужна была добродетель, а не быстрая лошадь или здоровый кулак. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли бы доставить людям, совершившим их, эту неоцененную награду. Он не упомянул о том величии души, с которым Задиг возвратил Завистнику его достояние: то не был еще поступок, достойный этой награды. Прежде всего он указал на судью, который, видя, что один гражданин, вследствие его ошибки, за которую он даже не был ответственен, проиграл значительный процесс, отдал тому все свое состояние, равное по ценности потерянному.

Великий сатрап представил потом одного молодого человека, который, будучи без памяти влюблен в свою невесту, уступил ее своему другу, умиравшему от любви к этой девушке, и, кроме того, дал ей приданое.

Потом он указал на одного солдата, который выказал во время Гирканской войны еще более великодушия. Он защищал свою любовницу против нескольких неприятельских солдат, которые хотели ее похитить. Вдруг ему дают знать, что в нескольких шагах от него другие солдаты увлекают с собой его мать: он со слезами оставляет свою любовницу и бросается спасать мать. Возвратившись к своей возлюбленной и найдя ее уже умирающей, он хотел умертвить себя, но мать напомнила ему, что он ее единственная опора, и у него достало мужества остаться жить и страдать всю жизнь. Судьи склонялись в пользу солдата, но царь сказал: «Все эти поступки прекрасны, но не удивляют меня, между тем, как вчерашний



поступок Задига меня удивил. Я разжаловал, несколько дней тому назад, моего любимого министра Кореба. Я с жаром жаловался на него и все придворные уверяли меня, что я слишком кроток. Все наперерыв старались как можно более очернить Кореба, и только Задиг осмелился отозваться о нем хорошо, когда я обратился к нему за его мнением. Признаюсь, я встречал в истории примеры, когда люди платились за свои ошибки, уступали своих невест и предпочитали матерей любовницам, но никогда не приходилось мне читать, чтобы придворный хвалил разжалованного и опального министра. Я дарю 20 тысяч золотых каждому из совершивших слышанные вами великодушные поступки, но чашу отдаю Задигу.

— Ваше величество, — сказал Задиг царю, — вы одни заслуживаете получить чашу и вы одни совершили действительно великодушный поступок: будучи царем, вы не рассердились, когда ваш раб противоречил вам.

Все удивлялись царю и Задигу. Судья, отдавший свое имущество; любовник, уступивший свою невесту другу; солдат, бросивший свою любовницу для спасения своей матери, — все получили подарки от монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу, а царь приобрел репутацию доброго государя, которому он, однако, недолго пользовался. День этот был ознаменован празднествами, которые продолжались дольше, чем следовало по закону. Память об этом дне еще сохранилась в Азии. Задиг говорил: «Я, наконец, счастлив!» Но он ошибался.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Министр*

Царь лишился своего первого министра и избрал Задига на его место. Все вавилонские красавицы одобряли этот выбор, потому что с основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные были взбешены. Завистник стал харкать кровью и нос его ужасно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая: «Прекрасная птица, — сказал он, — ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром; собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего зависит судьба человека. Но, — прибавил, он, — такое необыкновенное счастье может быть вскоре исчезнет». Попугай отвечал: «Да». Это слово поразило Задига; но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал заниматься своим министерством самым усердным образом.

Он дал почувствовать всем священное могущество законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял воли членов Дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, то судьей был закон, а не его личная воля; когда законы были слишком строги, он смягчал решения; когда же они были недостаточны, то его правосудие создавало

новые, которые можно было принять за зороастровы. От него народы заимствовали это великое правило, что лучше помиловать виновного, чем осудить невинного. Задиг был убежден в том, что законы созданы не для того только, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Он имел способность открывать истину, которую все стараются затемнить. С первых же дней своего управления он приложил этот талант к делу. Один известный вавилонский негодник умер в Индии; состояние свое он разделил между двумя своими сыновьями, дочь же свою он выдал замуж уже прежде; кроме того, он назначил 30 тысяч золотых монет тому из своих сыновей, который докажет перед судом большую любовь к нему. Старший поставил ему памятник, а второй увеличил часть своего наследства приданое сестры. Все говорили: «старший больше любит отца, а младший сестру, старшему должны принадлежать 30 тысяч». Задиг призвал обоих и сказал старшему: «ваш отец вовсе не умер, он выздоровел от своей последней болезни и возвращается в Вавилон». «Слава богу! — отвечал молодой человек, — только напрасно я потратился на памятник». Задиг сказал то же самое младшему. «Слава богу! — отвечал тот, — я отдам моему отцу все, что имею, но желал бы, чтобы он не брал у сестры того, что я ей отделил». «Вы не отдадите ничего, — сказал Задиг, — а получите еще 30 тысяч золотых монет: вы больше любите вашего отца».

Одна очень богатая девушка одновременно дала слово двум магам выйти за них замуж и,

после нескольких месяцев их поучений, сделалась беременна; тот и другой хотели на ней жениться. «Моим мужем будет тот из вас — сказала она, — кто дал мне возможность подарить государству гражданина». «Я совершил это благое дело», — сказал один. «Эта заслуга принадлежит мне», — возразил другой. «Хорошо, — сказала она, — я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто даст ему лучшее воспитание». Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» — спросил он у первого. «Я научу его, — отвечал ученый, — осьми частям речи, диалектике, астрологии, демонологии, я разъясню ему, что такое субстанция \* и акциденция, \* абстрактное и конкретное, монады и предустановленная гармония». «Я — сказал второй — постараюсь сделать его справедливым и достойным иметь друзей». Задиг произнес: «Отец ли ты его или нет, но ты женишься на его матери».

Ко двору беспрестанно доходили жалобы на наместника Мидии, по имени Иракс. У этого вельможи было в сущности не злое сердце, но он был испорчен честолубием и сластолубием. Он редко выносил замечания на свой счет и не терпел противоречий. Он был тщеславнее павлина, сладострастнее голубя и ленивее черепахи; он жил одною мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задиг решил его исправить.

От имени царя он прислал к нему капельмейстера с двенадцатью певцами и двадцатью четырьмя музыкантами. дворецкого с шестью

поварами и четырех камергеров, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет:

В первый же день, как только проснулся Иракс, капельмейстер вошел в сопровождении певцов и музыкантов: они спели кантату, продолжавшуюся битых два часа, повторяя через каждые три минуты следующий припев:

Судеб чрезвычайное благожелательство!  
Мир не запомнит славы такой.  
Ах, сколь много, ваше сиятельство,  
Должны быть довольны самим собой!

По выполнении кантаты камергер в течение трех четвертей часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за те добродетели, которых тот не имел. По окончании речи, его повели к столу при звуках музыки.

Обед продолжался три часа. Как только Ираке открывал рот, чтобы сказать что-нибудь, первый камергер говорил: «он будет прав». Едва он произносил четыре слова, как второй камергер кричал: «он прав». Двое других раздражались громким смехом от остроумных слов, которые Иракс сказал или должен был сказать.

После обеда еще раз пропели кантату.

Первый день Иракс был в восхищении, он думал, что царь царей чествует его за достоинства; второй день был ему уже не так приятен, на третий все это стало для него тягостным, на четвертый невыносимым, а на пятый настоящею

пыткою; наконец, его до такой степени измучил постоянный припев:

Ах, сколь много, ваше сиятельство,  
Должны быть довольны самим собой!

ему до такой степени наскучило постоянно слышать, что он прав, и быть приветствуемым каждый день в один и тот же час, что он написал ко двору, умоляя царя отозвать своих камергеров, музыкантов и дворецкого и обещая впредь быть меньше тщеславным и более усердным. И в самом деле, он перестал гоняться за лестью, праздники его стали реже, а сам он — счастливее, потому что, как говорит Саддер: \* всегда наслаждаться значит — совсем не наслаждаться.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

#### *Диспуты и аудиенции*

Таким образом Задиг постоянно выказывал свой тонкий ум и добрую душу. Ему удивлялись, и, несмотря на то, его любили. Его считали счастливейшим человеком в мире. Его имя гремело по всему государству; на него засматривались все женщины, все граждане превозносили его справедливость; ученые видели в нем своего оракула; жрецы даже признавались, что он знает больше их архимага Иебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах: верили только тому, что он считал достойным веры.

Уже 1500 лет длился в Вавилоне великий спор, разделявший всех граждан на две проти-

воположные партии, из которых одна утверждала, что в храм Митры должно вступать непременно левой ногой, а другая партия гнушалась этим обычаем и вступала правой. Ожидали торжественного праздника священного огня, чтобы узнать, к которой стороне примкнет Задиг. Все устремили взоры на его ноги, и весь город был в волнении и ожидании. Задиг вошел в храм — прыгнув обеими ногами и затем красноречиво доказал, что для бога неба и земли, у которого нет лицеприятия ни для кого, не может быть предпочтения правой или левой ноге. Завистник и его жена объявили, что речь Задига бедна фигурами и что он не заставлял плясать горы и холмы.

— «Он слишком сух и неизобретателен в своем изложении, — говорили они, — у него и море не убегает, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск. Ему недостает хорошего восточного слога». Задиг предпочитал выражаться естественно. Все были за него, не потому, что он был прав и логичен, и не потому что он нравился, но потому только, что он был первым визирем.

Так же счастливо окончил он великую распрю между белыми магами и черными; белые утверждали, что нечестиво, молясь богу, обращаться на юго-восток; черные уверяли, что бог гнушается молитвами людей, обращающихся к северо-западу. Задиг приказал, чтобы каждый обращался в ту сторону, в которую ему угодно.

Таким образом он нашел средство справляться утром с частными и общественными делами, чтобы посвящать остальное время дня

заботам об украшении Вавилона. По его приказанию вечером представляли слезные трагедии и забавные комедии, давно уже вышедшие из моды, но возобновленные им, потому, что он был человек со вкусом. Даря и отличая актеров, он не имел притязаний на превосходство перед ними в понимании драматического искусства и не завидовал втайне их талантам. По вечерам он забавлял царя и царицу. Царь говорил: «великий министр!» Царица называла его милым министром и оба прибавляли: «Как жалко было бы, если бы его повесили».

Ни один сановник не давал столько аудиенций дамам, как он. Большею частью приходили по делам, которых не имели, и для того только, чтобы иметь дело с ним. Жена Завистника явилась одною из первых; она клялась Митрою, Зендавестою и священным огнем, что поведение ее мужа постоянно внушало ей омерзение, уверяя при этом, что боги наказали ревнивого и грубого супруга, отказав ему в драгоценных дарах священного огня, который один делает человека подобным бессмертным богам, и в заключение нарочно уронила свою подвязку. Задиг поднял ее с своей обыкновенной любезностью, но не завязал банта на ноге дамы, и эта маленькая ошибка (если только это ошибка) явилась причиной ужасных несчастий. Задиг забыл о ней и думать, но жена Завистника помнила. Каждый день к нему являлись новые дамы. Секретная хроника Вавилона утверждает, что один раз он не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что, отдаваясь женщине, он не получил от нее



наслаждения и, обнимая ее, едва о ней помнил. Женщина, с которой он сблизился почти незаметно для самого себя, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка, утешая сама себя, говорила: «Должно быть у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже в часы наслаждения». В одну из тех минут, когда иные не говорят ни слова, а иные произносят только слова, для них священные, Задиг воскликнул вдруг: «Царица!». Вавилонянка подумала что, наконец, он пришел в себя и сказал ей: «моя царица». Но Задиг, мысли которого были далеко, произнес имя Астарты. Дама, которая, благодаря своему выгодному положению, принимала все в хорошую сторону, вообразила, что он хотел сказать ей, что она прекраснее царицы Астарты. Она вышла из серала Задига с великолепными подарками и пошла рассказать об этом приключении жене Армиза, своей близкой приятельнице; последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением: «А мне он не удостоил даже завязать эту подвязку, и я не хочу ее больше носить». «О! — сказала ей счастливица, — вы носите такие же подвязки, как и царица!» Вы должно быть заказываете их у одной и той же мастерицы?» Жена Завистника в задумчивости ничего не ответила и пошла потом советоваться к своему мужу. Однако, Задиг стал замечать, что он рассеян во время аудиенций и суда; он не знал, чему это приписать, и это его мучило.

Он видел сон: сначала ему казалось, будто он лежит на сухой траве, которая его колет и

беспокоит, потом ему представилось, что он сладко отдыхает на постели из роз и вдруг из этих последних выползает змея, которая вонзает ему в сердце свое острое и ядовитое жало. «Увы! — сказал он, — я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на постели из роз, но кто же будет этой змеею?»

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Ревность*

Причиною несчастья Задига было самое его счастье и еще более его достоинства. Каждый день он беседовал с царем и его августейшей супругой. Прелесть его разговоров удваивалась желанием нравиться, которое для ума составляет то же, что наряд для красоты. Мало-помалу его молодость и красота произвели на Астарту впечатление, которого она сначала не замечала.

Страсть ее возрастала в лоне невинности. Астарта без сомнения и боязни предавалась удовольствию видеть и слушать человека, любимого ее мужем и всем государством; она не переставала выхвалять его перед царем; говорила о нем со своими дамами, которые восхищались им еще больше ее самой. Все это не могло не усилить в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала.

Она делала Задигу подарки, которые выказывали с ее стороны гораздо более любезности, чем она думала; она хотела говорить с ним, как царица, которая довольна своим поддан-

ным, но в ее выражениях часто сказывалось чувство влюбленной женщины.

Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидевшей кривых, и Азоры, хотевшей отрезать нос своему супругу. Ее дружба, ее нежные речи, от которых она сама начинала краснеть, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в его сердце чувство, которое удивляло его самого. Он старался подавить его, призывая на помощь себе всю свою философию, так часто помогавшую ему, но извлек из нее только объяснение своего положения, а не утешение. Долг, благодарность, оскорбление величия государя представлялись ему богами-мстителями; он боролся и торжествовал; но эта победа, которую он должен был одерживать беспрестанно, стоила ему многих вздохов и слез. В его разговорах с царицей не было уже той милой свободы, которая имела так много прелести для них обоих; его глаза покрывались облаком печали; его речь была принужденна и бессвязна; когда же, против своей воли, он устремлял свои взоры на Астарту, то он встречал ее глаза, чудно блестящие сквозь слезы; казалось, они говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который кажется нам предосудительным».

Задиг выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тягостью на сердце. Наконец, будучи не в силах долее выносить свою душевную муку, он вверил страшную тайну Кадору, — как человек, который долго и терпеливо переносил жестокую боль, наконец вы-

дает себя криком, вырванным у него острой болью, и холодным потом, выступившим у него на лбу.

Кадор сказал ему: «Я уже разгадал чувство, которое вы скрывали даже от самого себя: есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Подумайте, любезный Задиг, если я смог читать в вашем сердце, то отчего же царю не заметить в нем чувство, которое должно его оскорбить. У него один недостаток, — он ревнивнейший из людей. Вы имеете над вашей страстью более власти, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задиг. Астарта—женщина; не считая себя виновною, она не остерегается и выражает слишком много своими взорами. К несчастью, создание собственной невинности заставляет ее пренебрегать внешностью. До тех пор, пока не в чем будет себя упрекнуть, я не могу не бояться за нее. Если бы вы сошлись с нею, то съумели бы отвести глаза всем; страсть, которую хотят подавить, высказывается, а удовлетворенную любовь скрыть легко». Задиг ужаснулся предложения изменить царю, своему благодетелю, и никогда он не был так верен государю, как в это время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Однако, царица так часто краснела, произнося имя Задига, и до такой степени одушевлялась, или робела, когда говорила с ним, в присутствии царя, впадая в глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал, наконец, беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то,

что у его жены голубые туфли и желтые ленты, а у Задига такие же туфли и желтая шапочка,— все это составляли ужасные улики в глазах щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения становились фактами.

Все рабы царей и цариц в то же время шпионы их мыслей. Скоро догадались, что Астарта влюблена, а Моабдар ревнует. Завистник предложил своей Завистнице послать царю ее подвязку, которая была похожа на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. Монарх с тех пор думал только о том, каким образом отомстить за себя. Он решился отравить царицу ночью, а на рассвете задушить Задига. Приказание об этом он отдал одному безжалостному евнуху, исполнителю всех его жестоких повелений. В это время в комнате царя находился немой, но не лишенный слуха карлик. Его всюду допускали, как домашнее животное, и подобно последнему он бывал свидетелем самых тайных дел. Этот немой был очень привязан к царице и Задигу. Он с ужасом и удивлением услышал приговор, осуждавший их на смерть. Но как предупредить это страшное приказание, которое должно было исполниться через несколько часов? Карлик не умел писать, зато рисовал с большим искусством. Он провел часть ночи, рисуя то, что хотел сообщить царице. В одном углу его картины был изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху; далее — стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты; в середине картины — царица, умирающая на руках своих

дам, а у ног ее задушенный Задиг. На заднем фоне картины виднелся восход солнца, чтобы показать, что эта ужасная казнь должна была совершиться при появлении зари. Кончив свою работу, карлик побежал к прислужнице Астарты, разбудил ее и объяснил ей знаками, что эту картину надо сейчас же отнести царице.

В полночь стучатся к Задигу, его будят и отдают записку царицы; он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой разворачивает письмо. Как велико было его удивление и как изобразить овладевшие им ужас и отчаяние, когда он прочел следующие слова: «Бегите немедленно, или вы погибли! Бегите, Задиг, я требую этого от вас ради нашей любви и моих желтых лент. Я знаю, что невинна, но чувствую, что умру преступницей».

Задиг едва был в силах говорить. Он приказал позвать Кадора и молча передал ему записку.

Кадор убедил его немедленно отправиться в Мемфис. «Если вы пойдете к царице, то ускорите ее смерть; если вы будете говорить с царем, то все-таки погубите ее. Я буду заботиться об ее судьбе, заботьтесь о своей. Я распушу слух, что вы уехали в Индию, потом явлюсь к вам и сообщу, что произошло в Вавилоне».

Кадор в ту же минуту велел приготовить у потайных дверей дворца двух самых быстрых драмадеров: он посадил на одного из них Задига, которого нужно было вынести на руках, так он был почти при смерти. Один только слуга сопровождал Задига, и вскоре Кадор.

погруженный в горестные мысли, потерял своего друга из виду.

Знаменитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда был виден Вавилон, обратил взоры на дворец и лишился чувств; очнувшись он залился слезами и призывал к себе смерть. Наконец, достаточно оплакав судьбу самой очаровательной и лучшей из цариц, он подумал о самом себе и воскликнул: «И вот она людская жизнь! О, добродетель! К чему ты мне послужила? Две женщины недостойно обманули меня; третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть! Все, что я делал хорошего, неизменно являлось для меня источником проклятий и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был так зол, как другие, я был счастлив, как они». Удрученный этими мрачными размышлениями, с глазами, омраченными печалью, с смертельной бледностью на лице и с душой, подвергнутой в отчаяние, он продолжал свое путешествие в Египет.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

#### *Избитая женщина*

Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и звезда Сириус привели его к вратам Канопы. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам малыми искрами, между тем, как земля, на самом деле составляющая не-

заметную пылинку среди вселенной, кажется нам чем-то великим и благородным. Он воображал себе людей такими, каковы они на самом деле, т. е. насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Эта мысль казалось обратила в ничто все его несчастья, напомнив ему ничтожество его собственного существования и ничтожность Вавилона. Душа Задига отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок вселенной. Но едва он приходил в себя и, возвращаясь от идей к сердечным чувствованиям, вспоминал, что Астарта, быть может, погибла по его вине, он забывал вселенную для умирающей Астарты и несчастного Задига. Предаваясь таким приливам и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приближался к границам Египта, а его верный слуга уже находился в небольшом селении и приискивал ему жилище. Подходя к садам, окружавшим селение неподалеку от большой дороги, Задиг увидел человека, яростно преследовавшего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь. Настигнутая, наконец, она бросилась обнимать его колени, но он стал ее бить, не переставая осыпать упреками. Мольбы о прощении, с которыми она обращалась к египтянину, и ожесточение последнего дали повод Задигу заключить, что то были ревнивый любовник и неверная любовница; но когда он увидел пленительную красоту последней и заметил в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он почувствовал к ней сострадание и вознегодовал на египтянина. «Помогите мне, — закричала она За-



дигу рыдая, — вырвите меня из рук этого ужасного варвара, спасите мне жизнь!» На эти крики Задиг подбежал к ним и бросился между варваром и ею. Зная несколько египетский язык, он сказал жестокому: «Если в вас есть хоть сколько-нибудь человеколюбия, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так обижать прекрасное создание, которое ничего не имеет для защиты, кроме слез?» «А! — воскликнул взбешенный египтянин, — значит ты тоже любишь ее, вот же тебе!» Говоря это, он оставляет даму, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копьё, бросается на Задига. Задиг, хладнокровно уклонившись от бешеного удара, схватывает копьё возле железного наконечника. Противник хочет его вырвать. Задиг его удерживает и оно разламывается у них в руках. Египтянин выхватывает меч; Задиг берется за свой. Они нападают друг на друга. Один наносит сотню торопливых ударов, другой ловко их отражает. Дама, сидя на лугу, поправляет прическу и смотрит на них. Египтянин был сильнее своего противника, но Задиг был более ловок. Один сражался как человек, у которого голова управляет руками, другой же, ослепленный гневом, сыпал удары, направленные как попало. Задиг пересиливает, наконец, египтянина, обезоруживает и в то время, как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает, сжимает его и повергает на землю, держа меч у его груди. Он обещает ему даровать жизнь, но египтянин, вне себя, выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот его прощал. Задиг, в негодовании, вонзает меч в его

грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах. Задиг приближается к даме и говорит ей: «Этот человек сам принудил меня убить его: я отомстил за вас; вы избавились от такого жестокого человека, какого я не видал еще в жизни. Что вам угодно теперь от меня, сударыня?» «Чтобы ты умер, разбойник, — отвечала она ему, — чтобы ты умер! Ты убил моего возлюбленного! Я хотела бы разорвать твое сердце!» «Ну, в таком случае, сударыня, вы имели странного возлюбленного, — отвечал Задиг, — он бил вас изо всей силы и хотел меня убить только за то, что вы просили меня вам помочь». «Пускай бы он бил меня, — вопила она, — я заслужила это, я ему изменяла. О, если бы небо допустило, чтобы он снова бил меня еще сильнее и чтобы ты очутился на его месте». Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал ей: «Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство; но я не хочу утруждать себя». Сказав это, он сел на верблюда и направился к селению. Но едва он сделал несколько шагов, как услышал шум, и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона, несшихся во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал: «Это она! совершенно, как ее нам описали!» Не обращая никакого внимания на труп, они немедленно схватили даму, не переставшую кричать Задигу: «Помогите мне еще раз, великодушный иностранец; я прошу прощения за мои жалобы на вас! Помогите мне и я буду ваша до могилы!»

Но Задиг уже потерял охоту драться за нее. «Обманывайте других, — сказал он, — а меня уже не проведете». Кроме того, он был ранен и нуждался в помощи; вид же четырех вавилонян, вероятно, посланных царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, теряясь в догадках, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, а еще более удивлялся странному характеру этой дамы.

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### *Рабство*

Когда Задиг прибыл в египетское селение, его окружила толпа, с криками: «Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клетофиса!» «Господа, — сказал он, — да избавит меня бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна; что же касается Клетофиса, я убил его лишь для самозащиты. Он хотел умертвить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно бил. Я иностранец, ищущий в Египте убежища; невероятно, чтобы, явившись искать вашего покровительства, я начал похищением и убийством». Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское правление. Там сперва ему перевязали рану, потом допросили его и слугу по-одиночке, чтобы добиться правды. Задиг не был признан убийцей, но он пролил кровь человека и закон осуждал его на рабство. В пользу селения продали его верблюдов и роздали жи-

телям его золото; самого же вместе с его спутником выставили на площади для продажи. Один арабский купец, по имени Сеток, купил их с публичного торга, но за слугу, более способного переносить усталость, он заплатил дороже, чем за его господина. Между ними не видели другого различия, и Задиг был подчинен своему слуге: их сковали вместе, и в таком виде они следовали за арабом при его возвращении домой. Дорогою Задиг утешал своего слугу и убеждал его быть терпеливым, но по привычке, в то же время, не переставал размышлять и о человеческой жизни. «Я вижу, — говорил он, — что злополучия мои распространяются и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались очень странным образом. Меня присудили к пене за пробежавшую собаку; чуть не посадили на кол за грифа; приговорили к смертной казни за стихи, сочиненные в честь царя; чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобою рабы потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужества, — все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам не иметь рабов, и почему же мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как и все другие? Этот купец не будет безжалостен, он не станет дурно обращаться со своими рабами, если только захочет, чтобы они хорошо работали». Рассуждая таким образом, он все-таки не переставал думать о царице Вавилона.

Два дня спустя Сеток отправился в Пустынную Аравию вместе со своими рабами и вер-

блюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хорив. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который лучше своего господина умел навьючивать верблюдов, был у Сеток на гораздо лучшем счету и пользовался всякими маленькими преимуществами.

В двух днях пути от Хорива издох один из верблюдов: поклажу его пришлось нести рабам, а в числе их и Задигу. При виде сторбленных фигур своих рабов, Сеток стал смеяться. Задиг осмелился объяснить, отчего это зависело, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Любопытство, возбужденное в Сеток, усилилось еще более, когда Задиг стал ему рассказывать о разных предметах, которые имели значение в торговле. Он говорил ему об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о средствах извлечь пользу из таких, которые ее не приносили. Словом сказать, он явился пред Сеток настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение пред его товарищем, которого до тех пор так ценил, и совершенно изменил свое обращение с ним, в чем впоследствии не имел причины раскаяться.

По прибытии своем на родину, Сеток стал требовать с одного еврея 500 унций серебра, которые он одолжил ему при двух свидетелях. Но так как свидетели эти умерли, то еврей, не опасаясь уже быть изобличенным, отказался от уплаты своего долга, благодаря при этом бога за то, что тот доставил ему возможность надуть араба. Сеток поверил свое горе Задигу, к кото-

рому он уже не раз обращался за советами. «В каком месте, — спросил Задиг, — отдали вы этому неверному ваши 500 унций?» «На широком камне, находящемся возле горы Хорив», — отвечал купец. «Каков характер у вашего должника?» — спросил Задиг. «Он мошенник», — ответил Сеток. «Я спрашиваю у вас, горяч он или хладнокровен, осторожен или нет?» «Сколько я знаю, он самый горячий из всех дурных должников», — отвечал Сеток. «Хорошо! — сказал Задиг, — позвольте мне защищать ваше дело пред судом». Действительно, вытребовав еврея к суду, он обратился к судье со следующими словами: «Подушка на троне справедливости! От имени моего господина, я требую, чтобы этот человек возвратил ему 500 унций серебра, от уплаты которых он отказывается». «Есть у вас свидетели?» — спросил судья. «Нет, они уже умерли, но остался камень, на котором отданы были деньги, и если ваше превосходительство соизволите приказать разыскать этот камень, то я надеюсь, что он будет свидетельствовать об этом; мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Сеток». «Хорошо, — отвечал судья, и занялся другими делами.

Под конец заседания судья спросил у Задига: «Ну, что же ваш камень еще не прибыл?» Еврей отвечал ему со вздохом: «если ваше превосходительство останетесь здесь до завтра, то все-таки не дождетесь камня, ибо он находится более чем за 6 миль отсюда и нужно 15 человек, чтобы его сдвинуть». «Я говорил вам, — вос-

кликнул Задиг, — что камень будет свидетельствовать в нашу пользу: так как этот человек знает, где он находится, то он, следственно, сознается, что получил деньги именно на нем». Смущенный еврей вскоре принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит 500 унций, которые немедленно были выплачены.

С тех пор Задиг и камень стали пользоваться большим уважением в Аравии.

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### *Костер*

Восхищенный Сеток сделал своего раба своим искренним другом. Он не мог жить без него, как и вавилонский царь. Задиг был счастлив, что у Сеток не было жены. Он заметил в своем хозяине хорошие природные склонности, прямодушие и много здравого смысла. Но Задига огорчало то, что он видел его поклоняющимся по-древнему арабскому обычаю небесным светилам, как-то: солнцу, луне и звездам. Иногда он заводил речь об этом, но весьма осторожно. Наконец, он объяснил хозяину, что светила эти такие же тела, как дерево и скала, и столько же заслуживают его обожания, как и эти последние. «Но, — возразил Сеток, — от этих вечных существ исходит все, что только мы имеем полезного: они дают природе жизнь, а нам — различные времена года; к тому же они так далеки от нас, что нельзя не поклоняться им». «Вам го-

раздо больше выгод приносит Чермное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. А разве оно не может быть столь же древним, как и звезды? Если же вы чтите все то, что далеко от вас, вы должны чтить землю гангаридов, которая находится на краю света». «Нет, — сказал Сеток, — звезды слишком блестящи, чтоб я не поклонялся им». Вечером Задиг зажег множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетоком, и лишь только появился его хозяин, Задиг бросился на колени перед горящими факелами и сказал: «Вечные, блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне!» Проговорив эти слова, Задиг уселся за стол, не обращая внимания на Сетока. «Что вы делаете?» — спросил его изумленный Сеток. «То же, что и вы; я преклоняюсь перед этими светильниками и пренебрегаю их хозяином и моим». Сеток понял глубокий смысл этого аполога. Мудрость его раба прояснила его собственные понятия, и, перестав жечь свой фимиам пред тварями, он стал поклоняться вечному существу, которое их создало.

В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который перешел туда от скифов, и, утвердившись в Индии вследствие поддержки браминов, угрожал распространиться по всему Востоку. Если, по смерти мужа, у жены являлась охота попасть в святые, то она публично сожигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и носил название «костра вдовства». Племя, в котором насчитывалось более сожженных жен,



пользовалось наибольшим уважением. По смерти одного араба из племени Сетока вдова его, по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда она бросится в огонь при звуках труб и барабанном бое. Задиг стал доказывать Сетоку, насколько этот ужасный обычай был вреден для блага человеческого рода, — тем, что ежедневно сжигали молодых вдов, которые могли бы дать государству детей или, по крайней мере, воспитывать тех, которых они прежде имели. Задиг заставил его согласиться, что следовало бы, если можно, уничтожить этот варварский обычай. Сеток отвечал: «Вот уже более тысячи лет женщины пользуются правом самосожжения. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь почтеннее старого заблуждения?» «Разум старше предков, — возразил Задиг. — Поговорите с начальниками племен, а я пойду к молодой вдове».

Придя к ней, Задиг сначала добился ее расположения тем, что расхваливал ее красоту и, высказав свое сожаление о том, что столько прелестей обречены огню, все-таки хвалил ее за ее твердость и мужество. «Должно быть, вы чрезвычайно любили своего мужа?» — сказал он ей. «Нисколько, — отвечала аравитянка. — Он был груб и ревнив, и я его едва выносила; но я твердо решила кончить жизнь свою на костре». «Стало быть, есть особенное удовольствие быть сожженной за живо в огне!» «Ах, одна мысль об этом заставляет меня содрогаться, — сказала аравитянка, — но что делать, если это необходимо. Я набожна: если я не пойду на костер, то

лишусь своей репутации и все будет надо мной смеяться». Задиг заставил ее сознаться, что она шла на костер для других и из тщеславия. Он долго еще говорил с ней в таком духе, чтоб заставить ее полюбить жизнь, и добился, наконец, того, что внушил ей некоторое расположение к ее собеседнику. «Что бы вы сделали, если бы тщеславие не побуждало вас идти на сожжение?» «Увы, — сказала аравитянка, — мне кажется, я попросила бы вас на мне жениться».

Но Задиг слишком много думал об Астарте, чтоб не отклонить это предложение. Затем он отправился к начальникам племен, рассказал им о том, что случилось, и советовал им издать закон, по которому вдове запрещалось бы сжигать себя прежде, чем она не поговорит наедине с каким-нибудь молодым человеком в продолжение целого часа. Таким образом, благодаря Задигу, этот ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день, а сам он сделался благодетелем Аравии.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### Ужин

Сеток, не желая расстаться с человеком, обладавшим такою мудростью, повез его вместе с собою на большую ярмарку, в Бассору, куда должны были собраться все значительные negociанты со всех концов обитаемого мира. Для Задига было большим утешением видеть столько людей из различных стран, собравшихся в одно место. Мир представлялся ему одной

большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после своего приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индейцем с берегов Ганга, с жителем Китая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые, во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу, выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Египтянин, казалось, был сильно рассержен. «Что за отвратительный город эта Бассора! — говорил он, — мне не дают здесь тысячи унций золота под лучший залог в мире». «Как так? — спросил Сеток, — под какой же именно залог вам не дают этой суммы?» «Под залог тела моей тетушки, — отвечал египтянин, — женщины, лучше которой не было в целом Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию, — в моей стране я мог бы получить под залог ее сколько мне угодно, и мне очень странно, что здесь мне не дают тысячи унций золота под такой верный залог!» Сердясь таким образом, он собирался приняться за превосходно сваренную курицу, как вдруг индеец, взяв его за руку, сказал ему с горестью: «Ах, что вы хотите делать?» «Съесть эту курицу», — сказал владелец мумии. «Остановитесь, — сказал индеец, — очень, может быть, что душа покойницы перешла в тело этой курицы, и вы, вероятно, не захотите съесть вашу тетушку? Варить кур — это значит явно оскорблять природу». «Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами? — возразил вспыльчивый египтянин; — мы поклоняемся быку, но

все-таки едим его мясо». «Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это? — воскликнул житель с берегов Ганга. «Нет ничего проще, — возразил тот, — вот уже 135.000 лет, как мы поступаем таким образом, и никто не осуждал нас за это». «Как 135.000 лет? — сказал индеец, — вы немного преувеличиваете, с тех пор, как Индия заселена, прошло 80.000 лет, а всем известно, что мы древнее вас. Брама запретил нам есть быков прежде, чем вам пришлось на ум строить им алтари и есть из них жаркое». «Ну куда же вашему Бrame тягаться с нашим Аписом! — сказал египтянин, — да и что же он сделал путного?» Брамин отвечал: «Он научил людей читать и писать, и ему обязаны люди шахматною игрою». «Вы ошибаетесь, — сказал халдей, стоявший около него. — Мы обязаны всеми этими великими благами рыбе Оаннесу, за что, по всей справедливости, и должны почитать ее одну. Никто не будет отрицать того, что это божество, с золотым хвостом и прекрасной мужской головой, которое выходило каждый день на три часа из воды, чтоб проповедывать людям. Всякому известно, что у Оаннеса было трое детей, сделавшихся впоследствии царями. У меня есть ее изображение, которому я воздаю должное поклонение. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. Сверх того, вы оба слишком недавнего и низкого происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только 135.000 лет, индийцы могут похвалиться лишь 80.000 летним существованием, между тем как мы имеем календари за 4.000 веков. Поверьте мне,

откажитесь от ваших глупостей, и я дам каждому из вас прекрасное изображение Оаннеса».

Тогда вмешался в разговор житель Камбалу \* и сказал: «Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, Брамму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннесу; но, может быть, Ли или Тиен, называйте как угодно, будет лучше быков и рыб. Я ничего не скажу о моей стране; она так же велика, как Египет, Халдея и Индия, взятые вместе. Я не спорю о древности происхождения, потому что быть счастливым лучше, чем быть старым; что же касается календарей, то я могу вам сказать, что во всей Азии приняты наши календари и что они у нас существовали гораздо раньше, чем халдеи научились считать».

«Вы все большие невежды! — воскликнул грек. — Разве вам неизвестно, что все произошло от хаоса, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?» Долго еще говорил грек, пока не был, наконец, прерван кельтом, который, нализавшись во время спора, вообразил себя умнее всех. Он клялся, что один лишь Тейтат \* да омела, растущая на дубе, стоили того, чтоб о них говорили, что он всегда сам носит омелу в кармане, что его предки, скифы, были единственные порядочные люди, которые когда-либо населяли землю, что хотя они и ели иногда людей, но это не должно уменьшать достоинства его нации, и что, наконец, если кто вздумает дурно отзываться о Тейтате, то он того здорово проучит. Спор принял крупные размеры, и Сеток увидел, что он должен повести

к кровавой развязке, как вдруг поднялся Задиг, который до тех пор хранил строгое молчание и, обратившись сначала к кельту, как к самому задорному из спорщиков, сказал ему, что он вполне прав, и попросил у него омеги; он похвалил красноречие грека и достиг того, что успокоил все разгоряченные умы. Жителю Китая он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее других. Наконец, он сказал: «Друзья мои, вы напрасно спорили — потому что вы все одного мнения». Против этого восстали все. «Неправда ли, — сказал Задиг кельту, — что вы поклоняетесь не омеге, а тому, кто создал и ее и дуб?» «Разумеется», — отвечал тот. «И вы, вероятно, господин египтянин, почитаете в вашем быке того, кто дал вам быков вообще?» «Да», — сказал египтянин. «Рыба Оаннеса — продолжал Задиг, — должна уступить первенство тому, кто создал и море и рыб». «Согласен», — отвечал халдей. «И индеец и житель Китая признают подобно вам первопричину, и хотя я не совсем хорошо понял удивительные вещи, о которых говорил грек, но я уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма и материя». Грек, довольный тем, что ему удивлялись, отвечал, что Задиг отлично понял его мысль. «Вы все одного мнения, — пояснил Задиг, — и, следовательно, вам не о чем спорить» Все бросились его обвинять. Сеток, очень дорого продавший свои товары, возвратился с Задигом на свою родину. По своему приезду, Задиг узнал, что во время его отсутствия он был обвинен перед судом и приговорен к сожжению на медленном огне.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

*Свидание*

Во время путешествия Задига в Бассору, астрологи решили, что его нужно подвергнуть наказанию. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, сжигавших себя на костре со своими мужьями, принадлежали им по праву, и за штуку, которую сыграл с ними Задиг, им казалось недостаточным даже сжечь его. Они обвинили его в ереси относительно небесных светил и засвидетельствовали, что они слышали, как Задиг утверждал, будто звезды заходят не в море. Эта ужасная ересь заставила судей содрогнуться; они едва не разорвали на себе одежду, услышав эти нечестивые слова, и без сомнения сделали бы это, если бы только могли надеяться, что Задиг в состоянии им заплатить. Теперь же, в припадке горести, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Сеток в отчаянии употребил все свое влияние, чтобы спасти Задига, но усилия его были напрасны, и его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, которая между тем сильно привязалась к жизни, которою была обязана Задигу, решила спасти его от костра, всю гнусность которого он ей так хорошо доказал. Не говоря никому ни слова о своем намерении, она обсудила в своей голове средства к его выполнению. Так как казнь Задига была назначена на следующее утро, то ей оставалось всего только одна ночь для того, чтобы его спасти. И она принялась за это дело,

как женщина великодушная и предусмотрительная.

Опрыскавшись духами и одевшись в самые роскошные и изящные свои наряды, еще более возвышавшие ее красоту, она отправилась просить секретной аудиенции у верховного жреца звезд. Явившись перед этим почтенным старцем, она повела свою речь таким образом: «Старший сын Большой Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса (это был титул верховного жреца), я желаю поверить вам свои душевные опасения. Я боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Одно лишь тленное и уже увядшее тело?» Говоря это, она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои чудные и ослепительно белые руки. «Посмотрите, разве можно было ценить это так дорого?»—сказала она. Верховный жрец подумал напротив, что очень даже можно. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что отродясь не видывал таких прекрасных ручек. «Увы,—сказала ему вдова,—руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но вы согласитесь, что шея не стоила моего внимания». Она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон из слоновой кости в сравнении с ее грудью показался бы мареной на самшите и только-что вымытые ягнята — грязно-желтыми. Шея Алымоны, ее большие черные глаза, томный блеск которых полон был нежной страсти, ее розовые как кровь с молоком щеки, ее нос, несколько не



напоминавший о багряных горах Ливанской,\* ее губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепнейшие перлы Аравийского моря,—все это превратило старика в двадцатилетнего юношу. Он едва пролепетал ей нежное признание. Альмона, видя его разгоряченным до крайней степени, стала просить помилования Задига. «Увы, прекрасная дама, — сказал он, — если я и соглашусь простить его, то это ни к чему не поведет, так как помилование его должно быть подписано еще тремя моими сотоварищами». «Все-таки подпишите»,—сказала Альмона. «Охотно,— отвечал жрец, — но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью». «Вы оказываете мне большую честь,— сказала Альмона, — удостоьте только притти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шеат появится на горизонте; вы найдете меня на розовой софе и можете располагать тогда мною как вашею невольницей». Она вышла, унеся с собой подписанную им бумагу, и оставила старика полным любви и недоверия к своим силам. Остаток дня он употребил на купанье и, приняв напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернатских пряностей, с нетерпением ожидал появления звезды Шеат.

Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот уверял ее, что солнце, луна и все небесные светила не более, как блудящие огоньки, в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее — той же награды. Альмона согласилась и назначила свидание второму вер-

ховному жрецу при восходе звезды Альджениб. От него она отправилась к третьему и к четвертому, получая от каждого подпись и назначая им свидания от звезды до звезды. Возвратившись домой, она позвала к себе судей под предлогом важного дела. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Наконец, когда явились астрологи,— каждый в назначенное ему время, то они крайне изумились, встретившись друг с другом, а в особенности увидев судей, пред которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же в восхищении от находчивости Альмоны, женился на ней.

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

##### *Танец*

Сеток должен был отправиться по своим торговым делам на остров Серендиб, но в первый месяц супружества (который, как известно, называется медовым) он не мог не только-что оставить свою жену, но даже и подумать, что это может когда-нибудь случиться, и потому просил Задига съездить вместо него. «Увы,— подумал Задиг,— неужели мне придется еще более увеличить расстояние, отделяющее меня от прекрасной Астарты? Впрочем, надо служить своим благодетелям». Сказав это, он заплакал и отправился.

По приезде его на остров Серендиб, на него вскоре стали смотреть как на человека необыкновенного. Он сделался третейским судьей во

всех спорах между негоциантами, другом мудрецов и советником тех немногих, которые принимают советы. Царь той страны пожелал с ним увидаться и поговорить. Он вскоре оценил достоинства Задига и, убедившись в его мудрости, сделал его своим другом. Дружба и уважение царя пугали Задига. Он день и ночь помышлял о несчастьи, которое навлекла на него благосклонность Моабдара. «Я нравлюсь царю, — думал он, — значит, я должен погибнуть?» Однако он не мог противиться благосклонности его величества, потому что, надо признаться, Набусан, царь Серендиба, сын Нусанаба, сына Набасуна, сына Санбусна, был одним из лучших государей Азии, и, беседуя с ним, нельзя было не полюбить его.

Этого доброго монарха в одно и то же время превозносили, обманывали и обкрадывали. Всякий тащил, сколько мог. Главный сборщик податей на острове Серендибе, подавал пример, которому в точности следовали все остальные. Зная это, царь несколько раз менял своего казначея, но не мог изменить установившегося обыкновения делить царские доходы на две неравные части, из которых меньшая шла царю, а большая — управителям.

Царь рассказал о своем горе мудрому Задигу. «Зная так много прекрасных вещей, — сказал он ему, — не знаете ли вы средства отыскать казначея, который бы не воровал?» «Конечно, — отвечал Задиг, — я знаю верный способ найти человека чистого на руку». Обрадованный царь, обняв его, спросил, как это устроить. «Стоит только, — сказал Задиг, — за-

ставить протанцовать всех, которые станут помогать звания казначея, и тот, кто протанцует всех легче, непременно окажется самым честным человеком». «Вы смеетесь, — сказал царь, — вот забавный способ выбрать сборщика моих доходов! Неужели вы серьезно утверждаете, что тот, который сделает удачное антраша, будет искуснее и честнее всех в управлении финансами?» «Я вам не отвечаю за то, будет ли он искуснее, — возразил Задиг, — но уверяю вас, что он несомненно будет честнее всех остальных». Задиг говорил с такою уверенностью, что царь подумал, что Задиг в самом деле обладает каким-нибудь сверхъестественным способом распознавать финансистов. «Я не люблю ничего сверхъестественного, — сказал Задиг, — люди и книги, которые говорят о чудесном, никогда мне не нравились. Если вы позволите, ваше величество, проделать предлагаемый мною опыт, то вы убедитесь, что мой секрет самая простая штука». Набусан, царь Серендиба, удивился еще более, услышав, что этот секрет очень прост и что Задиг не выдает его за чудо. «Ну, хорошо, — сказал он, — делайте как знаете». «Предоставьте только мне полную свободу, и вы получите от этого опыта более, чем вы ожидаете», — сказал Задиг. В тот же день, от царского имени, он объявил, что желающие получить место главного сборщика податей его все милостивейшего величества Набусана, сына Нусанаба, должны собраться в легких шелковых одеждах, в первый день месяца Крокодила, в царскую переднюю. Соискатели явились в числе шестидесяти четырех человек. В соседнюю залу привели

скрипачей и все приготовили для бала; но дверь в эту залу была затворена, и чтобы попасть в нее, надо было пройти через тесный и довольно темный коридор. Служитель вызывал и провожал каждого из кандидатов поодиночке, оставляя каждого из них на несколько минут в коридоре. Царь, который знал, в чем дело, выставил в этом коридоре все свои сокровища. Когда все соискатели вошли в залу, его величество приказал начать танцы. Никогда еще не танцевали так тяжело и неуклюже; у всех были головы опущены, спины согнуты, руки точно приклеены к бокам. «Ах, мошенники», — шептал Задиг. Только один из них делал ловкие па и, гордо держа голову, смотрел с уверенностью, свободно жестикулируя, не горбясь и не подгибая колен. «Вот честный и благородный человек», — сказал Задиг. Царь обнял этого танцора и назначил его своим казначеем. Остальные же были подвергнуты наказанию и оштрафованы по всей справедливости, ибо каждый, во время своего пребывания в коридоре, так наполнил свои карманы, что едва мог ступить. Царю было обидно за человеческую природу, что из шестидесяти четырех человек только один не оказался плутом. Темный коридор называли «коридором искушения». В Персии этих 63 вельмож посадили бы на кол, в других странах учредили бы судную палату, которая израсходовала бы втрое более украденных денег и ничего не возвратила бы в казну государя, в другом государстве воров бы оправдали и, напротив, лишили бы милости ловкого танцора: в Серендибе же их только присудили пополнить общественную

казну, потому что Набусан был очень снисходителен.

Он был в то же время очень признателен и дал Задигу такую значительную сумму денег, какой никогда еще не удавалось украсть у своего монарха ни одному казначею. Задиг употребил ее на посылку гонцов в Вавилон, чтобы получить сведения о судьбе Астарты. Его голос дрожал, когда он отдавал это приказание, кровь прилила к его сердцу, в глазах потемнело и он едва не лишился чувств. Проводив гонцов, Задиг вошел к царю и, думая, что он один в своей комнате, громко произнес слово любовь. «А любовь, — сказал царь, — это именно то, что меня теперь занимает. Вы угадали мое горе. Какой вы великий человек! Я надеюсь, что вы научите меня, как мне найти вполне честную женщину, точно так же, как вы помогли мне найти бескорыстного казначея». Задиг, придя в себя, обещал помочь ему в любви, так же как помог ему в финансах, хотя первое было гораздо труднее.

#### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

##### *Голубые глаза*

«Тело и сердце...» — сказал царь Задигу... При этих словах вавилонянин не мог удержаться, чтобы не прервать его величество: «Как я вам благодарен, что вы не сказали ум и сердце, — сказал Задиг, — в Вавилоне только и речи, что о них, да о книгах, которые о них толкуют, хотя и сочинены они такими людьми, которые не имеют ни мозга, ни сердца. Но,

пожалуйста, государь, продолжайте». «Мое тело и сердце созданы для любви,—продолжал Набусан: первое не может быть не удовлетворенным, так как в его распоряжении целая сотня женщин — прекрасных, снисходительных, предупредительных, даже страстных, или старающихся казаться такими. Но сердце мое далеко не так счастливо. Я вполне понимаю, что эти женщины ласкают царя Серендибского, и никто не заботится о Набусане. Я не обвиняю моих жен в неверности, но я бы хотел иметь существо, которое было бы мне предано. За такое сокровище я отдал бы сто красавиц, прелестями которых я владею; попытайтесь найти между сотней моих жен хотя бы одну такую, в которой бы я мог быть уверен, что она меня любит».

Задиг отвечал ему на это то же, что и на вопрос о финансистах. «Государь, дайте мне свободу действовать и позвольте мне располагать теми драгоценностями, которые были выставлены в «коридоре искушения». Я обещаю возвратить их вам в целости». Царь дал ему полную волю. Задиг выбрал 33 самых гадких горбуна во всем Серендибе, 33 прекраснейших пажа и 33 самых красноречивых и сильных бонз. Он разрешил им свободный вход в спальни султанш. Каждый маленький горбун мог дать султанше по четыре тысячи золотых монет, и все горбуны были очастливлены в тот же самый день. Пажи, не могшие дать ничего, кроме самих себя, добились своего лишь по прошествии двух-трех дней. Бонзам стоило еще большего труда достигнуть своей цели; но наконец тридцать три ханжи отдались им. Царь видел все

это сквозь жалюзи своих окон, помещавшихся напротив спален, и был крайне изумлен. Из ста жен девяносто девять изменили ему на его глазах.

Оставалась лишь одна молодая, недавно прибывшая девушка, к которой его величество ни разу не прикасался. Ей подсылали одного, двух, трех горбунов, которые предлагали ей до двадцати тысяч монет, но она оставалась не подкупна, насмехалась над горбунами, говоря, что их золото не сделало их ни на волос лучше. К ней подослали самых красивых пажей; но она отвечала, что царь еще прекраснее их. Тогда к ней послали самого красноречивого из бонз и затем самого неустрашимого из них; она назвала первого болтуном, а достоинств второго не удостоила даже своего внимания. «Сердце дороже всего, — говорила она, — я никогда не отдамся ни горбатуму за его золото, ни прелестьям юноши, ни искушениям бонзы: я буду любить одного только Набусана, сына Нусанаба, и буду ждать, пока он меня не полюбит».

Царь был вне себя от радости, удивления и любви. Он отобрал все деньги, доставившие горбатым успех, и подарил их прекрасной Фалиде (так звали эту молодую женщину). Он отдал ей свое сердце, чего она вполне заслуживала; никогда молодость не расцветала так пышно, никогда красота не была так пленительна. Историческая истина не позволяет умолчать о том, что она дурно делала реверанс, но за то она танцевала как фея, пела как сирена, говорила как грации и обладала многими другими талантами и добродетелями.



Она и Набусан обожали друг друга. Но у нее были голубые глаза, и от этих-то глаз и произошли все несчастья. Существовал древний закон, запрещавший царям любить тех женщин, которых греки называли βρωπιε. Этот закон был установлен пять тысяч лет тому назад начальником бонз, который поместил это запрещение на голубые глаза между основными законами государства, для того, чтобы завладеть любовницей первого из царей Серендиба. Все государственные чины отговаривали Набусана. Говорили публично, что наступили последние дни государства, что развращение достигло своей высочайшей степени, что всей природе угрожало ужасное бедствие, что, одним словом, Набусан, сын Нусанаба, влюбился в большие голубые глаза. Горбуны, финансисты, бонзы и брюнетки наводнили государство своими жалобами.

Дикие народы, обитавшие на севере Серендиба, воспользовались общим неудовольствием и произвели вторжения во владения доброго Набусана. Он просил у своих подданных денежной помощи, но бонзы, владевшие половиною государственных доходов, ограничились тем, что подняли руки к небу, вместо того, чтобы отворить ими свои сундуки и достать из них деньги для царя. Они положили на музыку превосходные молитвы, а государство оставили на добычу варварам. «О, мой милый Задиг! Не поможешь ли ты мне выйти из этого затруднения?!—с горечью воскликнул Набусан. «С величайшей охотой, — отвечал Задиг; — вы получите от бонз столько денег, сколько захотите. Оставьте на произвол

судьбы земли, на которых расположены их замки, и защищайте только ваши собственные».

Набусан привел это в исполнение. Бонзы пришли униженно просить царя о помощи. Царь отвечал им молитвой о спасении их земель, положенной на прекрасную музыку. Бонзы дали, наконец, денег, и царь счастливо окончил войну.

Таким образом Задиг своими умными и удачными советами и своими великими заслугами навлек на себя непримиримую ненависть самых могущественных людей в государстве; бонзы и брюнетки поклялись его погубить, финансисты и горбуны тоже не щадили его и клеветали на него доброму Набусану. (Заслуги часто остаются в передней, а клевета проникает в кабинет, согласно изречению Зороастра.)

Каждый день являлись новые обвинения: а как известно, первое обвинение отскакивает, второе задевает, третье ранит, а четвертое убивает.

Все это напугало Задига, и потому он, счастливо окончив дела своего друга Сеток и получив за него деньги, только и думал о том, как бы уехать с острова и отправиться самому собирать сведения об Астарте: «потому что, — говорил он, — если я останусь в Серендибе, то бонзы посадят меня на кол... Но куда я пойду? В Египте я буду рабом, в Аравии меня по всей вероятности сожгут, в Вавилоне задушат. Ну, будь, что будет, а все-таки надо узнать, что случилось с Астартой... поедem и посмотрим, к чему приведет меня моя печальная судьба».

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

*Разбойник*

На сирийской границе Каменистой Аравии Задигу случилось проезжать мимо одного хорошо укрепленного замка, как вдруг из последнего выбежали вооруженные арабы. Они окружили его и кричали: «Все, что у вас есть, принадлежит нам, а вы сами — нашему начальнику». Вместо ответа Задиг выхватил свой меч; его храбрый слуга последовал его примеру. Они положили на месте первых арабов, поднявших на них руку; число нападавших увеличилось все более и более, но путники не теряли присутствия духа и решились погибнуть с оружием в руках. Такой неровный бой не мог долго продолжаться. Владелец замка, по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, которые творил Задиг, почувствовал к нему уважение. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путешественников. «Все, поступившие на мою землю, принадлежит мне,—сказал он,—точно также как все то, что я нахожу на землях других; но ваша храбрость заслуживает, чтоб я сделал для вас исключение». Затем он ввел Задига в свой замок, приказав людям относиться к нему с уважением, а вечером пригласил его с собою отужинать.

Владелец замка был один из тех арабов, которых называют ворами; но вместе с множеством дурных поступков он нередко делал и добро: жадный вор и дерзкий грабитель, он был

в то же время щедр, неустрасим в бою и уступчив в торговле, — забулдыга за столом и веселый кутила, он был очень искренен. Задиг чрезвычайно ему понравился, и его одушевленная беседа продлила ужин. Наконец, Арбогад сказал ему: «Я советую вам поступить ко мне на службу: вы отлично сделаете, потому что мое ремесло не дурно, а современем вы можете сделаться тем же, что и я». «Осмелюсь вас спросить, — сказал Задиг, — давно ли вы занимаетесь вашей благородной профессией?» «С самой ранней юности, — отвечал хозяин, — я был слугою у одного довольно сметливого араба; мое положение было невыносимо; я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем людям, судьба не оставила ничего на мою долю. Я поверил свое горе одному старому арабу, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся: когда-то была песчинка, которая горевала, что она — безвестная пылинка в пустыне; чрез несколько лет она сделалась брильянтом и составляет теперь лучшее украшение в венце царя Индийского». Этот разговор произвел на меня сильное впечатление: я был песчинкой, но решил сделать брильянтом, и начал с того, что украл двух лошадей; потом, набрав себе товарищей, я получил возможность грабить маленькие караваны, и таким образом я мало-по-малу уничтожил неравенство отношений, которое существовало между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ сего мира и даже был вознагражден с избытком: меня стали уважать, я сделался разбойником-вельможею, овладел этим замком. Си-

рийский сатрап хотел у меня его отнять; но я уже был слишком богат, чтобы чего-нибудь бояться; я дал денег сатрапу, чем не только удержал замок за собою, но еще и увеличил мои владения. Он назначил меня даже сборщиком податей, платимых Каменистою Аравией царю царей. Теперь я собираю подати, но царь царей их не получает.

«Однажды великий дестергам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара одного сатрапика с приказанием задушить меня. Но прежде, чем он прибыл с своим поручением, меня уже известили обо всем: я велел задушить в его присутствии четырех человек, которым поручено было затянуть мне петлю, и затем спросил у него, сколько ему обещали за мою голову. Он отвечал, что награда простиралась до трехсот золотых монет. Я ему ясно доказал, что у меня он получит гораздо больше, и дал ему первое место в моей шайке после себя; теперь он один из лучших и богатейших моих офицеров. Поверьте мне, что вы достигнете того же самого. Теперь самое удобное время для воровства, с тех пор, как убит Моабдар и в Вавилоне происходят смуты».

«Моабдар убит,—сказал Задиг,—что же стало с царицей Астартой?» «Я ничего об этом не знаю,—отвечал Арбогад,—знаю только, что Моабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал притоном разбойников и что все государство опустошено, хотя для поживы осталось еще очень довольно, в чем я, со своей стороны, имел много случаев убедиться лично». «Но царица? — сказал Задиг, — ради

бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?» «Мне говорили о гирканском князе,— отвечал тот; — если только она не убита в смятении, то вероятно находится в числе его наложниц; впрочем я более забочусь о добыче, чем о новостях. В моих набегах я набрал для себя несколько жен, но теперь у меня нет ни одной из них, потому что, когда они хороши собою, то я их продаю за дорогую цену, никогда не справляясь о том, кто они такие; ведь женщин покупают не за титул, и безобразная царица всегда останется непроданною: может быть я и продал царицу Астарту, а может быть она и умерла, но это до меня не касается, а вам, как я полагаю, тоже нечего об этом заботиться». Говоря таким образом, он пил так усердно и мысли его до того путались в его голове, что Задиг не мог от него больше ничего добиться.

Время шло. Задиг сидел в глубоком унынии, а Аргобад не переставал пить и рассказывать разные истории, беспрестанно повторяя, что он наисчастливейший из людей, и уговаривал Задига сделаться таким же счастливецом. Наконец, одурманенный вином, от отправился спокойно спать; Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак, — говорил он, — царь сошел с ума, убит!.. Не могу не пожалеть о нем! Государство разграблено, и этот разбойник счастлив! О счастье! О судьба! Вор счастлив, а одно из лучших созданий природы погибло может быть самым ужасным образом или живет жизнью, которая хуже смерти. О Астарта! Что случилось с вами?»

Едва наступил день, он начал расспрашивать всех находившихся в замке; но каждый был занят своим делом и никто ему не отвечал: они делили добычу после ночного грабежа. Все, чего он мог добиться в этой суматохе, это — позволения уехать, чем он и не замедлил воспользоваться, более чем когда-нибудь погруженный в свои грустные мысли.

В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задиг. В голове его быстро проходили одна за другою мысли о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, наконец, о всех препятствиях и несчастиях, испытанных им в последнее время.

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

##### *Рыбак*

Отъехавши несколько миль от замка Арбогада, Задиг очутился на берегу небольшой реки, все еще не переставая оплакивать свою судьбу и смотреть на себя как на образец несчастья. Он увидел рыбака, лежавшего на берегу с обращенными к нему глазами и едва державшего в своей бессильной руке невод, о котором, казалось, он совсем позабыл.

«Есть ли в мире человек несчастнее меня, — говорил рыбак. — Я был, по отзывам всех, знаменитейшим из вавилонских торговцев сыром, и разорился. Я обладал прекраснейшею женщиной, какую только кто-либо видел, и она

изменила мне. У меня оставался один ветхий домишко, но и тот, на моих глазах, был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше; единственное мое пропитание — рыбная ловля, а рыба между тем вовсе не ловится. О, мой невод! Я не брошу тебя больше в воду, а утоплюсь сам». Сказав это, он встал и подошел к реке с очевидным намерением броситься в воду, чтобы разом покончить с своей жизнью.

«Как!—подумал Задиг,—значит, есть люди, столь же несчастные, как и я!» Едва промелькнула в уме его эта мысль, как он устремился на помощь рыбаку. Подбежав к нему, он схватил его за руку и растроганным голосом стал его успокаивать и расспрашивать. Говорят, что при виде чужого несчастья свое не так живо чувствуется. Но, по мнению Зороастра, это происходит не от ехидства, а по необходимости. И в самом деле, один несчастный сочувствует другому вследствие сходства их положений. Радость счастливого была бы в этом случае оскорбительной, но двое несчастных похожи на два слабые деревца, которые, опираясь друг на друга, защищаются против бури.

«Неужели вы не в состоянии сносить ваше горе?» — спросил Задиг у рыбака. «Не могу, — ответил тот, — ибо я не вижу никакого исхода. Я был значительнейшим лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял, с помощью моей жены, лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг чрезвычайно их любили. Я поставил им шестьсот сыров и отправился получить за них деньги. Вдруг я узнаю



в Вавилоне, что царица Астарта с Задигом исчезли. Я побежал в дом к вельможе Задигу, которого до того времени никогда не видывал, и нашел там приставов великого дестергама, которые в силу царского указа добросовестно и на законном основании грабили его дом. На кухне царицы, куда я поспешил затем отправиться, некоторые из царского стола говорили мне, что царица умерла, другие — что она в тюрьме; наконец, третьи уверяли, что она бежала, но все были согласны в том, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женою к вельможе Оркану, который также был одним из моих постоянных покупателей: мы просили его не оставить нас в нашем несчастном положении. И он действительно не оставил нас... вместе: белизна сливочных сыров, от которых произошли все мои несчастья, не могла сравниться с белизною моей жены, а блеск тирского пурпура не мог быть ярче ее румянца. За эти-то качества Оркан оставил ее у себя, а меня выгнал из дому. Я написал к моей милой жене отчаянное письмо. «Ах, да! Я знаю, кто это пишет, — сказала она его подателю, — я слышала о нем, что он мастер делать сливочные сыры, пускай он пришлет мне сыру... ему заплатят».

«С горя я хотел обратиться к правосудию. У меня оставалось шесть унций золота: две из них я принужден был отдать законнику, с которым я советовался, две —стряпчему, взявшемуся защищать мое дело, и две — секретарю главного судьи. Но и после этого мое дело еще не начиналось, а я издержал больше, чем стоили

мои сыры и моя жена, вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню и намеревался продать дом и на эти деньги выкупить жену.

«Мой дом стоил добрые шестьдесят унций золота, но все видели мою нужду и неизбежную необходимость скорее продать его. Первый, к кому я обратился, давал мне за него тридцать унций, второй двадцать, а третий — десять. И я до такой степени был ослеплен, что готов уже был согласиться, как вдруг один из гирканских князей вторгся в Вавилонскую область и на своем пути предал все опустошению, при чем мой дом был тоже разграблен и сожжен. Потеряв, таким образом, деньги, жену и дом, я удалился в страну, в которой вы теперь меня встретили, старался жить рыбным промыслом, но рыба смеется надо мной, как и люди, я ничего не могу поймать и умираю с голоду. Без вас я бросился бы в реку, мой знатный утешитель!».

Рыбак не мог вести рассказ вполне последовательно, потому что Задиг, растроганный и вне себя, прерывал его каждую минуту: «Неужели вы ничего не знаете об участи царицы?» «Нет, господин мой,—отвечал рыбак,— я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за мои сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии». «Надеюсь,—сказал Задиг,— что ваши деньги не пропадут. Я слышал о Задиге, что он честный человек, и если только он возвратится в Вавилон, как он на то надеется, то возместит вам с избытком то, что вам должен; что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то я

вам не советую хлопотать о ее возвращении. Послушайтесь меня: отправляйтесь в Вавилон, я буду там раньше вас, так как я еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к знаменитому Кадору, скажите ему, что вы встретили его друга и ожидайте меня у него. Ступайте... Быть может, ваши несчастья кончатся.

«О, могущественный Оромазд, — продолжал он, — ты посылаешь меня для утешения этого человека, но кого же ты пошлешь для моего утешения?» Он дал половину тех денег, которые вывез из Аравии, и рыбак, в замешательстве и восхищении, целовал у него ноги и повторял: «Вы мой ангел-спаситель».

В то время, как Задиг расспрашивал о Вавилоне, по щекам его катились слезы. «Как, господин, — воскликнул рыбак, — неужели и вы несчастны, вы, который делаете столько добра?» «Во сто раз несчастнее тебя», — отвечал Задиг. «Возможно ли, — говорил простак, — чтобы дающий был несчастнее получающего?» «Это потому, — отвечал Задиг, — что твое несчастье заключается в нужде, а мое в сердце». «Не отнял ли и у вас Оркан жену?» — спросил рыбак. Это снова напомнило Задигу все его приключения, и в его уме промелькнули все его несчастья, начиная с царской суки и кончая его встречей с Арбогадом. «Да, — сказал он рыбаку, — Оркан заслуживает наказания, но обыкновенно подобные люди пользуются благосклонностью судьбы. Как бы там ни было, иди к господину Кадору и жди меня». Они расстались: рыбак шел, благославляя свою судьбу, а Задиг ехал, жалуясь на свою,

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

*Василиск*

Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем нескольких женщин, которые с большим старанием что-то искали. Он решился подъехать к одной из них и спросить у нее, не может ли он помочь им в их поисках? «Нет, — отвечала сириянка, — к тому, что мы ищем, могут прикасаться одни только женщины». «Это очень странно, — сказал Задиг, — не будете ли вы так добры сообщить мне, что это за штука, к которой могут прикасаться одни только женщины?» Это василиск», — отвечала она. «Василиск, сударыня? А для чего, смею спросить, ищите вы василиска?» «Для нашего государя и повелителя Огула, дворец которого вы можете видеть на берегу этой реки. Мы его покорные рабыни. Господин Огул болен; врач приказал ему съесть василиска, сваренного в розовой воде; а так как это довольно редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему василиска, любимую своею женою; не мешайте же мне искать: потому что вы можете себе представить, как много я могу потерять, если мои подруги меня предупредят».

Задиг оставил сириянку и ее подруг отыскивать василиска, а сам отправился дальше. У маленького ручья он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Фигура ее была величественна, лицо закрыто

вуалью. Она наклонилась к источнику; тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руках она держала маленькую палочку и чертила ею на прибрежном песке. Задиг поинтересовался посмотреть, что такое могла писать эта женщина; он подошел поближе и увидел сначала букву *З*, а потом *а*; это его удивило; наконец явилось *д*; он вздрогнул. Ничто не могло сравниться с его удивлением, когда он увидал две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, наконец проговорил прерывающимся голосом: «Благородная дама, простите незнакомцу, гонимому судьбою, что он осмеливается вас спросить, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертила здесь имя Задига?» Услыхав голос Задига и его слова, незнакомка дрожащей рукою приподняла покрывало, взглянула на Задига, испустила крик удивления, любви и радости и, не выдержав сильных душевных ощущений, разом овладевших ею, упала без чувств в его объятия. То была Астарта, царица Вавилонская, — та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стоила ему стольких слез и за участь которой он так боялся. На минуту он и сам лишился сознания, но когда его глаза встретились с томным взглядом Астарты, полным невыразимой нежности, он воскликнул: «О, бессмертные силы! Вы, которые управляете судьбою слабых смертных, не вы ли возвращаете мне, наконец, мою Астарту? В какое время, в каких местах и при каких обстоятельствах я ее встречаю!» И с этими словами он простерся ниц перед

Астартой. Царица Вавилонская подняла его и посадила возле себя на берегу источника. На глаза ее беспрестанно набегали радостные слезы. Она двадцать раз начинала разговор, прерываемый рыданиями, спрашивала Задига, что привело его сюда, и, не давая ему отвечать, задавала новые вопросы. Она принималась рассказывать о своих несчастиях и в то же время хотела слышать о несчастиях Задига. Наконец, когда оба немного успокоились, Задиг рассказал ей в коротких словах, по какому случаю он находился на этом лугу. «Но, о несчастная и уважаемая царица! Почему встречаю я вас в этом уединенном месте, в одежде рабыни и в сопровождении других рабынь, ищущих василиска, которого должно сварить в розовой воде, по приказанию врача?»

«Покуда они ищут василиска, — сказала прекрасная Астарта, — я расскажу вам все, что я вытерпела, и все, что я прощаю богам, позволившим мне увидеть вас снова. Как вы знаете, царю моему супругу не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе, и потому он решил в одну прекрасную ночь задушить вас, а меня — отравить. Вы знаете, что небо помогло моему немому карлику уведомить меня о приказании его величества. Принудив вас исполнить мою волю и уехать, верный Кадор воспользовался тайным ходом и пробрался среди ночи ко мне. Он почти насильно увлек меня в храм Оромазда. Там его брат, маг, спрятал меня в колоссальную статую, которая основанием своим касалась пола, а головою — сводов храма. В ней я была как в могиле, но мне

прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем, на рассвете врач его величества вошел в мою комнату с питьем, составленным из белены, опиума, цикуты, черного эллебора и аконита; в то же время к вам был послан один из царских военачальников с голубым шелковым шнурком. Но он никого не нашел. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решился явиться к нему нашим обвинителем. Он сказал, что вы отправились по дороге в Индию, а я отправилась в Мемфис; за мной и за вами была послана погоня. Гонцы, посланные за мной, не знали меня в лицо, так как я его почти никому не показывала кроме вас, да и то только в присутствии царя и по его приказанию. Итак, они отправились преследовать меня на основании описания моего лица, которое им было дано. На египетской границе, они встретились с женщиной одного со мною роста, но, может быть, прекраснее меня. Она, повидимому, заблудилась и плакала. Ни минуты не сомневаясь, что это царица Вавилонская, они привели ее к Моадбару. Их ошибка привела сначала царя в сильный гнев, но вскоре, рассмотрев эту женщину поближе, он нашел, что она прекрасна, и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает: прекрасная капризница. И действительно, она заслуживала вполне это название, но, вместе с тем, она была одарена великой хитростью. Однажды понравившись Моадбару, она влюбила его в себя до того, что тот на ней женился. Тогда-то ее характер выказался в полном своем блеске: она без боязни приводила

в исполнение все нелепости, какие только приходили ей в голову. Раз она захотела, чтоб начальник магов, старый подагрик, проплясал в ее присутствии, и, когда тот отказался, стала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшему испечь ей сладкий пирог. Сколько тот ни уверял ее, что он не пирожник, он все-таки принужден был спечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. Затем его место она отдала своему карлику, а место канцлера — пажу! Так управляла она Вавилоном. Все сожалели обо мне. Царь, бывший порядочным человеком до тех пор, пока не вздумал отравить меня и задушить вас, утопил, казалось, свои добродетели в своей странной любви к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была заключена. Я возвысила голос и закричала ему: «Боги не принимают молитв царя, сделавшегося тираном и хотевшего умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродной». Моабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Приговор, который я произнесла, и депотизм Мисуфы были достаточны, чтобы заставить его потерять рассудок. Он сошел с ума через несколько дней.

«Его безумие, казавшееся небесной карой, послужило сигналом к возмущению. Народ взволновался и взялся за оружие. Вавилон, издавна утопавший в праздной неге, сделался полем битвы междуусобной войны. Меня освободили из моего заключения и поставили во главе



партии. Кадор отправился в Мемфис, чтобы привезти вас в Вавилон. Между тем князь Гирканский, узнав об этих печальных происшествиях и зная, что в Вавилоне всего две партии, привел с собою еще третью — свое войско. Он напал на царя, вышедшего к нему навстречу вместе с своей сумасбродной египтянкой. Моабдар погиб под неприятельскими ударами. Мисуфа попала в руки победителей. К моему несчастью, я тоже попала в плен к одному из предводителей гирканских отрядов, и меня привели к князю в одно время с Мисуфою. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но едва ли для вас может быть приятно то, что он назначил меня для своего серала и объявил довольно решительно, что явится ко мне по окончании предпринятой им военной экспедиции. Представьте мое горе! Моя связь с Моабдаром была расторгнута, и я свободно могла отдаться Задигу, а между тем я попала во власть этого варвара. Я отвечала ему с достоинством, которое мне внушали мой сан и мои чувства. Я часто слышала, что небо дарует царственным особам то величие, которое одним словом; одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забытья, самое глубокое уважение. Я говорила как царица, но со мной обращались как со служанкой. Гирканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я слишком дерзка, но все-таки прекрасна: Он приказал заботиться обо мне и обращаться со мной как с его любимицей, чтобы улучшить цвет моего лица и сделать меня более достой-

ной его милостей в тот день, когда ему вздумается почтить меня своим посещением. Я обещала убить себя, он отвечал мне со смехом, что не верит этому, потому что он привык к таким уверткам, и оставил меня, как человек, который приобрел попугая для своего птичника. Хорошее положение для первой царицы во всей вселенной! И скажу, более, для сердца, принадлежавшего Задигу». При этих словах он бросился к ее ногам и оросил их своими слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала: «Я видела себя во власти варвара и знала, что буду соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой я была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. Из ее описания, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам, я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находились в Мемфисе, и решила бежать. «Прекрасная Мисуфа, — сказала я ей, — вы гораздо веселее меня и можете лучше меня развлечь гирканского князя. Дайте мне возможность бежать, и вы останетесь одна царицей и, сделав меня счастливой, избавитесь сами от соперницы». Мисуфа согласилась, и я тайно бежала с рабой-египтянкой.

«Я приближалась уже к Аравии, как вдруг один знаменитый разбойник, по имени Арбогад, захватил меня в плен и продал купцам, которые и привели меня в этот замок, где живет господин Огул. Последний купил меня, не зная, кто я такая. Он человек сластолюбивый, который любит только хорошо поесть и думает, что бог его создал лишь для того, чтобы сидеть

за столом. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности, и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он-то и убедил Огула, что вылечит его василиском, сваренным в розовой воде. Огул обещал свою руку той из своих невольниц, которая принесет ему василиска. Вы видите, что я не спешу оспаривать у них ту честь и, поверьте мне: никогда еще я не имела так мало желания искать василиска, как в настоящую минуту, когда опять увидела вас».

Теперь Астарта и Задиг могли высказать друг другу все то, что могли внушить благородным и страстным существам долго скрываемые чувства, нежная любовь и тяжелое горе. Духи, покровительствующие любовникам, уносили их слова к богине любви.

Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задиг также явился к нему и сказал ему следующее: «Пусть бессмертное здоровье сойдет с неба и заботится о днях ваших. Я врач; услышав о вашей болезни я поспешил сюда и принес василиска, сваренного в розовой воде. Я вовсе не рассчитываю на то, чтобы вы на мне женились, но я попрошу вас отпустить на волю одну молодую рабыню, которую недавно привели к вам, и соглашусь сам остаться рабом вместо нее, если только не буду иметь счастья вылечить славного господина Огула».

Предложение было принято. Астарта отправилась в Вавилон с слугою Задига, обещав непременно прислать к нему гонца, чтобы известить

его о том, что там случится. Их прощание было так же трогательно, как и встреча. Минуты встречи и расставанья — величайшие моменты в жизни человека, говорит великая книга Зенд. Задиг любил царицу так, как он ей говорил, а царица не могла даже сказать, как она любила Задига.

«Повелитель, — говорил Задиг, — моего василиска не едят, его целебная сила сообщится вам через прикосновение. Я зашил его в маленький козий мех, хорошо надутый и покрытый тонкой кожей; мы будем бросать его друг другу поочередно изо всей силы, и спустя несколько дней, проведенных в бросании этого меха, вы увидите, что я искусный врач». В первый день Огул задыхался и думал, что умрет от усталости. На другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулась его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, которыми он пользовался в лучшую пору своей жизни. «Вы играли в мяч и были воздержны в пище и питье: узнайте же, что в природе нет василиска, что здоровыми бывают только люди воздержные и деятельные и что возможность согласить неумеренность с здоровьем — такая же химера, как и философский камень, астрология и богословие магов».

Первый врач Огула, чувствуя, как этот человек опасен для его науки, сговорился с придворным аптекарем отправить Задига искать василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми своими несчастиями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за

то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и положили отравить за вторым блюдом; но за первым блюдом ему доложили о посланном от Астарты. Он встал из-за стола и уехал. «Кто любим прекрасной женщиной, — говорит великий Зорастр, — тому на этом свете нечего бояться».

#### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

##### *Поединки*

Царица была принята в Вавилоне с теми почестями, которые всегда оказывают прекрасным монархиням, когда они несчастны. Смуты в Вавилоне, повидимому, прекратились. Князь Гирканский был убит в сражении, и победившие его вавилоняне объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они выберут в цари. Но они не хотели, чтобы первое место в свете — мужа Астарты и царя Вавилонского — зависело от интриг и козней, и поклялись выбрать в правители самого храброго и мудрого из своей среды. Для этого в нескольких верстах от города устроили обширную арену и окружили ее великолепно убранным амфитеатром. Сражающиеся должны были являться туда в полном вооружении. Каждому из них было отведено помещение позади амфитеатра, где никто не мог их видеть. Каждый из сражающихся должен был переломить четыре копыя. Те, которым удалось бы победить четырех рыцарей подряд, должны были потом сражаться друг с другом; и тот, кто последний овладел бы полем битвы,

должен был быть провозглашен победителем. Четыре дня спустя, ему следовало явиться в том же вооружении и разгадать загадки, предложенные магами. В противном случае он не мог быть царем, и состязание должно было начаться снова и продолжаться до тех пор, пока не нашелся бы человек, который одержал бы победу в обеих битвах, — ибо вавилоняне хотели непременно выбрать царем самого мудрого и храброго из соискателей. За царицей в это время тщательно наблюдали: ей позволяли только присутствовать при состязании, и то покрытой вуалью, но не допускали до разговора ни с одним из претендентов, дабы устранить несправедливость и пристрастие.

Об этом-то и извещала Астарта своего возлюбленного, надеясь, что он, ради нее, более всех выкажет мужества и ума. Задиг пустился в путь, прося богиню любви укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв к берегам Евфрата накануне назначенного дня, он вписал свой девиз в числе девизов прочих рыцарей, скрывая, согласно предписанию закона, свое лицо и имя, и отправился затем отдохнуть в отведенном ему помещении. Друг его Кадор, возвратившийся, в Вавилон после тщетных поисков в Египте, распорядился прислать к нему от царицы полное вооружение, а от себя прекраснейшего персидского коня. Задиг узнал Астарту в этих подарках, и они подкрепили его мужество и дали надежду его любви.

На другой день царица заняла свое место под балдахинном, украшенным драгоценными камнями; вавилонские дамы и вельможи за-

няли амфитеатр, а сражающиеся выехали на арену. Каждый из них положил свой девиз к ногам великого мага. Девизы вынимались по жребию. Девиз Задига был последним. Первым выступил на арену один богатый вельможа, Итобад, человек очень тщеславный, не отличавшийся храбростью, неловкий и недалекий. Его домашние убедили, что такой человек, как он, непременно должен быть царем; он ответил им: «Да, такой человек, как я, должен царствовать»,—и приказал принести себе вооружение. Он был в золотых доспехах с зеленою эмалью, с зелеными перьями на шлеме и держал в руке копьё, украшенное зелеными лентами. Уже с самого начала все заметили, по тому, как Итобад управлял лошадьё, что он не был тем человеком, которому небо назначило скипетр Вавилона. Первый же противник вышиб его из седла; второй опрокинул его на крестец лошади с распростертыми вверх ногами и руками. Итобад опять сел на лошадь, но так неловко, что все зрители рассмеялись. Третий его противник не удостоил его даже своего удара, но, увернувшись от его нападения, схватил его за правую ногу и, заставив описать в воздухе полукруг, бросил на песок; оруженосцы подбежали к нему и смеясь посадили его снова в седло. Четвертый боец взял его за левую ногу и опрокинул на другую сторону. Когда его повели под общий свист в его помещение, в котором он по закону должен был провести ночь, он едва мог идти, но все-таки повторял: «Какое приключение для такого человека как я».

Другие рыцари выказали больше ловкости.

Некоторые из них победили двоих противников подряд, иные дошли даже до трех. Но четверых подряд победил один только князь Отам. Наконец, наступила очередь Задига: он чрезвычайно ловко выбил из седла четырех рыцарей подряд. Теперь оставалось только узнать, кто из двоих останется победителем, Отам или Задиг. На первом было вооружение голубое с золотой насечкой и голубые перья на шлеме; доспехи Задига были белые. Все желания разделались между голубым и белым рыцарями. Царица, с замиранием сердца, молила небо за белый цвет.

Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьём и так крепко держались в седле, что все, за исключением царицы, желали, чтобы в Вавилоне было два царя. Наконец, когда кони устали, а копыта были уже переломлены, Задиг употребил следующую хитрость: пустив свою лошадь мимо голубого рыцаря, он бросился на крестец его коня и, схватив соперника поперек тела, сбросил на землю и затем, вскочив в его седло, стал гарцевать вокруг врага, распростертого на земле. Все зрители закричали: «Белый рыцарь победил!»

Тогда Отам в бешенстве вскакивает и обнажает свой меч; Задиг, спрыгивает с коня и следует его примеру. И вот они снова бьются друг с другом, и сила и ловкость торжествуют поочередно.

Перья их шлемов, гвозди наручников, кольца панцирей далеко отлетают под градом быстрых ударов. Они колят и рубят направо и налево, направляя свои удары в грудь, отсту-



пают, сходятся, бьются, извиваясь как змеи и нападая как львы; искры летят целыми снопами. Наконец Задиг, собравшись с силами, останавливается, делает ложный выпад и, схватив меч Отама, повергает его на землю и обезоруживает врага. «О, белый рыцарь,—воскликает Отам, — Вавилон ваш!» Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей, согласно постановленному порядку, отвели каждого в его помещение, так же как и всех других. Немые явились им прислуживать и принесли им пищу. Всякий догадается, что маленький немой царицы был прислужником именно Задига. Их оставили там до следующего утра, т. е. до того времени, как победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя. Задиг, хотя и влюбленный, спал от усталости очень крепко. Но Итобад, помещавшийся возле него, не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его вооружение и девиз, положил возле него свои собственные.

На рассвете он отправился к великому магу и гордо объявил ему, что победителем был человек, именно он. Этого никто не ожидал, но все-таки его провозгласили победителем, между тем как Задиг еще спал. Изумленная Астарта с отчаянием в сердце возвратилась в Вавилон. Весь амфитеатр был уже почти пуст, когда Задиг проснулся. Он стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые и должен был надеть, потому что больше ничего не было. С крайним удивлением и негодованием он оделся в них и двинулся в этом наряде на арену.

Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистками и, окружив со всех сторон, осыпали оскорбительными насмешками. Никогда никому в свете не приходилось испытывать такого глубокого унижения. Наконец, Задиг потерял терпение и ударами плашмя заставил оскорблявшую его толпу дать ему место, но сам не знал, на что решиться далее. Видеться с царицей он не мог, объявить о том, что белое вооружение прислала ему она, значило ее скомпрометировать; таким образом в то время, как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в своем уме все неудачи, начиная с приключения его с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажей его вооружения, он одиноко блуждал по берегу Евфрата и думал, что его звезда обрекла его на безвыходные бедствия. «Вот что значит — сказал он — проснуться слишком поздно; если бы я меньше спал, то был бы царем вавилонским и обладал бы Астартой. Мои знания, честность, мужество были постоянно только источником моего несчастья». Он стал роптать на провидение и был готов поверить, что миром управляет жестокая судьба, которая угнетает добрых и покровительствует зеленым рыцарям. Еще более огорчило его то, что он должен был носить зеленое вооружение, навлекшее на него столько насмешек. Он продал его за бесценок проезжавшему мимо него купцу и купил у него простое платье и высокую шапку. В этом наряде он шел по берегу Евфрата и полный отчаяния обвинял в своей душе провидение, которое его преследовало.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

*Отшельник*

Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей ему до пояса. В руках этот старец держал книгу, которую внимательно читал. Задиг остановился и ответил ему почтительный поклон. Отшельник приветствовал его с таким благородством и добротой, что Задиг почувствовал непреодолимое желание побеседовать с ним и спросил, какую книгу он читает. «Книгу судеб, — сказал отшельник, — не хотите ли почитать?» Он передал ее Задигу, который, несмотря на то, что знал много языков, не мог разобрать ни одной буквы. Это усилило его любопытство. «Вы кажетесь мне весьма печальным», сказал ему старик. «Увы, я имею на то много причин», отвечал Задиг. «Если вы позволите сопутствовать вам, — возразил старик, — я, может быть, буду вам полезен; мне удавалось иногда вливать бальзам утешения в души несчастных». Задиг почувствовал уважение к обличью, книге и бороде отшельника, а в его речах заметил высокую мудрость. Отшельник говорил о судьбе, о справедливости, о нравственности, о высшем благе, о слабости человеческой, о добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что Задиг почувствовал к нему непреодолимое влечение. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения его в Вавилон. «Я сам прошу вас о той же милости, — сказал отшельник. — Поклянитесь

мне Оромаздом, что вы не покинете меня в продолжение нескольких дней, что бы я там ни делал». Задиг поклялся, и они отправились вместе.

Вечером оба путника пришли к великолепному замку. Отшельник стал просить гостеприимства для себя и для своего молодого товарища. Привратник, которого можно было скорее принять за знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и передал главному дворецкому, который показал им великолепные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Но им прислуживали с тою же вежливостью и почтительностью, как и остальным. Для умыванья подали им золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами. Спать отвели их в прекрасный покой, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотой монете, после чего их отпустили.

«Хозяин дома, — сказал Задиг дорогой, — кажется мне человеком великодушным, хотя несколько гордым, а гостеприимство его донельзя благородным». Говоря это, он заметил, что карман отшельника слишком оттопырился и увидел в нем золотой таз, украшенный драгоценными камнями, который тот украл. Задиг не осмелился ему этого заметить, но был крайне изумлен.

Около полудня отшельник подошел к одному небольшому домику, в котором жил богатый скряга. Он попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый оборванный слуга с недовольным видом отворил им ворота и от-

вел их на конюшню, куда вскоре принес им несколько гнилых оливок, дурного хлеба и прокислого пива. Отшельник ел и пил с таким же довольным видом, как и накануне, потом, обратился к старому слуге, наблюдавшему за ними, чтобы они чего-нибудь не украли, и торопившему их уйти, и дал ему две золотые монеты, полученные ими утром, и поблагодарил его за оказанное им внимание. «Прошу вас, допустите меня поговорить с вашим господином», прибавил он. Удивленный слуга отвел их к последнему. «Великодушный господин, — сказал отшельник, — я могу лишь смиренно поблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соболаговолите принять этот золотой таз, как слабый знак нашей признательности». Скупец едва не перекувырнулся от радости. Не дав ему времени опомниться, отшельник поспешно удалился с своим молодым спутником. «Отец мой, — сказал ему Задиг, — что значит все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей; вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями, у вельможи, оказавшего нам великолепный прием, и отдаете его скряге, который обошелся с нами недостойным образом». «Сын мой, — отвечал старик, — этот богач, принимающий странников из тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет благоразумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной». Задиг не мог понять, с кем он имеет дело — с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных, но отшельник говорил с такой убедительностью, что у Задига,

связанного кроме того его клятвою, не хватило духа с ним расстаться.

Вечером они пришли к маленькому, но простенькому домику, в котором ничто не выказывало ни расточительности, ни скупости владельца. Хозяином оказался философ, который удалился от света, чтобы предаться целиком мирным занятиям добродетельного мудреца, и который несмотря на это не скучал. Устроив себе это убежище, в котором он принимал чужестранцев с достоинством, чуждым тщеславия, он удовлетворил только своим вкусам; лично встретив наших путешественников, он прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой. Несколько времени спустя, он опять явился пригласить их к ужину, опрятно и со вкусом приготовленному, и во время еды умно рассуждал о последних смутах в Вавилоне. Он, казалось, был искренно предан царице и изъявил свое желание, чтобы Задиг был на арене в числе искателей короны.

«Но люди, — прибавил он, — не стоят такого государя, как Задиг». Эти слова заставили последнего покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В разговоре пришли к тому мнению, что ход событий в этом мире не всегда согласуется с желаниями мудрейших людей. Отшельник утверждал, однако, что никто не знает путей провидения и что люди неправы, когда судят о целом по каким-нибудь ничтожным частичкам, доступным их наблюдению.

Заговорили о страстях. «Ах, как они пагубны», — сказал Задиг. «Страсти—ветры, надувающие паруса корабля, — возразил отшель-

ник, — иногда они причиняют его погибель, но без них он не мог бы плыть. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно и все, между тем, необходимо».

Заговорили о наслаждении, и отшельник доказывал, что наслаждение есть дар божества. «Потому, — сказал он, — что человек не может воспроизвести в себе ни ощущений, ни идей, все это он получает свыше. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и самая его жизнь».

Задиг удивился, как это человек, поступавший так сумасбродно, в то же время так хорошо рассуждает. Наконец, после столь поучительного, и, вместе с тем, приятного разговора, хозяин проводил путешественников в отведенный для них покой, благославляя небо, пославшее ему двух столь умных и добродетельных людей.

Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они ни в каком случае не могли этим оскорбиться. Отшельник отказался, сказав, что им пора распрощаться, ибо он намерен уехать в Вавилон еще до рассвета. Расставанье было самое трогательное, особенно со стороны Задига, который проникся уважением и любовью к этому достойному человеку.

Когда отшельник и Задиг остались в приготовленной для них горнице, они еще долго восхваляли хозяина. Старик разбудил Задига на рассвете. «Пора отправляться, — сказал он ему: — пока все спят, я хочу оставить этому

человеку доказательство моего уважения и любви». Говоря это, он взял факел и поджег дом.

Задиг в испуге вскрикнул и хотел помешать ему совершить такое ужасное дело. Но отшельник с сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, отошедший уже далеко с своим спутником, очень спокойно смотрел на пожар. «Хвала богу, — сказал он, — дом нашего хозяина разрушен до основания! Счастливец!» Услышав эти слова, Задиг не знал, что ему делать, смеяться, над стариком или ругать его и бить, или убежать самому. Но он не сделал ничего этого и снова, покоряясь влиянию отшельника, последовал за ним дальше к последнему ночлегу.

Они пришли к одной благотворительной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, составлявший ее единственную надежду. Вдова приняла их так хорошо, как только могла. На другой день она приказала племяннику проводить гостей до моста, который недавно разрушился и потому представлял опасную переправу. Услужливый юноша пошел вместе с ними. Когда они взошли на мост, отшельник сказал юноше: «Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетке». С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту из-под воды и снова исчез в бурном потоке. «Чудовище! Изверг!» — закричал Задиг. «Вы обещали мне быть терпеливым, — прервал



его отшельник.—Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин его нашел несметные богатства, а мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, через два года—вас самих». «Кто открыл тебе все это, варвар? — воскликнул Задиг. — Да еслиб ты даже прочел это в твоей книге судеб, то какое же ты имеешь право убивать дитя, которое тебе ничего не сделало?»

В то время, как он произносил, эти слова, он заметил, что борода у старика исчезла, и перед ним стоял юноша; четыре прекрасных крыла, вместо прежней одежды, осеняли его тело, распространявшее вокруг себя свет. «О, посланник неба! О божественный ангел! — воскликнул Задиг, преклоняя перед ним колена, — ты сошел с высоты небес научить слабого смертного покоряться предвечным законам». «Люди — отвечал ему ангел Иезрод — судят обо всем, ничего не зная. Ты более других достоин получить откровение». Задиг просил позволения говорить. «Я не верю сам себе, — сказал он, — но смею ли я просить объяснить мне одно сомнение: не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным, вместо того, чтобы его топить?» Иезрод возразил: «если бы он был добродетелен и остался жить, то судьба определила ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с ребенком, который родился бы от нее». «Что же это такое? — сказал Задиг. — Разве необходимо, чтобы в мире существовали несчастья и преступления и чтобы они составляли удел луч-

ших людей?» «Злые, — отвечал Иезрод, — всегда несчастливы, и они существуют для испытания тех немногих справедливых людей, которые рассеяны по земле. И нет такого зла, которое не влекло бы за собою добра». «Хорошо, — сказал Задиг. — А что, если бы совсем не было зла и было бы одно только благо?»

«Тогда — отвечал Иезрод — этот мир был бы другим миром, события происходили бы в другом премудром порядке, который был бы совершенен. Но такой совершенный порядок возможен только в жилище Верховного Существа, к которому зло не смеет приблизиться. Оно создало миллионы миров, из которых ни один не может походить на другой. Это бесконечное разнообразие составляет атрибут его неизмеримого могущества. Нет двух древесных листьев на земле, двух светил в бесконечном пространстве неба, которые были бы одинаковы, и все, что ты видишь на маленьком атоме, на котором ты родился, должно иметь свое определенное место и время в силу непреложных законов Всеобъемлющего. Люди думают, что это дитя упало случайно, что также случайно сгорел тот дом, но случая не существует, — все на этом свете или испытание, или наказание, или награда, или предусмотрение. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя изменить его судьбу. Слабый смертный, перестань бороться против того, перед чем ты должен благоговеть!»

«Но, — начал Задиг.. В то время, как Задиг произносил но, ангел улетел уже на десятое небо.

Задиг преклонился перед волею провидения и услышал голос ангела, гремевший ему с высоты: «Иди в Вавилон!»

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

##### *Загадки*

Задиг, пораженный, как человек, вблизи которого упала молния, пошел наудачу. Он прибыл в Вавилон в тот самый день, когда бывшие на арене рыцари собрались в приемную залу дворца, чтобы отгадывать загадки и отвечать на вопросы великого мага. Все рыцари были в полном сборе, но между ними не было ни одного в зеленых доспехах. Едва Задиг показался в городе, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться, все благословляли его и желали ему быть государем Вавилона. Завистливый Аримаз, встретив его, вздрогнул и отвернулся. Народ сопровождал Задига до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, едва только она узнала о его прибытии; в городе ее крайне беспокоило то непонятное для нее обстоятельство, что доспехи Задига была надеты на Итобаде, а сам он был без всякого вооружения. При появлении Задига поднялся глухой ропот. Все были удивлены и рады его видеть, но присутствовать в собрании позволялось только тем, которые участвовали в состязании на арене.

«Я бился как и все», — сказал Задиг, — но другой носит здесь мое вооружение, и в ожидании того, пока я буду иметь честь доказать это, я прошу позволения присутствовать здесь и отгадывать загадки». Собрали голоса; его слава, как честного человека, была еще так свежа в памяти всех присутствующих, что все согласилось исполнить его просьбу.

Великий маг предложил сначала вопрос: что на свете самое долгое и в то же время самое краткое, самое быстрое и самое медленное, самое делимое и самое пространное, самое пренебрегаемое и самое сожалемое, без чего ничто не делается, что пожирает все малое и оживляет все великое? Итобад должен был отвечать. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках и что довольно того, что он одержал победу в битве. Одни говорили, что загадка означает счастье, другие — землю, третьи — свет. Задиг сказал, что она означает время. «Потому что нет ничего дольше времени — оно мера вечности, и нет ничего короче — потому что его нехватает на выполнение всех наших предположений; нет ничего медленнее для ожидающего, ничего короче для наслаждающегося, время считается до бесконечности и делится до бесконечности, люди не дорожат им, а потеряв — жалеют; ничто не делается без времени, оно заставляет забывать то, что недостойно памяти, и делает бессмертными подвиги». Все признали, что Задиг прав. Потом спросили: что получается без благодарности, чем пользуются сами не зная как, что передают другим без своего ведома и теряют незаметно

для самих себя? Каждый высказал свое мнение. Один Задиг угадал, что это — жизнь. Так же легко решил он и другие загадки. Итобад все время уверял, что это очень немудрено и что он решил бы все вопросы, если бы захотел только заставить себя немножко подумать. Были предложены вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством. Ответы Задига были признаны самыми основательными. Очень жаль, — говорили все, — что такой мудрый человек — такой плохой боец.

«Знатные вельможи! — сказал Задиг. — Я имел честь остаться победителем на арене. Белое вооружение принадлежит мне. Итобад взял его у меня во время моего сна, предполагая, вероятно, что оно ему более к лицу, чем зеленое. Я готов доказать ему перед вами, с одним моим мечом против всех прекрасных, белых доспехов, которые он у меня украл, что честь победы над храбрым Отамом принадлежит мне.

Итобад принял вызов с большой самонадеянностью. Он не сомневался, что с шлемом на голове, в латах и наручниках ему легко будет победить бойца в ночном колпаке и в халате. Задиг обнажил свой меч, отвесив поклон царице, которая смотрела на все происходившее с радостью и страхом. Итобад вынул свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться. Он хотел разрубить ему голову, но тот успел отразить его удар, подставив ему свой меч у самого эфеса, так что меч Итобада переломился; тогда Задиг, схватив врага, поверг его на землю и

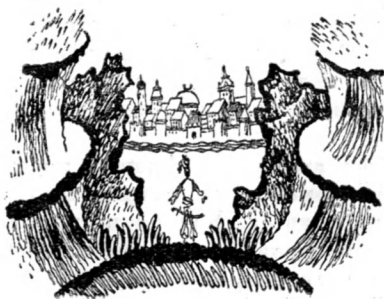
приставил острие своего меча к промежутку между его латами: «Сдайтесь, — сказал он, — или я вас убью». Итобад, изумленный несчастьем, постигшим такого человека, как он, не сопротивлялся Задигу, так что тот без затруднения снял с него великолепный шлем, красивые латы, изящные наручники и блестящие набедренники, одел их на себя и в этом вооружении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что вооружение принадлежит Задигу. Задиг единогласно был выбран в цари, чему более всех была рада Астарта, которая после стольких испытаний наслаждалась, наконец, тем, что все нашли любимого ею человека достойным быть ее супругом. Итобад удовольствовался властью в своем доме. Задиг сделался царем и счастливецом в одно время. Теперь ему пришли на ум слова Иезрода о песчинке, которая сделалась брильянтом. Царица и он благословили провидение. Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе, он же приказал отыскать разбойника Аргобада и дал ему почетное место в своем войске, обещая ему возвысить его до первых должностей, если он будет вести себя как честный воин, и повесить, если он будет разбойничать.

Сеток был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной, и поставлен во главе вавилонского купечества. Кадора наградили по заслугам: царь сделал его своим наперсником, и один из всех государей в мире он имел друга. Маленький немой также не был забыт. Рыбаку дали прекрасный дом и заставили Оркана

заплатить ему большую сумму денег и возвратить ему жену. Но рыбак, став благоразумнее, взял только деньги.

Прекрасная Семира не могла утешиться в том, что предполагала, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от бешенства и стыда. Государство процветало, наслаждаясь спокойствием и славой. То был лучший век на земле; ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небо.

Здесь кончается рукопись истории Задига. Известно, что он испытал много других приключений, которые тщательно записаны. Просят господ, знающих восточные языки, сообщить их, если они попадутся к ним.



# МИКРОМЕГАС

ФИЛОСОФСКАЯ ИСТОРИЯ

*1 7 5 2*





**MICROMÉGAS**

**Histoire philosophique**

**1 7 5 2**



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

### *Путешествие обитателя звезды Сириус на планету Сатурн*

На одной из планет, вращающихся вокруг звезды и называемой Сириусом, жил один очень остроумный молодой человек, с которым я имел честь познакомиться во время последнего его путешествия на наш маленький муравейник; его звали — Микромегасом, \* — именем весьма приличным для великана. Он был ростом в 8 лье, т. е. в 24.000 геометрических шагов по 5 футов в каждом. Некоторые алгебраисты, люди весьма полезные для общества, возьмутся тотчас же за перо и вычислят, что поскольку Микромегас, житель Сириуса, имел в высоту 24.000 шагов, что составляет 120.000 королевских футов, и так как мы, жители земли, имеем всего 5 футов, а наш земной шар — 9.000 лье в окружности, то они вычислят, говорю я, что шар, обитаемый им, необходимо должен иметь окружность ровно в 21.600.000 раз большую, чем наша земля.

В природе нет ничего проще и естественнее этого. Владения некоторых немецких или итальянских государей, которые можно объехать в полчаса, в сравнении с Москвией, Турцией или Китаем представляют лишь слабое подобие чудовищных контрастов, которые рассеяны в природе.

Итак, его превосходительство был вышеупомянутого роста. Наши скульпторы и художники без труда согласятся, что его талия могла иметь 50.000 королевских футов в окружности, что представит очень малую соразмерность. Нос его составлял треть длины его прекрасного лица, а его прекрасное лицо — одну седьмую его прекрасного тела, так что, надо признаться, нос жителя Сириуса имел 6.333 королевских фута с дробью, что и требовалось доказать.

В умственном отношении Микромегас стоял очень высоко: он не только очень много знал, но кое-что и сам изобрел. Ему еще не было 250 лет и он еще, по обычаю своей родины, обучался в самой знаменитой коллегии иезуитов его планеты, когда он силою своего собственного ума постиг более 50 эвклидовых теорем, т. е. 18-ю более, чем Блез Паскаль, \* который, по словам его сестры, ради забавы отгадав 32 теоремы, сделался впоследствии довольно посредственным геометром и очень плохим метафизиком. К концу своего детства, когда ему было уже 450 лет, Микромегас усердно занимался анатомией тех маленьких насекомых, которые не имеют и 100 футов в диаметре и недоступны обыкновенным микроскопам, и даже написал о них очень интересную книгу,

которая наделала ему много хлопот. Муфтий той страны, великий кляузник и невежда, нашел в ней подозрительные положения, которые, по его мнению, пахли ересью, и стал его преследовать: речь шла о том, существует ли аналогия в строении улиток и блох, водящихся на Сириусе. Микромегас защищался очень остроумно и привлек на свою сторону женщин, так что спор тянулся целые 220 лет. Наконец, по настоянию муфтия законники осудили книгу, не читая, и автору запрещено было появляться при дворе в течение 800 лет.

Запрещение являться ко двору, погрязшему в сплетнях и пошлостях, не особенно огорчило Микромегаса. Он сочинил на муфтия очень забавную песенку, на которую тот не обратил никакого внимания, и вслед за сим отправился странствовать с планеты на планету, чтобы, как говорится, довершить образование ума и сердца. Тамошний способ путешествовать, без сомнения, удивит тех, кто привык ездить не иначе, как в почтовой карете или в берлине, потому что мы, живущие на комке грязи, не понимаем ничего, что выходит из круга наших обычаев. Микромегас удивительно хорошо знал законы тяготения и значение притягательных и отталкивательных сил. Он пользовался ими с таким умением, что часто, с помощью солнечного луча или кометы, перелетал вместе со своими спутниками с одной планеты на другую так же легко, как птица перелетает с ветки на ветку. Быстро миновал он Млечный путь, и я должен признаться, что он вовсе не видел сквозь звезды, составляющие этот путь,

того прекрасного эмпирея, который знаменитый викарий Дергам имел претензию наблюдать посредством своего телескопа. Я вовсе не хочу этим сказать, что Дергам плохо видел, боже сохрани! Но Микромегас сам был там, а он хороший наблюдатель; что же касается до меня, то я не хочу никого оспаривать. После долгого странствования, Микромегас прибыл на планету Сатурн. Несмотря на то, что он привык встречать новые факты, он при виде крошечных обитателей этой планетки не мог все-таки удержаться от самодовольной улыбки, которая свойственна даже мудрецам. И в самом деле, Сатурн только в 900 раз больше земли, и его жители — настоящие карлики, всего около тысячи туазов ростом. Сначала Микромегас со своими людьми подсмеивался над ними, подобно тому, как итальянский музыкант, приехавший в Париж, подсмеивался над музыкой Люлли. \* Но так как житель Сириуса был умен, то он вскоре понял, что мыслящее существо не может быть смешным потому только, что оно не более 6.000 футов ростом. Жители Сатурна, сперва удивлявшиеся ему, вскоре с ним сблизились. В особенности подружился с ним секретарь сатурнской академии, \* который, будучи человеком большого ума, хотя и не сделал ни одного открытия, но зато умел хорошо докладывать об открытиях, которые сделали другие, сочинял маленькие стихотвореньца и делал большие вычисления. Для удовольствия читателя, я приведу здесь своеобразную беседу, происходившую однажды между Микромегасом и секретарем.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Беседа жителя Сириуса с жителем Сатурна*

Когда его превосходительство соизволил уলেখся, секретарь приблизился к его лицу. «Надо сознаться, — сказал Микромегас, — что природа очень разнообразна». «Да, — ответил житель Сатурна, — природа все равно что цветник, в котором...» «Ах, оставьте в покое ваш цветник!» «Она похожа на собрание блондинок и брюнеток, которых наряды...» «Какое мне дело до ваших брюнеток?» — возразил Микромегас. «Ну, так она не что иное как картинная галлерей...» «Да нет же, — сказал путешественник, — природа не что иное как природа. Для чего приискивать ей сравнения?» «Из желанія вам угодить», — возразил секретарь. «Я вовсе не хочу, чтобы мне угождали, — отвечал путешественник, — я хочу, чтобы меня поучали; скажите мне, например, сколько чувств у жителей вашей планеты?» «У нас их 72, — отвечал академик, — и не проходит дня, чтобы мы не горевали о том, что их так мало. Наше воображение превосходит наши потребности: мы сознаем, что наших 72 чувств, нашего кольца и наших пяти лун нам слишком недостаточно, и, несмотря на наше любопытство и страсти, порождаемые нашими 72 чувствами, у нас еще остается время для скуки». «Оно и немудрено, — сказал Микромегас, — у жителей нашей планеты около 1000 чувств, а между тем во всех нас существует какое-то неопределенное стремление, какое-то безотчетное недовольство самим собою, которое постоянно напоми-

нает нам о том, что мы ничтожны, и что есть существа значительно совершеннее нас. Во время моих путешествий мне приходилось встречать смертных, которые нам уступали, и таких, которые далеко нас превосходили, но ни разу мне не пришлось встретить таких, желания которых не превышали бы их потребностей, а потребности — средств удовлетворения. Может быть современем я найду страну, где ни в чем не нуждаются, но до сих пор никто не дал мне о ней положительных сведений». Житель Сатурна и житель Сириуса пустились потом в догадки, но после очень остроумных и метких рассуждений надо было возвратиться к фактам. «Долго вы живете?» спросил обитатель Сириуса. «Ах, нет», отвечал карлик с Сатурна. Также как и вы, — сказал первый, — мы тоже никогда не бываем довольны. Это должно быть всеобщий закон». «Увы, — продолжал житель Сатурна, — наша жизнь продолжается только 500 больших солнечных оборотов. (Это составляет, на наш счет около 15.000 лет). Вы видите, что нам приходится умирать почти в ту минуту, когда мы успеваем родиться; наше существование — точка, наша жизнь — мгновение, наша планета — атом. Едва только начинаешь приобретать кое-какие знания, как уже приходится умирать и умирать почти невеждой. Что касается до меня, то я не осмеливаюсь строить какие бы то ни было планы, я — капля воды в беспредельном океане. Мне совестно, особенно перед вами, за мою жалкую фигурку».

Микромегас ответил ему: «Если бы вы были философом, я побоялся бы огорчить вас, ска-

зав, что наша жизнь в 700 раз долговечнее вашей; но вы хорошо знаете, что когда наступает момент разложения тела на его составные части, т. е. когда оно умирает в одной форме, чтоб жить в другой, то, раз это превращение произойдет, не все ли равно для вас, прожили ли вы целую вечность или один день? Я видел страны, в которых жизнь в 1000 раз продолжительнее нашей, а между тем ропщут и там. Но везде есть умные люди, которые умеют покоряться своей участи и благодарить создателя всего существующего. Он наполнил вселенную множеством противоположностей, представляющих какое-то удивительное единство. Например, нет ни одного разумного существа, которое думало бы совершенно так же, как другое, но в сущности все они схожи друг с другом уже тем, что все они мыслят и желают. Материя везде имеет протяжение, но на каждой планете обладает различными свойствами. А сколько этих различных свойств у вашей материи?»

«Если вы говорите о тех свойствах, — сказал житель Сатурна, — без которых, как мы полагаем, эта планета не могла бы быть такой, какова она теперь, то мы насчитываем до трехсот, как-то: протяженность, непроницаемость, инерция, тяжесть, делимость и т. д.»

Вероятно, — возразил путешественник, — это малое число было достаточно творцу для выполнения его планов, которые он имел относительно нашего небольшого жилища. Я во всем удивляюсь его мудрости: везде противоположности и везде симметрия. На вашей маленькой



планете все мало: ее жители, их ощущения и самые свойства вещества, и все это — дело провидения. Какого цвета ваше солнце, если его хорошенько рассмотреть?»

«Белого, с сильным желтоватым оттенком, — отвечал житель Сатурна, — а по разложении одного из его лучей мы видим, что свет его состоит из семи цветов».

«Наше солнце красновато, — сказал житель Сириуса, — а основных цветов у нас 39. Из всех тех солнц, к которым я приближался, нет ни одного, похожего на другое, так же как у вас нет ни одного лица, которое бы не отличалось от всех остальных».

После нескольких вопросов такого рода, он осведомился, сколько считается на Сатурне существенно различных субстанций, и узнал, что их всего тридцать, как-то: бог, пространство, материя, существа протяженные, чувствующие и мыслящие, существа мыслящие, но лишённые протяжения, существа пронизаемые и непронизаемые и т. д. Житель Сириуса, на родине которого их насчитывали до трехсот и который в своих путешествиях открыл еще три тысячи других, привел в невыразимое удивление философа с Сатурна. Наконец, сообщив друг другу кое-что из того, что они знали, и много такого, чего они не знали, и проговорив в продолжение целого солнечного оборота, они решились предпринять вместе маленькое философское путешествие.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Путешествие жителя Сатурна с жителем  
Сириуса*

Запасшись предварительно необходимыми математическими инструментами, наши философы готовы были уже покинуть атмосферу Сатурна, как вдруг любовница жителя Сатурна, узнав об этом, явилась к нему и со слезами стала уговаривать остаться. То была красивая брюнетка, ростом всего в 660 туазов, но обладавшая другими совершенствами, которые вполне выкупали ее маленький рост. «Жестокый! — воскликнула она, — после сопротивления, какое я тебе оказывала в продолжении тысячи пятисот лет, после того, как я, наконец, отдалась тебе и провела в твоих объятиях сто лет, ты покидаешь меня для путешествия с великаном другого мира! Ступай, у тебя были прихоти, но ты никогда не любил; если бы ты был истинным сатурнцем, ты остался бы мне верен. Куда ты стремишься? Чего ты хочешь? Ты такой же бродяга как наши пять лун, и еще изменчивее нашего кольца. Конечно, я никого больше не буду любить». Философ обнял ее, поплакал, хотя и был философом, а она, упав предварительно в обморок, пошла искать утешения к одному из тамошних петиметров.

Между тем путешественники отправились. Сначала они спрыгнули на кольцо, которое оказалось довольно плоским, как это отгадал один знаменитый житель нашей маленькой планеты, а затем стали переезжать с одной луны на дру-

гую. Наконец, с последней луны они вместе со своими слугами и инструментами спустились на пролетающую мимо комету. Сделав около 150 миллионов лье они достигли спутников Юпитера и оставались там целый год, в продолжение которого узнали много интересных тайн, которые могли бы быть теперь напечатаны, если бы не господа инквизиторы, которым некоторые места показались слишком резкими. Но я их читал в рукописи, в библиотеке знаменитого архиепископа де..., который позволил мне пользоваться его книгами с таким великодушием и добротой, для которых я не могу найти достаточно похвал.

Но возвратимся к нашим путникам. Покинув Юпитер, они пролетели около 100.000.000 лье и приблизились к планете Марс, которая, как известно, в 5 раз меньше нашей земли; при этом они увидели 2 луны, которые принадлежат этой планете и которые ускользнули от наблюдений наших астрономов. Я знаю очень хорошо, что отец Кастель будет возражать даже довольно остроумно против, существования этих двух лун, но я обращаюсь к тем, которые судят по аналогии. Эти добрые философы знают, что Марс, будучи так отдален от солнца, едва ли бы мог обойтись менее, чем двумя лунами. Как бы то ни было, эта планета показалась нашим путешественникам, такой маленькой, что они побоялись не найти на ней места для ночлега, и продолжали свой путь, подобно путешественникам, которые, пренебрегая деревенским трактиром, спешат в соседний город. Но житель Сириуса и его спутник скоро

раскалялись. Долго летели они, ничего не встречая по дороге. Наконец, вдали показался слабый свет — то была наша земля; для людей, побывавших на Юпитере, она казалась крайне не представительной. Впрочем, опасаясь, как бы им не пришлось вторично раскаляться, они решились пристать. Переправившись на хвост кометы и увидев северное сияние, которое было в полном блеске, они спустились по одному из его столбов на северный берег Балтийского моря, пятого июля 1737 г. по новому стилю.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

##### *Что с ними случилось на земном шаре*

Отдохнув немного, они съели за своим завтраком две горы, довольно опрятно приготовленные их слугами. После этого они захотели познакомиться с страной, в которой находились. Сначала направились они с севера на юг. Обыкновенный шаг жителя Сириуса был почти в 30.000 королевских футов; карлик с Сатурна пыхтя следовал за ним в отдалении, так как ему приходилось делать около 12 шагов, в то время как первый делал только один. Представьте себе, если только позволительно делать такие сравнения, очень маленькую дамскую собачку, бегущую за капитаном гвардии его прусского величества.

Так как наши иностранцы шли довольно скоро, то они обошли вокруг земли в тридцать шесть часов; правда, солнце, или лучше сказать, земля, совершает то же самое путешествие в одни сутки. но надо помнить, что го-

раздо удобнее вертеться вокруг своей оси, чем ходить на своих ногах. Итак путешественники вернулись к месту, от которого отправились. На пути они заметили ту, почти неприметную для них лужу, которую мы называем Средиземным морем, и тот маленький пруд, который под именем Великого океана окружает нашу котловину. Вода нигде не доходила карлику выше колен, а его товарищу замочила одни только пятки. Во время своего путешествия они принимали всевозможные меры, чтобы заметить, обитаем этот шар или нет. Они наклонялись, ложились, везде ошупывали, но их руки и глаза не соответствовали крошечным существам, которые здесь пресмыкаются, и путешественники не получили ни малейшего ощущения, которое могло бы заставить их подозревать, что мы и другие наши братья, жители этой планеты, имеем честь существовать.

Карлик, судивший иногда слишком поспешно, тотчас же решил, что на земле никого нет, и доказывал это тем, что он никого не видит. Микромегас вежливо дал ему понять, что он довольно плохо рассуждает. «Поскольку вы не видите вашими маленькими глазами некоторых звезд 50-й величины, которые я различаю очень ясно, — сказал он, — не заключаете ли вы также, что эти звезды не существуют?» «Но — отвечал карлик — я тщательно ошупал». Ваши ощущения слишком грубы». «Но этот шар так дурно устроен, так неправилен и имеет такую забавную форму! В нем, повидимому, совершенный хаос, посмотрите на эти ручки, из которых ни один не течет по прямой

линии, на эти пруды, которые ни круглы, ни четырехугольны, ни овальны и вообще лишены какой-либо правильной формы; на все эти заостренные камешки, которыми уложен этот шар и которые исцарапали мне ноги! (Он говорил о горах). Обратите, кроме того, внимание на форму этого шара, как он сплюснен у полюсов и как неуклюже вертится вокруг солнца, так что полярные страны ни в каком случае не могут быть обитаемы. Право, это заставляет меня полагать, что здесь никого нет, ибо, мне кажется, люди со смыслом не стали бы здесь жить». «Так что же, — сказал Микромегас, — может быть живущие здесь люди не имеют смысла. Да, наконец, есть некоторая вероятность, что все это так устроено не без цели же. Вам, как вы говорите, все здесь кажется неправильным, потому что на Сатурне и Юпитере все вытянуто в струнку. Но может быть именно поэтому здесь и существует некоторый беспорядок. Не говорил ли я вам, что в моих путешествиях я везде замечал разнообразие». Житель Сатурна возражал на все эти доводы. Спор между ним никогда бы не кончился, если бы к счастью, разгорячившись, Микромегас не разорвал своего бриллиантового ожерелья. Бриллианты рассыпались; то были хорошенькие бриллиантики, из которых самые большие весили 400 фунтов, а самые маленькие — 50. Карлик поднял некоторые из них и, внимательно рассмотрев, заметил, что бриллианты были так огранены, что могли служить: отличными микроскопами. Он взял маленький микроскоп в 160 футов в диаметре и приставил к своим глазам.

Микромегас же выбрал микроскоп в 2.800 футов в диаметре. Микроскопы оказались превосходными; но, чтобы увидеть в них что-либо, надо было сначала к ним приноровиться. После некоторых усилий обитатель Сатурна заметил, наконец, какую-то почти недоступную глазу точку, плывшую по Балтийскому морю; это был кит. Карлик очень ловко поймал его своим мизинцем и, положив на ноготь большого пальца, показал обитателю Сириуса, который вторично расхохотался над чрезвычайною микроскопичностью жителей нашего шара. Карлик с Сатурна, убедившись, что наш мир обитаем, вообразил тотчас же, что киты единственные его обитатели, а так как он был большой резонер, то и захотел узнать, каким образом эти атомы двигаются и присущи ли им идеи, воля и свобода. Микромегас стал втупик, но, рассмотрев внимательно животное, пришел к тому заключению, что в этой штуке никак нельзя предполагать души. Оба путешественника склонялись уже к мнению, что жители земли лишены души, как вдруг, с помощью микроскопа, они заметили на поверхности Балтийского моря нечто более значительное. Известно, что в это самое время ватага ученых возвращалась из полярной экспедиции, \* произведя наблюдения, которых до того никому не приходило в голову делать. В газетах писали, будто их корабль потерпел крушение в Ботническом заливе и что они едва спаслись; но никогда не видят оборотной стороны медали. Я расскажу вам откровенно, как было дело, не прибавляя ничего от себя, что стоит историку не малого труда.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Опыты и рассуждения обоих путешественников.*

Микромегас тихонько протянул руку к месту, где виднелся предмет, и, то выставляя два пальца, то отнимая их из боязни ошибиться, то вытягивая их, то сгибая, успел очень ловко схватить корабль со всеми учеными господами, которые на нем находились. Опасаясь как бы чего-нибудь не раздавить, он тихонько положил его на свой ноготь. «Вот животное, вовсе не похожее на первое», сказал карлик с Сатурна. Обитатель Сириуса положил мнимое животное на свою ладонь. Пассажиры и корабельная прислуга, полагая, что они унесены ураганом и выброшены на какую-то скалу, крайне переполошились: матросы, выкатив винные бочки, выбросили их на руку Микромегаса и за ними бросились сами. Геометры, забрав свои квадранты, секстанты и бывших с ними лапландских девушек, тоже спустились на его пальцы. Они до того суетились, что Микромегас наконец почувствовал, как нечто движется и щекочет его руку: то была железная палка, которую ему на целый фут вонзили в указательный палец. По этому покалыванию Микромегас предположил, что из животного, которое он держал в руке, что-то такое вышло, не подозревая сначала ничего другого. Микроскоп, при помощи которого он едва мог различить кита и корабль, не годился для наблюдения таких крошечных тварей, как люди. Я не желаю этим оскорблять ничьего самолюбия, но осмелюсь попросить вы



сокоумных особ выслушать одно замечание: если принять рост человека за равный приблизительно 5 футам, то мы относительно земли должны представить не более того, чем бы оказалось в шаре в 10 футов в окружности животное, имеющее около  $\frac{1}{8000000}$  части дюйма. Представьте себе существо, которое могло бы держать в своей руке землю и органы которого были бы между собою так же пропорциональны, как и наши собственные, и таких существ может быть не мало, и вообразите теперь, что подумали бы они о наших битвах, происходящих из-за каких-нибудь двух деревушек, которые в конце концов приходится возвратить?

Я не сомневаюсь, что если это сочинение попадется какому-нибудь капитану рослых гренадер, то он у своих солдат увеличит кивера по крайней мере на два фута; но предупреждаю его, что это будет напрасно и что он и его солдаты навеки останутся бесконечно малыми.

Какою же удивительною ловкостью должен был обладать наш мудрец с Сириуса, если он заметил атомы, о которых я говорю. Левенгук\* и Харлизкер, которые первые увидели или полагали, что увидели, семя, из коего мы образуемся, сделали открытие сравнительно далеко не столь удивительное. Какую радость почувствовал Микромегас, видя движения этих маленьких тварей, наблюдая все их уловки, следя за ними во всех их действиях! Как он был восхищен! С какою радостью передал он один из своих микроскопов своему спутнику! «Я их различаю, — говорили они друг другу:—

видите ли вы, как они таскают тяжести, как они наклоняются и выпрямляются?» И в это время руки их дрожат от удовольствия, при виде столь новых предметов и от боязни их потерять. Обитатель Сатурна, перейдя от крайнего скептицизма к крайнему легковирию, подумал, что он наблюдает их размножение. «Ах,— сказал он,— я застиг природу на месте преступления». Но он ошибся, ибо судил только по внешности, что случается слишком часто, как при употреблении микроскопа, так и без него.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

##### *Что произошло у них с людьми*

Микромегас, лучший наблюдатель чем карлик, вскоре заметил, что атомы переговариваются друг с дружкой; он сообщил об этом своему товарищу, который, стыдясь своего промаха по поводу размножения, никак не хотел поверить, тому, чтобы подобным существам был доступен обмен мыслей. Хотя он, подобно обитателю Сириуса, знал многие языки, но, не слыша разговора наших атомов, он предполагал, что они не говорят; кроме того, каким образом эти неприметные существа могли иметь орган речи, да и о чем им было разговаривать? Чтобы говорить, надо мыслить или нечто в этом роде, но, если они мыслят, то имеют, следовательно, нечто вроде души: приписывать же этим тварям даже нечто вроде души ему казалось нелепым. «Но — сказал житель Сириуса — вам показалось сейчас, что они сооб-

щаются; неужели же вы думаете, что можно сообщаться не думая и не произнося ни слова, или, по крайней мере, не понимая друг друга? Уж не думаете ли вы, что ставить возражения труднее, чем делать детей?» «Для меня и то и другое представляется великою тайной, — ответил карлик; — я не смею более ни верить, ни отрицать; у меня нет более своего мнения; попытаемся сначала получше рассмотреть этих насекомых, а рассуждать о них мы еще успеем». «Умно сказано», отвечал Микромегас, и, вынув ножницы, обстриг себе ногти, из обрезка ногтя своего большого пальца поспешно изготовил нечто в роде разговорной трубы, в виде громадной воронки, узкое отверстие которой приложил к своему уху, а широким накрыл корабль вместе со всем его экипажем. Круговые волокна ногтя передавали самый слабый звук, так что, благодаря своей изобретательности, философ с Сириуса ясно услышал жужжание насекомых, населяющих землю. Спустя несколько часов ему, уже удалось различать слова, а наконец, и французскую речь. Карлик достиг того же самого результата, хотя и с большими затруднениями. Удивление путешественников все более и более увеличивалось. Они заметили, что речи этих козявок не лишены здравого смысла, и эта игра природы казалась им необъяснимой. Весьма понятно, что житель Сириуса и его карлик нетерпеливо желали завязать разговор с атомами; но карлик боялся, что его громовый голос, а тем более голос Микромегаса, оглушит козявок прежде, чем они что-нибудь расслышат. Надо было уменьшить свою силу. Они вложили

в рот зубочистки, тонкий конец которых приставили к кораблю. Обитатель Сириуса, держа карлика на коленях, а корабль с экипажем на ноге, наклонил свою голову и старался говорить возможно тише. Наконец, после всех этих и еще многих других предосторожностей, он начал свою речь:

«Невидимые насекомые, которых создателю угодно было сотворить бесконечно малыми, благодарю его, что он соизволил открыть мне гайны, казавшиеся непроницаемыми! При моем дворе на вас может быть и не взглянули бы, но я никого не презираю и предлагаю вам свое покровительство».

Если кто-нибудь когда удивлялся, так это те, которые услышали эти слова. Никто из них не мог догадаться, откуда они исходят. Корабельный священник в страхе стал читать экзорцизмы; матросы — ругаться, а ученые сочинять теории; но несмотря на все теории, они все-таки никогда не могли понять, кто с ними говорит. Тогда карлик с Сатурна, голос которого не был так громок, как голос Микромегаса, объяснил им в нескольких словах, с кем они имеют дело. Он рассказал о путешествии, предпринятом им с Сатурна, и о том, кто такой г. Микромегас; пожалел об их малом росте, спросил их, всегда ли они находились в таком несчастном положении, близком к ничтожеству, и о том, что они делают на планете, принадлежащей повидимому китам, счастливы ли они, размножаются ли, имеют ли душу, и предложил сотню других вопросов такого же рода.

Резонер труны, бывший посмелее других,

обиделся, что сомневаются в существовании у него души; он навел на вопрошателя диоптры своего квадранта, сделал две станции и на третьей отвечал так: «Вы воображаете, милостивый государь, что благо вы 1000 туазов ростом, так уже...» «Тысячу туазов, — воскликнул карлик, — праведное небо! Откуда он знает мой рост? Тысячу туазов! Он ни на дюйм не ошибся. Как! Этот атом измерил меня! Он геометр и знает мою величину, между тем как я, видящий его только в микроскоп, не знаю, какова его действительная величина!» «Да, я вас измерил, — сказал физик, — и измерю также и вашего товарища великана». Предложение было принято. Его превосходительство лег, потому что, когда он стоял, его голова была гораздо выше облаков. Наши ученые воткнули ему мачту в ту самую часть тела, которую доктор Свифт назвал бы ее собственным именем, чего я никогда себе не позволю по причине моего глубокого уважения к дамам, и, затем, посредством системы треугольников, вывели заключение, что предметом их наблюдения был действительно молодой человек в 120 000 королевских футов ростом.

«Я вижу теперь более, чем когда-либо, — воскликнул тогда Микромегас, — что не нужно ни об чем судить по росту. О боже, ты, который одарил разумом столь ничтожные существа! Бесконечно малое имеет у тебя такое же значение, как и бесконечно великое, и если только возможны существа еще меньше этих, то и те также могут быть разумнее тех гордых творений, которых я видел во вселенной и одна нога

которых покрыла бы всю эту планету, на которой я теперь нахожусь». Один из ученых заметил ему, что он может быть вполне уверен в существовании разумных существ гораздо меньшей величины, чем люди. Он не стал рассказывать ему басен, которые сочинил о пчелах *Виргилий*, но сообщил ему об открытиях *Сваммердама* \* и об анатомических исследованиях по этому предмету *Реомюра*. \* Ученый открыл ему также, что есть животные, которые в сравнении с пчелами то же, что пчелы в сравнении с людьми, что сам житель *Сириуса* в сравнении с теми существами, о которых он говорил, и то же, что, наконец, эти последние относительно других существ, перед которыми они не более, как атомы. Мало-по-малу беседа становилась все интереснее. *Микромегас* говорил:

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

#### *Беседа с людьми*

«О разумные атомы, на которых угодно было Вечному Существу явить свое могущество и мудрость! Вы без сомнения вкушаете на вашей земле самые чистые радости, имея в себе так мало вещественного и состоя, повидимому, почти из одного духа; вы должны проводить свою жизнь в любви и размышлениях, потому что истинная жизнь духа не может быть иною. Я нигде не видал полного счастья, но, без сомнения, найду его здесь». При этих словах земные ученые повесили носы, а один из них, который был откровеннее прочих, чистосердечно со-

знался, что за исключением очень немногих обитателей земли, не пользующихся особенным значением, остальную часть составляют глупые, злые и несчастные люди. «В нас всегда найдется достаточно вещества, чтобы делать зло, если только зло происходит от вещества, и слишком много духа, если оно зависит от духа. Знаете ли вы, например, что в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, 100.000 болванов одной с нами породы, в шляпах, режутся с 100.000 таких же болванов в чалмах, и что так повелось почти на всей земле с незапамятных времен?» Житель Сириуса ужаснулся и спросил, что за причина таких ужасных раздоров между столь ничтожными животными. «Спор идет — сказал философ — о нескольких кучах грязи величиною с вашу пятку. И ни одного комка этой грязи не достанется ни одному из всех этих глупцов, которые убивают друг друга. Все дело в том, достанется ли эта грязь человеку, которого называют султаном, или другому, который, неизвестно почему, носит звание цесаря. \* Ни тот, ни другой никогда не видел и, может быть, никогда не увидит той землишки, из-за которой ведется война, и почти ни одно из взаимно режущих друг друга животных никогда не видало животного, за которое они дерутся».

«Ах несчастные, — воскликнул с негодованием обитатель Сириуса, — чему же приписать эту неистовую ярость? Уж не сделать ли мне несколько шагов, чтобы раздавить весь этот муравейник жалких убийц?» «Не трудитесь, — отвечали ему, — они сами достаточно стараются

о своей гибели. Знаете ли вы, что пройдет едва десять лет, и из этих несчастных не останется и пятой части; знаете ли вы, что если бы они даже не обнажали меча, то голод, невоздержанность и утомление уничтожили бы их всех одного за другим. К тому же не их надо наказывать, а тех домоседов-варваров, которые, отдаваясь усладам пищеварения, посылают из своих кабинетов приказы об истреблении миллионов людей, а потом велят торжественно благодарить за это бога». Путешественник почувствовал сострадание к человеческому роду, в котором он усмотрел такие удивительные противоречия. «Тақ как вы принадлежите к небольшому числу мудрых людей, — сказал он этим господам, — и по всей вероятности никого не убиваете из-за денег, то скажите мне пожалуйста, чем вы занимаетесь?» «Мы анатомируем мух, измеряем линии, делаем вычисления, мы согласны относительно двух или трех положений, которые мы понимаем, и спорим о двух или трех тысячах их, которые для нас непонятны». Жителям Сириуса и Сатурна пришла фантазия узнать, в чем же сходятся между собою эти мыслящие атомы. «Сколько считаете вы, — спросил последний, — от звезды в Малом Псе до большой звезды в Близнецах?» «32 градуса с половиною», — отвечали они все разом. «Сколько считаете вы отсюда до луны?» «60 земных радиусов круглым счетом». «Сколько весит ваш воздух?» Он думал поймать их на этом вопросе, но все ему сказали, что воздух весит почти в 900 раз меньше, чем такой же объем самой чистой воды, и в 19.000 раз



меньше червонного золота. Карлик с Сатурна, удивленный этими ответами, был готов уже назвать волшебниками тех самых людей, которым четверть часа тому назад отказывал в душе.

«Если вы так хорошо знаете, то что находится вне вас, то без сомнения еще лучше знаете все, находящееся в вас самих», — сказал Микромегас. «Скажите, что такое ваша душа и как слагаются ваши идеи? Философы, как и прежде, заговорили все разом, но высказали мнения весьма разнообразные. Самый старый цитировал Аристотеля,\* другой произносил имя Декарта,\* третий — Мальбранша,\* четвертый — Лейбница,\* пятый — Локка.\* Старый перипатетик проговорил громко и с уверенностью: «Душа есть энтелехия\* и та причина, по которой она может быть такою, какова есть на самом деле. Это именно говорит Аристотель, на 633-й странице Луврского издания». Он привел цитату. «Я не слишком-то хорошо понимаю греческий язык», — сказал великан. «Я точно также», — отвечал козьявка-философ. «Зачем же вы — возразил обитатель Сириуса — цитируете вашего Аристотеля по-гречески?» «Затем, что то, чего не знаешь вовсе, всегда надо цитировать на том языке, который понимаешь всего хуже».

Картезианец сказал: «Душа есть чистый дух, который получил его во чреве матери все метафизические идеи и, после рождения, отправился снова в школу учиться тому, что он знал уже так хорошо и чего ему не суждено более знать». «Значит вашей душе, — отвечало животное в 8 лье ростом, — не стоило труда

быть такой ученой во чреве матери, чтобы стать невеждой, когда вырастет борода. Но что вы разумеете под словом дух?» «Что вы меня об это спрашиваете? — сказал резонер; — я не имею о нем никакого понятия; говорят, что это не вещество». «Не знаете ли вы по крайней мере, что такое вещество?» «Как нельзя лучше, — отвечал тот. — Например, вот этот камень — серого цвета, такой-то формы, делим, имеет три измерения и известный вес». «Хорошо, — сказал житель Сириуса, — но скажете ли вы мне, что представляет собой вещь, кажущаяся вам серой, делимой и весомой? Вы видите некоторые свойства, не постигаете ли вы сущность вещи?» «Нет», — ответил картезианец. «Так вы вовсе не знаете, что такое вещество».

Тогда Микромегас обратился к другому мудрецу, которого держал на своем большом пальце, и спросил у него, что такое его душа и в чем проявляется ее деятельность? «Да ни в чем, — отвечал последователь Мальбранша; — за меня все делает бог, я все вижу и все делаю при его посредстве, сам же ни во что ни мешаюсь». «Это все равно, что не существовать», — возразил мудрец Сириуса.

«А вы мой друг, — сказал он случившемуся тут ученику Лейбница, — как вы определяете вашу душу?» «Это стрелка, указывающая часы в то время, как мое тело отбивает их, или, если хотите, она отбивает часы в то время, как мое тело их указывает, или иначе, моя душа — зеркало вселенной, а мое тело — рамка этого зеркала: все это очень ясно». Когда, наконец, об-

ратились к стороннику Локка, то он сказал: «я не знаю, как я мыслю, но знаю, что мыслю не иначе как вследствие моих ощущений; я не сомневаюсь в том, что есть существа невещественные и разумные, но сильно сомневаюсь в том, чтобы богу невозможно было вложить мысль в вещество. Я почитаю Вечное Всемогущество, не смею его ограничивать, ничего не утверждаю и довольствуюсь тем убеждением, что на свете гораздо более возможных вещей, нежели об этом думают».

Обитатель Сириуса улыбнулся; он нашел этого мудреца не глупее других, а карлик из Сатурна обнял бы последователя Локка, если бы этому не мешала крайняя несоразмерность их роста. Но здесь к несчастью было еще маленькое животное, в четырехугольной шапочке,\* которое своим рассуждением совершенно уничтожило микроскопических философов; оно объявило, что знает весь секрет, что все это можно найти в «Сумме богословия» св. Фомы; и затем, осмотревши с ног до головы обоих небожителей, оно стало уверять их, что они сами, их горы, их солнца, их звезды, все это сотворено единственно для человека. При этих словах оба наши путешественника едва не задохлись от того неудержимого смеха, который, по словам Гомера, составляет достояние богов: их животы и плечи до того тряслись от судорожного хохота, что корабль, бывший на ноге обитателя Сириуса, упал в один из карманов панталон карлика. После долгих поисков они наконец нашли весь экипаж и привели его в надлежащий порядок. Житель Сириуса снова об-

ратился к маленьким козявкам, и говорил с ними с необыкновенной добротой, хотя внутренне несколько досадовал на то, что эти бесконечно малые существа были почти бесконечно горды. Он обещал им подарить прекрасное философское сочинение, написанное нарочно для них очень мелко, из которого они узнают самую суть всех вещей. Действительно, перед своим отъездом он отдал им эту книгу; ее доставили в Парижскую Академию Наук, но когда секретарь раскрыл ее, то увидел одни листы белой бумаги. «Ах, — сказал он, — этого я и ожидал».





КАНДИД  
*или*  
ОПТИМИЗМ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО  
Г-НА ДОКТОРА РАЛЬФА  
С ДОБАВЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ  
НАЙДЕНЫ В КАРМАНЕ У ДОКТОРА, КОГДА  
ОН СКОНЧАЛСЯ В МИНДЕНЕ В ЛЕТО  
БЛАГОДАТИ ГОСПОДНЕЙ 1759

*1 7 6 7*



**C A N D I D E**  
**OU**  
**L'OPTIMISME**  
traduit de l'allemand  
**DE M. LE DOCTEUR RALPH**

*avec les additions qu'on a trouvées  
dans la poche du docteur, lorsqu'il  
mourut à Minden l'an de grâce 1759*

**1769**



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

### *Как воспитывался в прекрасном замке Кандид и как его оттуда прогнали*

В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которому природа дала наиприятнейший нрав. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно верно и очень простосердечно, потому, я думаю, его и звали Кандидом. \* Старые слуги этого дома подозревали, что он был сыном сестры барона и одного доброго и честного дворянина по соседству, за которого эта барышня ни за что не хотела выйти замуж, так как он не мог доказать более, чем семьдесят одно поколение предков, а остаток его генеалогического древа был погублен разрушительною силою времени.

Барон был одним из самых могущественных владетелей Вестфалии; в его замке были и дверь, и окна; главный зал был даже украшен шпалерами. Все собаки с задних дворов в случае надобности соединялись в своры; конюхи



становились охотниками; деревенский священник был великим милостынераздавателем. Все они называли барона Монсенъором и смеялись, когда он рассказывал забавные приключения.

Баронесса, его супруга, весила без малого триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она принимала почетных гостей с достоинством, которое делало ее еще более уважаемой. Ее дочь семнадцатилетняя Кунигунда, была высокая, свежая, полная и аппетитная девушка. Сын барона являлся во всех отношениях достойным своего отца.

Наставник Панглос \* был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космолого-нигологию. Он удивительно доказывал, что не бывает действия без причины, и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона был прекраснейшим из замков, и что госпожа баронесса была лучшей из возможных баронесс.

— Ясно, — говорил он, — что вещи не могут быть иными, поскольку все создано целесообразно, то все необходимо создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому у нас и очки. Ноги, очевидно, предназначены быть обутыми, и мы обуваем их. Камни образовались, чтобы их тесать и чтобы из них строить замки, и вот, владетельный барон имеет прекрасный замок. Свиньи созданы для съедения, — мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые находят,

что все хорошо, говорят глупость, — следует говорить, что все к лучшему.

Кандид слушал внимательно, и верил простодушно: он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, — после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, — второю степенью счастья быть Кунигундой, третьей — видеть ее каждый день, четвертой — слушать учителя Панглоса, величайшего философа той области и, следовательно, всей земли.

Однажды Кунигунда, гуляя по близости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела среди кустарников доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики баронессиной горничной, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень скромной. Так как Кунигунда имела большую склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, которых стала свидетельницей. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность, — и удалилась взволнованная, задумчивая и вся полная стремлением к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, столь убедительного для юного Кандида, как и для нее самой.

Она встретила Кандида, возвращаясь в замок, и покраснела; Кандид тоже. Она приветствовала его прерывающимся голосом и смущенный Кандид ответил ей что-то, о чем и сам не ведал. На другой день после обеда, когда выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очути-

лись за ширмами. Кунигунда уронила платок. Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы с живостью, с чувством, необыкновенной нежностью; их губы встретились, их глаза горели, их колена были трепетны, и руки их блуждали. Барон Тундер-тен-Тронк проходил близ ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком ноги вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок. Лишь только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ

##### *Что случилось с Кандидом у болгар.*

Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, не зная куда, плача, воздевая глаза к небу, часто обращая свои взоры к прекраснейшему из замков, в котором обитала прекраснейшая из юных баронесс. Он лег, не ужиная, среди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергоф-трарбк-Дикдорф. Он печально остановился у двери кабакча. Два человека, одетые в голубое, заметили его.

— Товарищ, — сказал один, — вот статный юноша. да и рост у него подходящий.

Они приблизились к Кандиду и учтивейшим образом пригласили его обедать.

— Господа, — сказал им Кандид, с милой скромностью, — вы делаете мне много чести, но мне нечем платить за общий стол.

— Ну, — сказал ему один из голубых, — такой человек, как вы, ничего не должен платить; ведь ростом вы будете пять футов и пять дюймов?

— Да, господа, таков действительно мой рост, — сказал Кандид с поклоном.

— Ну, садитесь за стол. Мы не только заплатим за вас, но сверх того не допустим, чтобы вы впредь нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.

— Верно, — сказал Кандид, — это мне и Панглос всегда говорил, и я ясно вижу, что все к лучшему.

Ему предложили несколько монет. Он их взял и хотел заплатить свою долю, ему не позволили, и уселись за стол.

— А вы может быть любите...?

— О, да! — отвечал он, — я нежно люблю Кунигунду.

— Нет, — сказал один из этих господ, — мы вас спрашиваем не любите ли вы короля болгарского?

— Отнюдь, — сказал Кандид, — ведь я его никогда не видел.

Как?! Это милейший из королей, и нужно выпить за его здоровье.

— О, очень охотно, господа!

И он пьет.

— Довольно, — говорят ему, — теперь вы

опора, защита, заступник, герой болгар. \* Ваша судьба решена и ваша слава обеспечена.

Тотчас на ноги ему набили кандалы и угнали в полк. Его заставили поворачиваться направо, налево, вынимать шомпол, вкладывать шомпол, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него, как на чудо.

Кандид, совершенно ошеломленный, никак не мог взять в толк, почему он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел, куда глаза глядят, уверенный, что пользоваться ногами в свое удовольствие есть неотъемлемая привилегия людей, также как и животных. Но не сделал он еще и двух миль, как вдруг четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали бросили в тюрьму. Его запросили официальным порядком, что он предпочитает, — быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз, или получить в лоб сразу двенадцать свинцовых пуль.

Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого, — пришлось сделать выбор. Он решил, в силу божественного дара, именуемого свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй полка; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые обнажили его мышцы и нервы от шеи до пяток. Когда хотели при-

ступить к третьему прогону, Кандид, выбившись из сил, просил, чтобы уж лучше ему раздробили череп; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза; его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; <sup>х</sup> он справился о вине осужденного; поелику этот король был великий гений, он понял из всего, доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, — и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляться во всех журналах до окончания века. Искусный хирург вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом. \* У него уже стала нарастать новая кожа, и он мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров. \*

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### *Как спасся Кандид от болгар и что вследствие этого произошло*

Ничто не могло быть столь прекрасно, столь подвижно, столь блестяще, столь благоустроено, как две армии. Трубы, флейты, гобои, барабаны, пушки создавали гармонию, неслыханную и в аду. Сначала пушки уложили около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров от девяти или десяти тысяч бездельников, которые оскверняли его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Все вместе могло бы довести цифру до тридцати тысяч душ. Кандид,

дрожащий, как подобает философу, прятался как можно лучше во время всей этой героической бойни.

Наконец, когда оба короля приказали петь благодарственный молебен, каждый в своем лагере, Кандид решил уйти, чтобы рассуждать где-нибудь в другом месте о действиях и причинах. Он прошел среди куч мертвых и умирающих и достиг сначала соседней деревни; она была сожжена; это была аварская деревня, которую болгары сожгли согласно законам публичного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимая детей к окровавленным грудям; там — изрезанные девушки, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные молили добить их. Мозги были разбрызганы по земле рядом с отрубленными руками и ногами.

Кандид поскорее убежал в соседнюю деревню; она принадлежала болгарам, и аварские герои поступили с нею таким же самым манером. Все время шагая среди трепещущих тел или через развалины, Кандид покинул, наконец, театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая о Кунигунде. Когда он пришел в Голландию, у него уже не осталось провизии; но так как он слышал что в этой стране все богаты и благочестивы, то не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке у барона, прежде чем он был оттуда изгнан ради прекрасных глаз Кунигунды.

Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, которые все ему ответили, что если он будет продолжать это ремесло, то его запрут в исправительный дом, где он научится жить.

Потом он обратился к человеку, который только что перед тем целый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот оратор, косо посмотрев на него, сказал:

— Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?

— Нет действия без причины, — скромно ответил Кандид, — все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был изгнан из общества Кунигунды, чтоб я прошел сквозь строй, и надо, чтоб я просил на хлеб, пока не смогу его зарабатывать; все это не может быть иначе.

— Мой друг, — сказал ему оратор, — верите ли вы, что папа — антихрист?

— Я ничего не слышал о нем, — отвечал Кандид, — но антихрист он или не антихрист, — у меня нет хлеба.

— Ты не достоин есть его! — последовал ответ, — убирайся, бездельник, убирайся несчастный, и никогда не приставай ко мне.

Жена оратора, высунув голову из окна и заметив человека, который сомневался в том, что папа антихрист, вылила ему на голову полный... О, небо! До каких крайностей доводит дам религиозное усердие.

Человек, который никогда не был окрещен, добросердечный анабаптист \* по имени Яков, видел как жестоко и позорно обошлись с одним



из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу. Он привел его к себе, пообчистил его, дал ему хлеба с маслом, подарил два флорина и хотел даже научить его работать на своей фабрике персидских тканей, которые выделяются в Голландии.

Кандид, низко кланяясь, воскликнул:

— Учитель Пангос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, ибо я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги!

На следующий день, прогуливаясь, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с безжизненными глазами, с кривым ртом, с изъязвленным носом, с черными зубами, с глухим голосом, измученного жестоким кашлем, от которого он каждый раз выплевывал по зубу.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло*

Кандид, чувствуя более сострадания, чем ужаса, дал этому страшному нищему те два флорина, которые получил от своего честного анабаптиста Якова. Урод пристально посмотрел на него, залился слезами, и бросился к нему на шею. Кандид отступил в испуге.

— Увы! — сказал несчастливцу другому несчастливцу, — вы уже не узнаете вашего милого Панглоса?

— Что я слышу? Вы мой дорогой учитель, вы в этом ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы уже не проживаете в прекраснейшем замке? Что случилось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, образцовым произведением природы?

— У меня нет более сил, — сказал Панглос.

Тотчас же Кандид привел его в хлев анабаптиста, где дал ему поесть немного хлеба и, когда Панглос подкрепился:

— Ну, — спросил он, — Кунигунда?

— Она умерла, — ответил тот.

Кандид упал в обморок от этих слов, и его друг привел его в чувство при помощи скверного уксуса, которого небольшое количество случайно нашлось в хлеву. Кандид снова открыл глаза.

— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни умерла она? Не от того ли, что видела, как я был изгнан ее отцом из прекрасного замка, при помощи здорового пинка.

— Нет, — сказал Панглос, — измученная до изнеможения, она была зарезана болгарскими солдатами. Они размозжили голову барону, который хотел ее защитить; баронесса была изрезана в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне, — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы были-таки отомщены, ибо авары сделали тоже самое с соседним помещением, которое принадлежало болгарскому вельможе.

Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он пожелал исследовать причину, действие и достаточное основание того, столь жалкого состояния, в котором находился Панглос.

— Увы, — сказал Кандид, — я ее знал, эту любовь; любовь утешительница человеческого рода, хранительница мира, истинная душа всех чувствующих существ, нежная любовь.

— Увы, — сказал Кандид, — я ее знал, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один поцелуй и двадцать пинков. Каким образом столь прекрасная причина могла произвести над вами столь гнусное действие.

Панглос ответил следующими словами:

— О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, эту хорошенькую служанку нашей высокой баронессы; я вкушал в ее объятиях райские наслаждения, и они причинили мне эти адские муки, которыми, как видите, я совершенно обессилен. Она была заражена. Быть может, она уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного весьма ученого францисканского монаха, который доискался до источника заразы: она у него была от старой графини, а та ее получила от кавалерийского капитана, который был обязан ею одной маркизе, та позаимствовала ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, получил ее по прямой линии от одного из сотоварищей Христофора Колумба. Что касается меня, то я никому не передал ее, ибо я умираю.

— О, Панглос! — воскликнул Кандид, — вот странная родословная. Неправда ли, что дьявол — ствол этого дерева?

— Отнюдь нет, — сказал этот великий человек, — это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимейшее снадобье, ибо если бы Колумб не подобрал на одном из американских островов этой болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему, и, очевидно, противной великой цели природы, — мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до нынешнего дня эта болезнь есть исключительная особенность нашего материка, подобно богословским спорам. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им познать ее в свою очередь через несколько веков. Пока она совершила удивительный прогресс среди нас, и особенно в этих больших армиях, состоящих из честных, хорошо обученных наемников, которые решают судьбы государств; можно быть уверенным, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного им по числу, то около двадцати тысяч с каждой стороны заражены сифилисом.

— Это удивительно, — сказал Кандид, — но надо вылечить вас.

— Что я могу сделать? — сказал Панглос, — у меня нет ни гроша, мой друг, а на всем пространстве нашего земного шара нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие.

Услышав это, Кандид сообразил, что ему делать; он упал к ногам своего милосердного анабаптиста Якова, и изобразил ему столь трогательное состояние своего друга, что добряк не задумался помочь доктору Панглосу; он его вылечил на свой счет.

Панглос от этого лечения потерял только один глаз и ухо. Он хорошо писал и знал в совершенстве арифметику.

Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом.

Когда через два месяца ему пришлось ехать в Лиссабон по торговым делам, он взял к себе на корабль обоих философов.

Панглос объяснил ему, что все идет как нельзя лучше. Яков не разделял этого мнения.

— Конечно, — говорил он, — люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не рождаются волками, а лишь становятся ими. Господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и штыки и пушки, чтобы истреблять друг друга. Я мог бы поставить в счет и банкротства и суд, который, захватывая имущество банкротов, обездоливает кредиторов.

— Все это неизбежно, — отвечал кривой философ, — отдельные несчастья создают общее благо; так что чем более частных несчастий, тем лучше.

Пока он рассуждал таким образом, воздух потемнел, ветры задули со всех четырех сторон, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей в виду Лиссабонского порта.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Буря, кораблекрушение, землетрясение, и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом*

Половина пассажиров, ослабленных, задышавшихся в той невыразимой тоске, которая угнетает нервы и все телесные ощущения людей, бросаемых корабельной качкой в разные стороны, не имела даже силы беспокоиться об опасности. Другие испускали крики и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Работали кто мог, никто не слушался, никто не отдавал приказаний. Анабаптист немного помогал в работе; он находился на палубе; какой-то бешеный матрос жестоко ударил его и опрокинул на землю; но от нанесенного удара сам получил такой сильный толчок, что свалился за борт головой вперед. Там он повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается, чтобы спасти его, помогает ему подняться, но от сделанных при этом усилий, в свою очередь, низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид приближается, видит, как его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности, затем навеки поглощается волнами. Он хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая, что Лиссабонский рейд на то и создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал, а ргіогі, корабль затонул, все погибло, кроме Панглоса, Кандида и этого гру-

бого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста; негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.

Когда они немного пришли в себя, то отправились к Лиссабону; у них сохранилось немного денег, при помощи которых они надеялись спастись от голода, после того, как избавились от бури.

Едва они успели войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит у их под ногами; море, кипя, поднимается в гавань и разбивает корабли, которые стояли на якорях. Вихри огня и пепла покрывают улицы и площади; дома трещат и фундаменты рассыпаются в прах, кровли падают на фундаменты. Тридцать тысяч жителей без различия пола и возраста погибли на развалинах. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:

— Надо будет здесь чем-нибудь пожить.

— Какая бы могла быть достаточная причина этого явления? — говорил Панглос.

— Вот последний день мира! — восклицал Кандид.

Матрос, не медля, бежит в середину развалин, позорит смерть, чтобы найти денег, находит их, овладевает ими, напивается до пьяна и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, которую находит в развалинах разрушенных домов, среди мертвых и умирающих. Тут Панглос дернул его за рукав:

— Друг мой, — сказал он ему, — это не хорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.

— Кровь и смерть! — отвечал тот, — я матрос и родился в Батавии. Я четыре раза топтал распятие в четырех японских\* деревнях, так мне ли слушать о твоём всемирном разуме.

Несколько осколков камня ранили Кандида: он лежал простертый на улице и был засыпан обломками. Он говорил Панглосу:

— Горе мне! Дай мне немного вина и масла, — я умираю.

— Так, но землетрясение отнюдь не новость, — отвечал Панглос, — город Лима в Америке испытал то же самое в прошлом году, те же причины, те же действия. Несомненно существует серная залежь под землей от Лимы до Лиссабона.

— Весьма вероятно, — сказал Кандид, — но, ради бога, — немного масла и вина.

— Как вероятно? Я утверждаю, что это вполне доказано.

Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.

На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую пищу и подкрепили немного свои силы. Потом они работали, как и другие, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько граждан, спасенные ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно в их положении. Конечно, пиршество было печальное; гости обливали хлеб слезами, но Панглос их утешал, уверяя, что не могло быть иначе.

— Ибо, — говорил он, — если вулкан проявил свое действие в Лиссабоне, он не мог быть в другом месте; невозможно чтобы вещи не на-



ходились там, где они находятся; ибо все хорошо.

Маленький черный человечек, сотрудник инквизиции, который сидел рядом с Панглосом, вежливо заметил:

— Повидимому, вы, сударь не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, то не может быть ни грехопадения, ни наказания.

— Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, — ответил Панглос еще более вежливо, — падение человека и проклятие должны были произойти одно за другим в лучшем из возможных миров.

— Вы не верите, следовательно в свободу? — спросил гость.

— Ваше превосходительство, извините меня, — сказал Панглос, — свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны; ибо, в конце концов воля, обусловленная причинностью...

Панглос еще недоговорил своей фразы, когда сотрудник инквизиции сделал знак головою слуге, который налил ему вина, называемого Опорто или Порто.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Как было устроено прекрасное ауто-да-фе, чтобы избавиться от землетрясения, и как высекли Кандида*

После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, местные мудрецы нашли наиболее подходящим средством против все-

общего разрушения устроить перед народом прекраснейшее ауто-да-фе. Коимбрский университет постановил, что зрелище сожжения нескольких человек на малом огне с большою церемонией, несомненно представляет способ помешать землетрясениям.

На этом основании схватили одного бискайца, уличенного в женитьбе на собственной куме, и двух португальцев, которые содрали сало с дыпленка, прежде чем съесть его. Были схвачены тотчас же после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид — первый за то, что говорил, — второй за то, что слушал с видом одобрения. Оба они были отведены порознь в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоит солнце. Через неделю обоих одели в сан-бенито и увенчали бумажными митрами. Митра и сан-бенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же на Панглосе были с хвостами и с когтями, и огненные языки стояли прямо. Одетые таким образом они прошли в процессии и выслушали весьма трогательную проповедь, под прекрасную музыку фальшивых цимбалов. Кандида высекли в такт пению, бискаец и те двое, которые ничего не хотели есть с салом, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот день землетрясение повторилось с ужасающей силой.

Кандид испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий, говорил сам с собою:

— Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Пусть секут меня, это бывало со мною и у болгар; но мой милый Пангос, величайший из философов, вас ли пришлось мне видеть повешенным неведомо за какую вину? О, мой милый анабаптист, лучший из людей, вам ли надо было утонуть в этой гавани? О Кунигунда, перл среди девушек, необходимо было, чтобы вам распорол живот?

Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он корчился от боли и едва дышал, когда к нему подошла какая-то старушка и сказала:

— Сын мой, ободрись, следуй за мной.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел ту, которую любил*

Кандид не слишком ободрился, но все-таки последовал за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла ему есть и пить и уложила его на маленькую довольно чистую кроватку. Подле кровати лежало новое платье.

— Ешьте, пейте, спите,—сказала она ему,— да сохраняют вас Атошская божья мать и господа нашего святыне Антоний Падуанский и Иаков Кампостельский. Я вернусь завтра.

Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, все, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.

— Не мою руку надо целовать, — сказала старуха, — завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.

Кандид, несмотря на столько несчастий, поел и уснул. На следующий день старуха приносит ему завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другою мазью; потом приносит ему обед; снова приходит вечером, и приносит ужин. На третий день она проделывает опять те же самые церемонии.

— Кто вы? — то и дело спрашивал ее Кандид, — кто внушил вам столько доброты? Чем могу я вас отблагодарить.

Добрая женщина никогда ничего не отвечала. Но вот возвращается она однажды вечером и ничего не приносит на ужин.

— Идите за мной, — говорит она, — и не произносите ни слова.

Она берет его под руку и идет с ним в сельскую местность, лежащую за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она вводит Кандида потайною лестницею в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчевом диване, закрывает дверь и уходит. Кандид думал, что грезит; вся его жизнь казалась ему мрачным сном, а настоящая минута сном приятным.

Старуха скоро возвратилась. Она с трудом поддерживала трепещущую женщину величественного роста, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.

— Сними это покрывало, — сказала старуха Кандиду.

Молодой человек приближается; робкой рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он действительно видит ее, это она! Силы его оставляют, он не может вымолвить ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их спиртом. Они приходят в чувство, они говорят друг с другом. Вначале это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха предлагает им поменьше шуметь и оставляет их наедине.

— Как, это вы! — говорит ей Кандид, — вы живы! — Я нашел вас в Португалии! Значит вы не были изнасилованы? Вам не вспороли живот, как о том рассказывал философ Панглос?

— Так оно и было, — сказала прекрасная Кунигунда, — но не всегда умирают от этих двух приключений.

— Но ваш отец и ваша мать, они убиты?

— Увы, это верно, — сказала Кунигунда, плача.

— А ваш брат?

— Мой брат также убит.

— Но почему вы в Португалии? Как узнали вы, что я нахожусь здесь, и по какой странной случайности меня привели в этот дом?

— Я вам расскажу все, — сказала она, — но сначала вы должны сообщить мне все, что случилось с вами после того невинного поцелуя, который вы мне дали, и после пинков, которые вы получили.

Кандид почтительно исполнил это желание, хотя он был смущен, хотя голос его ослабел и дрожал, хотя спина причиняла ему еще некоторую боль, но он простосердечно рассказал все, что испытал с мгновенья их разлуки. Кунигунда воздевала глаза к небу и проливала слезы, слушая о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который не проронил при этом ни слова и пожирал ее глазами.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*История Кунигунды*

Я лежала в своей постели и крепко спала, когда небу угодно было наслатъ болгар на наш прекрасный замок Тундер-ген-Тронк. Они зарезали моего отца и брата, а мою мать изрубили в куски. Один огромный болгарин шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все, происходившее в замке моего отца, было делом весьма обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок, от чего у меня еще сохранился след.

— Увы! Надеюсь, что увижу его, — сказал простодушный Кандид.

— Вы его увидите, — сказала Кунигунда, — но я продолжаю.

— Продолжайте, — сказал Кандид.

Она продолжала свою историю.

— Вошел болгарский капитан. Он увидел меня всю окровавленную. Солдат не смутился. Капитан разгневался на неуважение, которое оказал ему этот изверг, и убил его на мне. Затем он перевязал мою рану, и увел меня к себе пленницей. Я стирала его рубашки, которых у него было немного, и служила ему кухаркой. Он находил меня очень хорошенькой, — надо в этом признаться; и я не буду отрицать, что он был очень недурно сложен и что у него была белая мягкая кожа; впрочем мало остроумия, мало философии; хорошо было видно, что он не был воспитан доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все свои деньги и получив ко мне отвращение, он продал меня одному еврею, по имени дон Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и который страстно любил женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить; я ему противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Благородная особа один раз может быть изнасилована, но ее добродетель только укрепится от этого. Еврей, с целью приручить меня, поместил меня в этот деревенский дом, что вы видите. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, нежели замок Тундер-ген-Тронк; я ошибалась. Однажды меня заметил во время обедни великий инквизитор. Он долго смотрел на меня и велел передать, что ему надо переговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унижительно для особы моего звания

принадлежать израильянину. Дон Иссахару было предложено уступить меня Монсиньору. Дон Иссахар, придворный банкир с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему ауто-да-фе. Наконец, мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я должны принадлежать им обоим совместно, так что еврей имеет понедельник, среды и субботы, а инквизитор остальные дни недели. Шесть месяцев уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько спорили по поводу того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать ветхому завету или новому. Что касается меня, то я отказывала до настоящего времени им обоим, и думаю, что именно поэтому они оба до сих пор меня любят. Наконец, с целью обуздать ярость землетрясений, и, заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное ауто-да-фе. Он сделал мне честь пригласить и меня в качестве зрительницы. Мне отвели прекрасное место. После обедни, перед казнью, дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя как жгли тех евреев и того славного бискайца, который жегился на своей куме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в сан-бенито и митре человека, лицо которого мне напомнило Панглоса! Я протираала себе глаза, я смотрела внимательно, и увидела его повешенным; я упала в обморок. Едва вернувшись в чувство, я увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня трепетом, ужасом, скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, что



ваша кожа еще белее и розовее, чем кожа моего болгарского капитана, — и это удвоило мои мучения. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!», но что же я могла сделать? И не бесполезны ли были бы мои крики? Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне, один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы быть повешенным по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманывал меня, говоря, что все идет к лучшему в этом мире. Взволнованная, растерянная, едва помня себя, почти умирая от слабости, я припомнила убийство отца, матери, брата, насилие мерзкого болгарского солдата, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого Иссахара, моего гнусного инквизитора, повешение доктора Панглоса, фальшиво гремевшую музыку, при звуках которой вас секли, и, наконец, поцелуй, который я дала вам за ширмой в тот день, когда я видела вас в последний раз. Я благодарила бога, возвратившего мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе позаботиться о вас и привести вас сюда, лишь только она это сможет. Она отлично выполнила поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас снова, слушая вас, беседуя с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный аппетит, сядем за ужин.

Вот оба они садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о кото-

ром уже сказано было выше. Вдруг является дон Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дон Иссахар пришел воспользоваться своими правами и изъявить свою нежную любовь.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*О том, что случилось с Кунигундою, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем*

Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только бывали во Израиле со времен вавилонского пленения.

— Как, — сказал он, — галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо, чтоб и с этим бездельником пришлось мне делиться?

Говоря таким образом, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда носил, и, не думая, чтоб у его противника было оружие, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хоть он и кроткого нрава, но он вытаскивает свою шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвым на пол к ногам прекрасной Кунигунды.

— Пресвятая дева! — воскликнула она, — что нам делать? Этот человек убит у меня! Если сюда придут, мы погибли.

— Если бы Пангос не был сожжен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, — ведь он был великий философ. За его отсутствием посоветуемся со старухой.

Она оказалась очень благоразумною, и начала высказывать свое мнение, как вдруг маленькая

дверь отворилась. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагою в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду, и старуху, дающую советы. Вот, что происходило в эту минуту в душе Кандида и вот каково было его решение:

— Если этот святой человек позовет на помощь, — меня неизбежно сожгут, то же будет, пожалуй, и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; я должен его убить без колебаний.

Это сообразил он ясно и быстро; и не давая времени инквизитору опомниться от удивления, он пронзает его насквозь и бросает рядом с евреем.

— Вот и второй! — сказала Кунигунда, — не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Что вы наделали! Вы, от природы такой кроткий, и в две минуты вы убили еврея и прелата.

— Моя милая, — отвечал Кандид, — когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизициею, он себя не помнит.

Тут старуха вмешалась в их разговор, и сказала:

— В конюшне есть три андалузские лошади с седлами и сбруей. Пусть смелый Кандид их седлает. Вы, сударыня, собирайте деньги и брильянты. Хоть у меня и отрезана половина зада, а все-таки живее сядем на лошадей и едем в Кадикс. Погода теперь прекрасная, и очень приятно путешествовать в ночной прохладе.

Тотчас Кандид седлает трех лошадей, Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль, не отдыхая. В то время, как они убегали, служители святой Германдады \* пришли в дом. Похоронили инквизитора в прекрасной церкви, бросили Иссахара на свалку.

Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авачена посреди гор Сиерры-Морены; в одном кабачке у них вышел такой разговор:

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как сели на караван*

— Кто украл мои червонцы и мои брильянты? — плача говорила Кунигунда, — как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые мне дадут столько же?

— Увы! — сказала старуха, я сильно подозреваю одного преподобного отца кордельера, \* который ночевал вчера в той же бадахосской гостинице, где и мы останавливались. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.

— Увы! — сказал Кандид, — добрый Пангос всегда мне говаривал, что все блага земные представляют общее достояние, на которое каждый имеет равное право. Этот кордельер, конечно, должен был бы, следуя этим правилам, оставить нам что-нибудь на дорожку. Однако,

у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?

— Ни одного мараведиса, \* — сказала она.

— Что же делать? — спросил Кандид.

— Продадим одну из лошадей, — сказала старуха; — уж я кое-как усядусь сзади барышни, и мы доедем до Кадикса.

В той же гостинице остановился бенедиктинский приор. \* Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха проехали через Луцену, Хиллу, Лебриху и достигли, наконец, Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войска, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае, \* которых обвиняли в том, что они взбунтовали против испанского и португальского королей одну из парагвайских орд вблизи города Сан-Сакраменто.

Кандид не даром служил у болгар, — он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с такой ловкостью, быстротою, проворством, живостью, легкостью, что ему дали командовать ротой пехоты.

Вот он капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, с двумя слугами и с двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали господину великому инквизитору Португалии.

Во время этого переезда, они много рассуждали о философии бедняги Панглоса.

— Мы едем в Новый Свет, — говорил Кандид, — и в нем-то уж, без сомнения, все хорошо; ведь надо признаться, что нам пришлось таки пострадать и душою, и телом из-за того, что творится в нашем мире.

— Я люблю вас всем сердцем, — сказала Кунигунда; — но до сих пор вся душа моя истомлена тем, что я видела и испытала.

— Все будет хорошо, — возразил Кандид; — уж и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет — самый лучший из возможных миров.

— Дай-то бог, — сказала Кунигунда, — но я была так страшно несчастна в моем старом мире, что мое сердце почти закрыто для надежды.

— Вы жалуетесь, — сказала ей старуха. — Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.

Кунигунда едва удерживалась от смеха, — ей казалось до крайности забавным притязание этой доброй женщины быть несчастнее Кунигунды.

— Увы! — сказала она ей, — милая моя, если вы, по меньшей мере, не были изнасилованы двумя болгарами, если вы не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время ауто-да-фе, то я не вижу, чтобы мы могли заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессою в семидесят втором поколении, — и служила в кухарках.

— Барышня, — отвечала старуха, — вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.

Эта речь возбудила чрезвычайное любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее:

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

##### *История старухи*

— Не всегда у меня были такие глаза с распухшими веками, не всегда красовались синие пятна, мой нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда была я служанкой. Я — дочь папы Урбана Десятого \* принцессы Палестрины. До четырнадцати лет я воспитывалась во дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Одно из моих платьев стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла среди удовольствий, поклонения и надежд; уже я внушала любовь, моя грудь формировалась, и какая грудь! Белая, сильная, слаженная, как у Венеры Медицейской; какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Какой огонь блистал в моих зрачках! Он превосходил мерцанье звезд, как мне говорили поэты, жившие по соседству. Женщины, которые одевали и раздевали меня, впадали в экстаз, рассматривая меня спереди и сзади, и всем мужчинам хотелось бы быть на их месте. Я была обручена с владетельным князем Масса-Каррара... Какой князь! Такой же прекрасный, как я, чрезвычайно нежный и приятный, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят впервые

в жизни, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; проходили дни торжества, неслыханного великолепия, — празднества, карусели, опера-буфф, непрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был хотя бы немного сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая была любовницею моего князя, пригласила его на чашку шоколаду; он умер менее чем через два часа в страшных судорогах; но не то еще ждало меня впереди. Моя мать была в отчаянии, — конечно, ее огорчение все же не могло сравниться с моим, но она захотела хотя на некоторое время оставить это столь гибельное место. У нее была прекрасная дача близ Гаэты; мы сели на галеру, украшенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Салы настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются, как папские солдаты? Все они падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущения грехов.

Сейчас же всех нас раздели догола, словно обезьян, и мою мать, и наших компаньонов, и меня. Удивительно, с какой поспешностью эти господа всех раздевают; но что меня удивило более всего, так это то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы женщины, вводим только клистирные трубки. Этот обряд показался мне очень странным ведь всему удивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я узнала, что это делается с целью установить, не спрятали ли мы там брильянтов; этот — обычай принят с незапамятных времен



всеми образованными народами, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступают таким образом, когда захватывают в плен турок и турчанок; это — закон международного права, которого никто никогда не оспаривал. Я ничего не скажу вам о том, сколь жестоко было для юной принцессы быть невольницей, увезенной в Марокко со своею матерью; вы поймете также, что мы испытали на корабле корсара. Мать моя была еще очень красива; наши команьонки, даже наши горничные имели более прелестей, чем можно было бы найти во всей Африке? Что касается меня, то я была восхитительна, красота моя была исполнена очарования и я была девственницей; не долго я оставалась ею; цветок, который сберегался для прекрасного принца Масса-Каррара, был похищен капитаном корсаров. Это был отвратительный негр, который еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Конечно, я и принцесса Палестрина должны были быть очень сильными, дабы выдержать все, что нам пришлось испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это — дела столь обыкновенные, что не стоит труда говорить об них.

Марокко утопало в крови, когда мы туда приплыли. Пятьдесят сыновей императора Мулей-Измаила имели каждый свою партию; это было причиною пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против смуглых, смуглых против смуглых, мулатов против мулатов, — непрерывная резня на всем пространстве империи.

Лишь только мы высадились, как черные из партии, враждебной партии моего корсара, явились отнять его добычу. После брильянтов и золота мы были всего драгоценнее. Я стала свидетельницей такого сражения, какого вы никогда не увидели бы в ваших европейских странах.

У северных народов не столь горячая кровь; они не знают той бешеной страсти к женщинам, какая обычна в Африке. Похоже, что у наших европейцев молоко в жилах; но купорос и огонь текут в жилах обитателей Атласских гор и соседних стран. Эти люди дрались с яростью львов, тигров и змей, чтобы решить, кому мы достанемся. Какой-то мавр схватил мою мать за правую руку, помощник капитана тянул ее за левую; один мавританский солдат взял ее за ногу, один из наших пиратов тянул ее за другую. Почти каждую из наших девушек в эту минуту тащили в разные стороны по четыре солдата. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахивал палашем и убивал каждого, кто осмеливался противиться его ярости.

Наконец, все наши итальянки и моя мать были разорваны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, — солдаты, матросы, черные, смуглые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан все были убиты, и я лежала полумертвая на этой груде мертвецов. Подобные сцены происходили на пространстве более трехсот верст, но при этом никто не забывал прочесть пять дневных молитв, установленных Магометом.

С большим трудом выбралась я из-под множества окровавленных трупов, сваленных в кучу, и дотащи́лась до большого померанцевого дерева, возвышавшегося на берегу соседнего ручья. Я свалилась там от страха, усталости, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, чем отдохновением.

Я еще находилась в этом состоянии слабости и безчувствия, между жизнью и смертью, когда почувствовала, что меня придавило нечто, двигавшееся на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека, с добродушною физиономиею, который вздыхал и говорил сквозь зубы: «Ma che sciagura d'essere senza cogl...»

#### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

##### *Продолжение несчастий старухи*

Удивленная и восхищенная тем, что слышу язык моей родины, и не менее удивленная словами, которые произносил этот человек, я ответила, что случаются худшие несчастья, нежели то, на которое он жаловался; я рассказала ему вкратце об ужасах, которые перенесла, и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, дал мне поесть, ухаживал за мною, утешал меня, ласкал, говорил, что не видал никого прекраснее меня, и что он никогда еще так горько не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.

— Я родился в Неаполе,—говорил он мне;—там каждый год оскопляют две или три тысячи

ребятишек; одни из них умирают, другие приобретают голос красивее женского; иные из них даже правят государствами. Мне сделали эту операцию с большим успехом, и я служил в капелле у принцессы Палестрины.

— Моей матери! — воскликнула я.

— Вашей матери, — воскликнул он плача, — значит, вы та молодая принцесса, которую я воспитывал до шести лет и которая обещала уже тогда быть столь прекрасною.

— Это я; моя мать находится в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски под кучею мертвых...

Я рассказала ему все, что случилось со мною; он мне также поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к мароккскому королю одною христианскою державою, дабы заключить с этим монархом договор, по которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан:

— Моя миссия исполнена, — сказал этот честный евнух, — я отправляюсь в Цеуту и отвезу вас в Италию.

«Ma che sciagura d'essere senza cogli.»..

Я благодарила его со слезами умиления, но вместо того, чтобы отвезти меня в Италию, он доставил меня в Алжир и продал дею \* этой области. Едва я была продана, как та ужасная чума, которая обошла Африку, Азию и Европу, появилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.

— Никогда, — отвечала баронесса.

— Если бы вы видели ее, — сказала старуха, — вы признали бы, что это будет почище

землетрясения. Чума часто встречается в Африке. Я захворала. Представьте себе, какое положение для пятнадцатилетней дочери папы, которая в течение трех месяцев испытала бедность, рабство, подвергалась почти ежедневно насилиям, видела свою мать изрубленной на куски, испытала голод и войну и умирала зачумленная в Алжире. Однако, я не умерла; но и мой евнух, и дей, и почти весь алжирский сераль погибли.

Когда стихли первые приступы этой ужасной чумы, распродавали невольниц дея. Один купец приобрел меня и отправил в Тунис; там он сбыл меня другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была снова продана в Александрию; из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге, \* который вскоре был послан защищать Азов против осаждавших его русских.

Ага, который был очень любезным человеком, взял с собою весь свой сераль; он поместил нас в маленькой крепостце на Меотийском Болоте \* под стражею двух черных евнухов и двадцати солдат. Убито было страшно много русских, но они отплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни пола, ни возраста; держалась только наша маленькая крепость; неприятель хотел взять нас голодом. Двадцать янычар поклялись низачто не сдаваться. Крайностями голода они были доведены до того, что из страха нарушить свою клятву принуждены были съесть двух евнухов. Наконец, через несколько дней они решили есть женщин. С нами

был один очень благочестивый и сострадательный имам, \* который сказал им прекрасную проповедь, убеждая их не убивать до смерти.

— Отрежьте, — сказал он, — только по половинке зада у каждой из этих дам; у вас будет превосходное жаркое; если опять почувствуете голод, то у вас будет еще столько же через несколько дней; небо будет милостиво к вам за такой человеколюбивый поступок и пошлет вам помощь.

Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам бальзам, которым мажут детей после обрезания; мы все были почти при смерти.

Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на то положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги: один из них, человек очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что когда мои раны зажили, он сделал мне известного рода предложения. Впрочем, с этим он обращался ко всем нам, чтобы нас утешить; он нас уверял, что подобные случаи уже происходили при осадах и что таков закон войны.

Как только мои подруги смогли ходить, их отправили в Москву; я досталась на долю одного боярина, который сделал меня своею садовницею и каждый день давал мне по двадцати ударов розгами; но через два года этот боярин сам был колесован вместе с тридцатью

другими боярами за какую-то придворную интригу. Я воспользовалась этим случаем, чтобы убежать; я прошла всю Россию; долгое время была служанкою в кабачке в Риге; потом в Ростке, в Веймаре, в Лейпциге, в Кассела, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я составила в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сто раз я хотела убить себя, но я до сих пор люблю жизнь. Эта смешная слабость, быть может, один из самых несчастных наших недостатков; ведь ничто не может быть глупее, нежели желание нести неизбежную ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; наконец, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изложет нашего сердца.

Я видела в странах, по которым судьба заставляла меня проходить, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которые ненавидели свое существование, но из них я встретила только двенадцать человек, которые добровольно положили конец своим бедствиям, — троих негров, четырех англичан, четырех жевцев и одного немецкого профессора, по имени Робек. Я кончила тем, что поступила в услужение к еврею дону Иссахару; он направил меня к вам, моя прелестная барышня; я привязалась к вам и более заинтересовалась вашими приключениями, нежели моими собственными. Я никогда не стала бы рассказывать вам о своих несчастиях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не было обычая рассказывать на кораблях разные истории, с целью

разогнать скуку. Да вот, барышня, я опытна, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, убедите каждого пассажира рассказать свою историю; и если найдется из них один, который не проклинал бы частенько свою жизнь и не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда бросьте меня головою вниз в море.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

*Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой*

Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличны были особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и склонила всех пассажиров рассказать ей поочередно о своих приключениях. И тогда Кандид с Кунигундой увидели, что старуха была права.

— Очень жаль, — говорил Кандид, — что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время ауто-да-фе; он сказал бы нам удивительные слова о физическом и моральном зле, которое покрывает море и землю, а теперь я чувствую себя достаточно сильным, чтобы осмелиться почтительно сделать ему несколько возражений.

А тем временем, пока каждый рассказывал свою историю, корабль подвигался вперед. Он подошел к Буэнос-Айресу. Кунигунда, капитан Кандид и старуха явились к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-



Лампурдос-и-Суса. Это был господин очень гордый, как и подобало человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так надменно, так высоко задирая нос, так безжалостно повышая голос, принимая такой внушительный тон и такую высокомерную осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильное искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда показалась ему прекраснее всех, кого он видел раньше. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что в действительности она несколько не была таковою, но и назвать ее сестрою он тем более не посмел. Хотя эта условная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть не бесполезна, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.

— Девуца Кунигунда, — сказал он, — согласитесь оказать мне честь выйти за меня замуж и мы умоляем ваше превосходительство, благосклонно дать на это разрешение.

Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса, подняв усы, горько улыбнулся и приказал капитану Кандиду сделать смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою. Он изъяснил, что завтра женится на ней в церкви или иначе до такой степени он очарован ее прелестями. Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветываться со старухой и принять решение.

Старуха сказала Кунигунде:

— Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша денег; ничто не мешает вам стать женою самого важного вельможи в Южной Америке, у которого превосходные усы. С какой стати вам хранить верность во всех испытаниях? Вы были изнасилованы болгарами; иудей и инквизитор пользовались вашими ласками; несчастья дают права. Признаюсь, если бы я была на вашем месте, я бы не задумалась выйти замуж за губернатора и тем способствовать карьере капитана Кандида.

Пока старуха говорила с благоразумием, которое дают лета и опытность, при входе в гавань показался маленький корабль; на нем были алькад и альгвазилы,\* и вот, что случилось.

Старуха правильно угадала, что это кордельер с большими рукавами украл деньги и бриллианты Кунигунды в городе Бадахосе, когда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах хотел продать несколько алмазов одному ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер под виселицей признался, что он их украл. Назвал и тех, кого он обворовал, и сказал, куда они поехали. Бегство Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; не теряя времени послали корабль в погоню за ними. И вот, корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что Алькад скоро сойдет на берег и что гонятся за убийцами великого инквизитора. Благоразумная старуха в одну минуту смекнула, что делать.

— Вы не можете бежать, — сказала она Кунигунде, — и вам нечего бояться; это не вы убили господина; кроме того, губернатор, который вас любит, не позволит, чтобы с вами обращались дурно; оставайтесь.

Она поспешно мчится к Кандиду.

— Бегите, — сказала она, — или через час вы будете сожжены.

Нельзя было терять ни одной минуты; но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

#### *Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами*

Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких много можно найти в Испании и в ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумане; он сам побывал мальчиком в хоре, пономарем, матросом, монахом, разносчиком, солдатом, лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских лошадей.

— Едемте, сударь, последуем совету старухи, убежим без оглядки.

Кандид залился слезами.

— О, моя милая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор должен был устроить нашу свадьбу. Кунигунда, брошенная столь далеко от родины, что с вами будет?

— Она сделает, что сможет, — ответил Какамбо, — женщина нигде не пропадет, господь ей помогает. Бежим!

— Куда ты ведешь меня? Куда мы едем? — говорил Кандид.

— Клянусь святым Яковом Компостельским, — сказал Какамбо, — вы собирались воевать с иезуитами, — будем воевать за них; я достаточно знаю дорогу, я проведу вас в их государство; они будут рады завербовать капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете удивительную карьеру. Если человек не добьется своего в одном месте, он должен поискать счастья в другом. Весьма приятно видеть и делать все новое.

— Ты, значит, уже был в Парагвае? — спросил Кандид.

— Как же! — сказал Какамбо, — я был уличным сторожем в Ассумпсионской коллегии и я знаю государство *los padres*, \* как улицы Кадикса. Удивительная вещь—это государство. Оно имеет более трехсот миль в диаметре, разделено на тридцать провинций. *Los padres* имеют тут все, а народ ничего; это образец разума и справедливости. Что касается меня, я не знаю ничего более восхитительного, как *los padres*, которые здесь ведут войну против испанского короля и против португальского, а в Европе исповедуют этих королей; убивают здесь испанцев, а в Мадриде посылают их на небо. Это приводит меня в восторг. Вы увидите, что там вы будете счастливейшим из людей. Как обрадуются *lo padres* когда узнают, что к ним явился капитан, знающий болгарскую службу.

Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему к ним часовому, что капитан желает переговорить с комендантом.

Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту доложить ему новость. Кандид и Какамбо, прежде всего, были обезоружены; у них отняли их андалузских коней, затем два иностранца были проведены посреди солдат, выстроенных в две шеренги; комендант ждал их; на нем была шапка с тремя рогами, подвязанная ряса, шпага на боку, экспонтон \* в руке. Он подал знак, тотчас же двадцать пять солдат окружили двух вновь прибывших. Сержант сказал им, что надо подождать, что комендант не может говорить с ними, что преподобный отец-провинциал не позволяет испанцам говорить иначе, как в его присутствии, и оставаться более трех часов в стране.

— А где же преподобный отец-провинциал? — спросил Какамбо.

— Он принимает парад после обедни, — отвечал сержант, — и вы можете облобызать его шпоры только через три часа.

— Но, — сказал Какамбо, — господин капитан умирает от голода, да и я тоже; он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли нам позавтракать до прибытия его высокого преподобия?

Сержант пошел тотчас же передать эти слова коменданту.

— Будь благословен господь! — сказал этот господин, — если он немец, я могу поговорить с ним; пусть проведут его в мой шалаш.

Тотчас же провели Кандида в зеленый кабинет, украшенный весьма красивыми колоннами из золотисто-зеленого мрамора и трельяжем, в котором сидели попугаи, колибри, птицы-мухи и все самые редчайшие птицы. Превосходный завтрак был приготовлен в золотых чашах, и когда парагвайцы сели есть маис из деревянных чашек, среди поля, на солнечном припеке, преподобный отец-провинциал вошел в беседку.

Это был очень красивый молодой человек, полный, белолицый, краснощекий, с поднятыми бровями, с румяными губами, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с гордым видом, — но это не была гордость испанца или иезуита. Кандиду и Какамбо возвратили их оружие, которое было у них отобрано, также как и двух андалузских коней; Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь какой-нибудь неожиданности.

Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.

— Итак, вы немец? — спросил иезуит на этом языке.

— Да, преподобный отец, — сказал Кандид.

Оба, произнося эти слова, посмотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.

— Вы из какой части Германии? — спросил иезуит.

— Из грязной Вестфалии, — сказал Кандид, — я родился в замке Тундер-тен-Тронка.

— О, небо! Возможно ли? — воскликнул комендант.

— Какое чудо! — воскликнул Кандид.

— Это вы? — спросил комендант.

— Это немыслимо! — сказал Кандид.

Они бросаются друг к другу в объятия, проливая ручьи слез.

— Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, которого убили болгары! Вы, сын господина барона! Вы — парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир странно устроен. О, Пангос, Пангос! Как вы были бы рады, если бы не были повешены.

Комендант велел удалиться неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он благодарил бога и св. Игнатия тысячу раз; он сжимал Кандида в своих объятиях; их лица были орошены слезами.

— Вы будете гораздо более удивлены, более растроганы, — сказал Кандид, — если я скажу, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда совершенно здорова.

— Где?

— С вами по соседству, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я приехал сюда для того, чтобы воевать.

Все, о чем они говорили в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души порхали на их языках, внимали в их ушах, блистали у них в глазах. Так как они были немцы, то сидели за столом очень долго, в ожидании преподобного отца-провинциала, и тем временем комендант так говорил своему дорогому Кандиду.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

*Как Кандид убил брата своей милой Куингунды*

— Я всю жизнь буду помнить ужасный день, когда увидел моего отца и мать убитыми, и мою сестру обесчещенной. После ухода болгар мою обожаемую сестру нигде не могли найти; положили на тележку мать, отца, меня, двух служанок и трех зарезанных мальчиков, чтобы отправить для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих прадедов. Иезуит окропил нас святою водой; она была страшно солоная, несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что моя ресница дрогнула; он положил руку мне на сердце и почувствовал, что оно бьется; мне помогли, и через три недели я оправился. Вы знаете, милый Кандид, что я был очень красив; теперь я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст, тамошний настоятель, выказал мне нежнейшую дружбу; он сделал меня послушником и, немного спустя я был послан в Рим. Отец-генерал хлопотал о наборе молодых немецких иезуитов. Владельцы Парагвая не хотели принимать испанцев; они предпочитали иностранных подданных, надеясь, что те будут послушнее. Преподобный отец-генерал рассудил, что я гожусь на работу в этом винограднике. Мы отправились — один поляк, один тиролец и я. По приезде я был удостоен саном субдиякона и чином лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войска испанского короля. Ручаюсь, что они будут отлучены от церкви и разбиты. Про-



видение посылает вас сюда, чтобы помочь нам. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится так близко от нас, у губернатора Буэнос-Айреса?

Кандид клятвенно заверил его, что ничего нет более достоверного. Оба они вновь расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.

— Ах, может быть, — сказал он ему, — мы сможем вместе, милый Кандид, вступить победителями в город и освободить сестру мою Кунигунду.

— Это все, чего я желаю, — сказал Кандид, — ибо я ее жених и надеюсь обвенчаться с нею.

— Вы нахал! — ответил барон, — вы имеете бесстыдство мечтать о браке с моею сестрой, которая имеет семьдесят два поколения предков. Я нахожу весьма нахальным, что вы осмелились говорить много о плане, столь дерзком.

Кандид, ошеломленный этой речью, ответил:

— Преподобный отец, все поколения в мире ничего не значат; я спас вашу сестру от рук иудея и инквизитора; она мне обязана многим и хочет вступить со мной в брак. Магистр Панглос всегда говорил мне, что все люди равны, и я, конечно, женюсь на ней.

— Это мы увидим, негодяй! — сказал иезуит барон Тундер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид в один миг вынимает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита. Но, вытащив ее обратно, всю покрытую дымящейся кровью, он принялся плакать.

— О, боже мой! — сказал он, — я убил моего бывшего господина, моего друга, моего брата. Я, добрейший человек в мире, и вот я уже убил трех людей; из этих троих двое священников.

Прибежал Какамбо, стоявший на часах у дверей беседки.

— Нам остается дорого продать нашу жизнь, — сказал ему его господин, — бесспорно, войдут в беседку. Надо умереть с оружием в руках.

Какамбо, который побывал в переделках, несколько не растерялся; он взял иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему четырехугольную шляпу мертвеца и посадил своего хозяина на лошадь. Все это было сделано в одно мгновение.

Поскачем во весь опор, господин, все примут вас за иезуита, который едет отдавать приказания, и мы минуем границу, прежде, чем погонятся за нами.

С этими словами он помчался, крича по-испански:

— Дорогу, дорогу преподобному отцу-полковнику!

#### ГЛАВА ШЕСТПАДЦАТАЯ

*Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами и дикими орельонами*

Кандид и его слуга очутились по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотритель-

ный Какамбо позаботился наполнить свой баул хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и несколькими мерами вина. На своих андалузских конях они углубились в неведомую страну, где перед ними не открывалось никакой дороги. Наконец, им представился прекрасный луг, прорезанный ручейками. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину кушать и показал ему в этом пример.

— Как ты хочешь, — сказал Кандид, — чтоб я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона, и когда я чувствую себя осужденным не увидеть никогда прекрасной Кунигунды? К чему длить мне мои несчастные дни, если я должен проводить их далеко от нее в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет Газета Треву?<sup>1</sup>

Говоря таким образом, он все таки покушал. Солнце садилось. Путники услышали несколько далеких криков, — казалось, что кричат женщины. Они не знали, были то крики скорби или радости; но они стремительно вскочили с тем беспокойством, с тою тревогою, которые все внушает нам в незнакомых местах. Эти вопли исходили от двух девушек совершенно голых, которые быстро бежали по краю луга, меж тем как две обезьяны гнались за ними, кусая их зады. Кандиду стало их жаль; у болгар он научился стрелять, и мог сшибить орешек с куста, не зацепив листьев. Он берет свое испанское двухствольное ружье, стреляет и убивает обеих обезьян.

<sup>1</sup> Journal de Trévoix—периодический орган, издававшийся французскими иезуитами

— Слава богу, милый Какамбо, я избавил от великой опасности этих двух бедняжек; если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь я загладил мой грех, — я спас жизнь двум девушкам. Они, чего доброго, знатные, барышни, и приключение это может нам доставить великую пользу в этой стране.

Он хотел продолжать, но слова замерли на его языке, когда он увидел, как обе девушки нежно обнимали обезьян, проливали слезы над их телами и наполняли воздух горькими жалобами.

— Я не ожидал, что у них такая добрая душа, — сказал он наконец, обращаясь к Какамбо.

Но тот возразил ему:

— Славное вы сделали дело, господин, — вы убили любовников этих девиц.

— Их любовников? Возможно ли это? Вы смеетесь надо мной, Какамбо; с чего вы это вздумали?

— Мой дорогой господин, — отвечал Какамбо, — вас все удивляет; что находите вы странного в том, что в некоторых странах живут обезьяны, которые пользуются благосклонностью дам? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца.

— Увы, — отвечал Кандид, — я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто бы некогда подобные случаи бывали; он рассказывал, что таким образом появились на свет египяны, фавны, сатиры, которых видели своими собственными глазами некоторые важные особы в древности: но я считал все это баснями.

— Вы должны теперь убедиться, — сказал Какамбо, — что это правда. Вы видите, как этим занимаются женщины, которые не получили никакого воспитания; я боюсь, как бы эти дамы не втянули нас в скверную историю.

Эти основательные размышления побудили Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба, проклиная португальского инквизитора, губернатора Буэнос-Айреса и барона, уснули на ложе из мха. При своем пробуждении они почувствовали, что не могут двигаться; причиной этого было то, что ночью орьельоны, местные жители, которым две дамы их указали, связали их веревками из древесной коры. Они были окружены полсотней орьельонов совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни из них кипятили воду в большом котле; другие приготовляли вертела и все кричали:

— Это иезуит, это иезуит! Отомстим и, кстати, славно пообедаем. Покушаем иезуита. Покушаем иезуита.

— Говорил я вам, мой дорогой господин, — печально вскричал Какамбо, — что эти две девушки сыграют с нами скверную штуку.

Кандид, заметив котел и вертела, воскликнул:

— В самом деле, мы будем изжарены и сварены. Ах, что сказал бы магистр Панглос, если бы увидел, какова неприкрашенная природа? Все к лучшему, пусть так, — но уверяю, что очень жестоко потерять мадмуазель Кунигунду и попасть на вертел к орьельонам.

Какамбо никогда не терял головы.

— Не отчаивайтесь, — сказал он опечаленному Кандиду, — я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.

— Не забудьте, — сказал Кандид, — поставить им на вид, какая ужасная жестокость варить людей и как это не по-христиански.

— Господа, — сказал Какамбо, — вы конечно хотите скушать сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего более справедливого, как поступать подобным образом со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних и это делается по всей земле. Если мы не пользуемся правом их поедать, то лишь потому, что у нас есть много другой пищи; но у вас нет столь обширных запасов. Без сомнения, лучше есть своих врагов, чем отдавать плоды победы воронам и воронам. Но, господа, вы не захотите съесть ваших друзей. Вы думаете вздеть на вертел иезуита, — а он ваш защитник, враг ваших врагов, и его то вы хотите зажарить? Что касается меня, то я родился в вашей стране, а господин, которого вы видите, — мой хозяин, и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру. Итак, вы ошибаетесь. Чтобы проверить то, что я говорю вам, возьмите его рясу, отнесите ее до заставы на границе государства os radres; спрыньтесь, уби.л ли мой господин иезуитского офицера; вы всегда успеете нас скушать, если выяснится, что я вам солгал. Но если я вам сказал правду, то вам достаточно известны принципы международного права, обычаи и законы, чтобы не оказать нам снисхождения.

Орельоны сочли его речь весьма разумной и послали двух старейшин, чтобы поскорее разузнать истину. Два депутата исполнили это поручение как умные люди, и возвратились вскоре с хорошими новостями. Орельоны развязали обоих пленников, стали с ними очень любезны, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы соседнего государства, весело крича:

— Он не иезуит, он не иезуит!

Кандид не переставал дивиться причине своего избавления.

— Какой народ! — говорил он, — какие люди. Какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе отнюдь не плоха, ибо простые люди, вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне тысячу любезностей, как только узнали, что я не иезуит.

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

*Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо \* и о том, что они там увидели*

Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:

— Вы видите, что это полушарие не лучше другого; послушайте меня, вернемся поскорее в Европу.

— Каким способом вернуться туда, — сказал Кандид, — и куда идти? Если я поеду на ро-

дину, болгары и авары там всех режут; если я вернусь в Португалию, меня сожгут; оставаясь в здешней стране, мы рискуем каждую минуту попасть на вертел. Но как решиться покинуть ту часть света, где обитает мадемуазель Кунигунда?

— Поедемте через Каенну, — сказал Какамбо, — там мы найдем французов, которые шатаются по всему свету; они могут нас выручить. Господь быть может смилуется над нами.

Не легко было добраться до Каенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать, но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари, — повсюду их ждали ужасные препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец, они достигли маленькой речки; кокосовые пальмы поддержали их жизнь и их надежды.

Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:

— Мы не в силах более идти, мы довольно шагали. Я замечаю на реке пустой челнок, наполним его кокосами, сядемте в него и поплывем вниз по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то откроем, по крайней мере, чтонибудь новое.

— Едем, — сказал Кандид, — и вручим себя провидению.

Они проплыли несколько верст между берегами то цветущими, то пустынными, то пологими, то крутыми. Река все расширялась; наконец, она исчезла под сводами страшных скал,



которые поднимались до самого неба. Оба путешественника имели смелость, вверив себя волнам, пуститься под этот свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их очень быстро и с ужасным шумом. Через двадцать четыре часа они вновь увидели свет; лодка разбилась о подводные камни; пришлось тащиться со скалы на скалу целую милю; наконец, перед ними открылся необозримый горизонт, окруженный неприступными горами. Земля была обработана одновременно для удовольствия и для пользы; все полезное казалось приятным; дороги были покрыты или скорее украшены экипажами прекрасной формы, сделанными из чего-то блестящего; в них сидели мужчины и женщины исключительной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила скорость самых лучших лошадей Андалузии, Тетуана и Марокко.

— Вот, — сказал Кандид, — страна получше Вестфалии.

Он остановился с Какамбо у первой деревни, которую они встретили. Несколько деревенских детей, одетых в золотистую ветошь, играли у околицы в шары. Оба пришельца из другого света забавлялись и смотрели на них; игральными шарами служили довольно большие, круглые кусочки, желтые, красные, зеленоватые, отбрасывавшие странный блеск.

Путешественникам пришло в голову собрать несколько таких кусочков; это было золото, изумруды и рубины, из которых меньший был бы самым ценным украшением на троне Могила. \*

— Без сомнения, — сказал Какамбо, эти дети — сыновья здешнего короля.

Сельский учитель показался в эту минуту, чтобы позвать детей в школу.

— Вот, — сказал Кандид, — наставник королевской семьи.

Маленькие шалуны тотчас же прервали игру, оставив на земле свои шарики и все, что служило им для забавы. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно подает их, объясняя знаками, что их королевские высочества, забыли свое золото и дорогие камни. Сельский учитель, улыбаясь, бросил их на землю, взглянул на Кандида с большим удивлением и продолжал путь.

Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.

— Где мы? — воскликнул Кандид. — Должно быть, королевские дети этой страны хорошо воспитываются, потому что их научили презирать золото и драгоценные камни.

Какамбо был удивлен не менее Кандида. Наконец, они подошли к первому деревенскому дому; он был построен, как дворец в Европе. Толпа людей суетилась в дверях и еще более в доме; слышалась приятнейшая музыка, и тонкий запах разносился из кухни. Какамбо приблизился к дверям и услышал, что говорят по перувиански; это был его родной язык, — ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где не знали иного наречия.

— Я буду служить вам переводчиком, — сказал он Кандиду, — войдем, здесь кабачок.

Тотчас же два официанта и две девушки, слу-

жившие при гостинице, одетые в золотые платья и с волосами, перевязанными лентами, пригласили их сесть за общий стол. Было подано четыре супа, из которых каждый был приготовлен из двух попугаев, вареный ястреб, весивший двести фунтов, две зажаренные обезьяны, превосходные на вкус, триста колибри на одном блюде, и шестьсот птиц-мух на другом; тонкие рагу; нежные пирожные, — все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали в стаканы различные сорта ликеров, приготовленных из сахарного тростника.

Посетители были большей частью купцы и извозчики, все чрезвычайно вежливые: они задали Какамбо несколько вопросов, с остроумнейшей скромностью и сами отвечали весьма охотно.

Когда обед был окончен, Какамбо думал, как и Кандид, что они хорошо заплатят за свою долю, бросив на стол пару из тех крупных кусочков золота, которые он поднял; хозяин и хозяйка расхохотались и долго держались за бока. Наконец, они успокоились.

— Господа, — сказал хозяин гостиницы, — мы догадываемся, что вы иностранцы; мы не привыкли их видеть. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет здешних денег, но это и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для нужд торговли, содержатся на счет государства. У вас был здесь очень дурной стол, потому что это бедная деревня; но в других местах вас примут, как подобает.

Какамбо перевел Кандиду слова хозяина. Кандид слушал с тем же удивлением и недоумением, с какими его друг Кақамбо переводил.

— Что же это, однако, за страна, — говорили они один другому, — неизвестная всему остальному миру и где сама природа непохожа на природу наших стран? Это, вероятно, страна, где все идет хорошо, ибо надо непременно, чтобы хоть где нибудь существовала такая страна. И что сказал бы о ней учитель Панглос? Я часто замечал, что все шло довольно плохо в Вестфалии.

#### ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

##### *Что они видели в стране Эльдорадо*

Какамбо выказал пред хозяином свое любопытство; хозяин ему сказал:

— Я ничему не учился и тем доволен; но у нас здесь есть один старик, бывший придворный, самый ученый человек в государстве, и очень общительный.

Тотчас же он ведет Какамбо к старику. Кандид теперь оказался на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего на всего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не потеряло бы ничего в сравнении с самыми богатыми чертогами. Приемная, правда, была украшена лишь рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупил с избытком эту чрезвычайную простоту.

Старик принял обоих иностранцев сидя на софе, набитой пухом колибри, и угостил их ликерами в алмазных сосудах; потом он удовлетворил их любопытству в следующих выражениях:

— Мне сто семьдесят два года и я узнал от моего покойного отца, царского конюшего об удивительных переворотах в Перу, которых он был свидетелем. Государство, где мы находимся, есть древнее отечество инков, \* которые поступили очень неблагоприятно, когда вышли из него завоевывать другие земли, — они были, в конце концов, побиты испанцами. Те государи из этой династии, которые оставались в родной земле, были более благоприятны; они приказали, с народного согласия, чтобы каждый житель никогда не уходил из нашего маленького царства; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. Испанцы имели смутные сведения об этой стране; они назвали ее Эль-дorado, и один англичанин, по имени кавалер Ралей, \* приблизился даже к нам около ста лет тому назад, но, так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то всегда были до настоящего времени в безопасности от жадности европейских наций, которые имеют непостижимую страсть к камням и грязи нашей земли и которые, чтобы получить ее, готовы были бы перебить нас всех до последнего.

Разговор длился долго; говорили о форме правления, о нравах, о женщинах, о публичных зрелищах, об искусствах. Наконец, Кандид, который всегда имел склонность к метафизике, ве-

дел Какамбо спросить, существует ли в этой стране религия.

Старик немного покраснел.

— Неужели,—сказал он,—вы можете в этом сомневаться? Не принимаете ли вы нас за неблагодарных людей?

Какамбо почтительно осведомился, какова религия в Эльдорадо. Старик опять покраснел.

— Разве могут существовать две религии? — сказал он, — у нас, я думаю, та же религия, как и у всех; мы неустанно поклоняемся богу.

— Вы поклоняетесь только одному богу? — спросил Какамбо, который все время служил переводчиком вопросов Кандида.

— Конечно, — сказал старик, — их не два, не три, не четыре. Признаться, люди вашего мира задают вопросы очень странные.

Кандид не переставал спрашивать этого доброго старца; он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.

— Мы ничего не просим у него, — сказал добрый и почтенный мудрец, — нам нечего просить у него; он дал нам все, что нужно; мы благодарим его беспрестанно.

Кандиду было любопытно увидеть жрецов, и он велел спросить, где они. Добрый старик засмеялся.

— Мои друзья, — сказал он, — мы все жрецы; наш царь и все отцы семейств торжественно поют благодарственные гимны каждое утро; им аккомпанируют пять или шесть тысяч музыкантов.

— Как, у вас нет монахов, которые всех поучают, соперничают друг с другом, упра-

вляют, проклинают и сжигают людей, думающих иначе?

— Смею надеяться, мы не сошли с ума, — сказал старик, — у всех нас здесь одно мнение, и мы не понимаем, что вы называете монахами.

Кандид при этих словах пришел в восторг. Он говорил самому себе:

«Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос видел Эльдорадо, то не говорил бы более, что замок Тундер-тен-Тронк был лучшим на земле; вот как полезно путешествовать».

После этой длинной беседы добрый старик велел запрячь в карету шесть баранов и дал двум путникам двенадцать своих слуг, чтобы проводить их ко двору.

— Извините мне, — сказал он им, — что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Царь примет вас так, что вы не останетесь недовольны, и вы извините без сомнения обычай страны, если некоторые из них вам не понравятся.

Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во весь дух и менее, чем через четыре часа они достигают царского дворца, расположенного на окраине столицы. Портал был двухсот двадцатипяти футов в высоту и ста в ширину; невозможно, казалось, определить, из чего он сделан; но сразу было видно, что дивный материал этого здания значительно превосходил те булыжники и песок, которые мы называем золотом и драгоценными камнями.

Двадцать прекрасных девушек, несших

охрану, встретили Кандида и Какамбо при выходе из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды, сотканые из пуха колибри; после того придворные кавалеры и дамы ввели их в покои его величества, согласно обычаю, при чем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч человек. Когда они достигли тронного зала, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество? Встать ли на колени или ползти по земле животом? Положить руки на голову или за спину? Лизать с пола пыль? Одним словом, в чем состоит церемония?

— Принято, — сказал камергер, — обнимать монарха и целовать его в обе щеки.

Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их так мило-стиво, как только можно вообразить, и любезно приглашает их к ужину.

В ожидании им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынок, украшенный тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые постоянно текли в большие вместилща, выложенные особого рода камнями, издававшими запах гвоздики и корицы. Кандид просил, чтобы ему показали суд и парламент; ему сказали, что этого у них нет, что у них никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему ответили, что этого у них не имеется.

Более всего удивил Кандида и доставил ему наибольшее удовольствие дворец наук, в кото-



ром он увидел галерею в две тысячи шагов, всю наполненную математическими и физическими инструментами.

Когда они успели осмотреть едва одну тысячную часть города, их проводили к царю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и никогда не слышал за столом такого остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил царские острые словечки Кандиду, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.

Они прожили целый месяц в этом гостеприимном убежище. Кандид не переставал говорить Какамбо:

— Во истину, мой друг, замок, где я родился, гораздо хуже страны, где мы находимся; а все-таки здесь нет мадмуазель Кунигунды, да и у вас без сомнения осталась любовница в Европе. Если мы и поселились здесь, все же мы никогда не станем похожи на здешних жителей. Если же вместо того вернемся в наш мир только с двенадцатью баранами, нагруженными эльдорадским камнем, мы будем богаче, чем все короли вместе взятые. Мы более не будем бояться инквизиторов и легко можем освободить мадмуазель Кунигунду.

Это рассуждение понравилось Какамбо. Их обоих так прельщала мысль, что после стольких странствований, дома их будут ценить больше, и они смогут похвастаться всем виденным во время путешествий, что оба счастливица

решили отказаться от своего благополучия и просить отпуска у его величества.

— Вы делаете глупость, — сказал им царь, — я знаю, что страна моя не бог весть что; но где недурно, там надо и оставаться. Я не имею, конечно, права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна нашим обычаям и законам; все люди свободны: отправляйтесь, когда угодно, но выход очень труден. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом прибыли, и которая течет под сводами скал. Горы, окружающие мое государство, имеют десять тысяч футов в высоту и круты, как стены: каждая из них имеет в ширину более десяти миль; за ними лежат пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уйти, я прикажу инженерам построить что-нибудь такое, что может вас удобно переправить. Когда вы будете переведены через горы, никто не может вас сопровождать: ибо мои подданные поклялись никогда не выходить за ограду, и, они слишком благоразумны, чтобы нарушить свою клятву. Просите у меня сверх того все, что вам по душе.

— Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только несколько баранов нагруженных съестными припасами, а также камнями и грязью вашей страны.

Царь засмеялся.

— Я не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи; но вывозите ее столько, сколько захотите, и пусть она послужит вам на пользу.

Он немедленно отдал приказ своим инжене-

рам соорудить машину, чтобы выпроводить этих двух необыкновенных людей за пределы государства. Три тысячи ученых физиков работали над ней; через пятнадцать дней она была готова и стоила всего двадцать миллионов фунтов стерлингов, представляющих собой ходячую монету в той стране. Кандид и Какамбо сели в машину; у них были два большие красные барана, оседланные и взнузданные, чтобы ехать верхом при переходе через горы, двадцать баранов вьючных нагруженных съестными припасами, тридцать с образцами того, что страна имела наиболее любопытного, пятьдесят нагруженных золотом, драгоценными камнями и алмазами. Царь нежно обнял обоих залетных гостей.

Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и любопытно было смотреть, с каким искусством они были подняты со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место, вернулись, и у Кандида теперь уже не было иного желания и другой мысли, как подарить этих баранов мадмуазель Кунигунде.

— Мы имеем, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если мадмуазель Кунигунду можно оценить в какую бы то ни было сумму. Едем в Каенну, сядем на корабль, а потом посмотрим, какое королевство сможем мы купить.

#### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

*Что случилось в Суринаме, и как Кандид познакомился с Мартэном*

Первый день для наших двух путешественников прошел довольно приятно. Их ободряла

мысль, что они обладатели сокровищ, превосходящих все богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана потонули в болотах и с ними пропал их груз; два другие барана околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь погибли от голода в пустыне; несколько баранов свалились в пропасть. Наконец, через сто дней пути уцелело только два барана. Кандид сказал Какамбо:

— Мой друг, вы видите, сколь преходящи богатства этого мира; нет ничего прочного, кроме добродетели и счастья увидеть вновь мадмуазель Кунигунду.

— Согласен, — сказал Какамбо, — но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких никогда не будет у короля Испанского, и вот я вижу вдали город; думаю, что это — Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды кончатся и скоро начнется благоденствие.

Приближаясь к городу, они встретили негра, лежавшего на земле, полуголого, — на нем были только панталоны из синего полотна; у этого бедняка не хватало левой ноги и правой руки.

— Ах, боже мой! — сказал ему Кандид по-голландски, — что с тобою, мой друг? И почему ты в таком ужасном состоянии?

— Я жду моего хозяина г-на Вандердендура, известного негоцианта, — отвечал ему негр.

— Так это Вандердендур, — спросил Кандид, — так обошелся с тобою?

— Да, сударь, — сказал негр, — таков обычай. Нам выдают только одни полотняные пан-

талоны в год, и это вся наша одежда. Когда мы работаем на сахарном заводе и жернов оторвет нам палец, нам отрезают всю руку; если же кто-нибудь вздумает бежать, ему отрубают ногу. Со мной случились обе эти беды. Вот цена, которой вам в Европе достается сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских экю, она мне сказала: милое дитя, благословляй наших фетишей, чти их всегда, они сделают тебя счастливым; ты имеешь честь стать рабом наших белых господ, и этим ты составишь счастье твоего отца и матери. Увы, я не знаю, сделал ли я их счастливыми, но моего собственного счастья не вижу. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее нас; голландские фетиши, которым меня научили верить, твердят мне каждое воскресенье, что все мы дети Адама, — как белые, так и черные. Я не знаю генеалогии, но, если проповедники говорят правду, то все мы сродни друг другу. И потому, признайтесь, что нельзя обращаться со своими родственниками более ужасным образом.

— О, Панглос, — воскликнул Кандид, — ты не предвидел этих гнусностей; решено, — я, наконец, отказываюсь от своего оптимизма.

— Что такое оптимизм? — спросил Какамбо.

— Увы, — сказал Кандид, — это страсть утверждать, будто все хорошо, когда в действительности плохо.

И он залился слезами, глядя на негра; плача он пошел в Суринам.

Прежде всего они справились, нет ли в гавани корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес.

Испанский судохозяин, к которому они обратились, согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо пошли ждать его там со своими баранами.

У Кандида всегда было, что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу обо всех своих приключениях и признался, что хочет похитить мадмуазель Кунигунду.

— Ну, я и не подумаю вести вас в Буэнос-Айрес, — сказал купец, — я буду повешен, и вы также: ведь прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора.

Эти слова поразили Кандида, как удар грома; наконец, он обратился к Какамбо:

— Вот мой друг, — сказал он ему, — что ты должен сделать. У нас у каждого в карманах на пять или на шесть миллионов брильянтов; ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес за мадмуазель Кунигундой. Если губернатор заупрямится, — дай ему миллион; если он не сдастся, дай ему два. Ты не убивал инквизитора, тебе нечего бояться. Я снаряжу другой корабль и поеду ждать в Венецию; это свободная страна, где нечего бояться ни болгар, на аваров, ни евреев, ни инквизиторов.

Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии от необходимости разлучиться с добрым господином, который сделался его душевным другом; но удовольствие быть ему полезным превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал крепко накрепко не забывать добрую старуху.

Какамбо отправился в путь в тот же день; очень добрый человек был тот Какамбо.

Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, и ждал, пока другой купец согласится доставить в Италию его и двух баранов, которые с ним остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец, Вандердендур, хозяин большого корабля, явился к нему.

— Сколько вы возьмете, — спросил Кандид этого человека, — чтобы доставить прямым путем в Венецию, — меня, моих людей, мой багаж и двух этих баранов?

Купец согласился за десять тысяч пиастров. Кандид не поколебался.

— Ого! — сказал про себя Вандердендур, — этот иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь. Должно быть, он очень богат!

Вернувшись через минуту, он объявил, что не может везти его менее, чем за двадцать тысяч.

— Ну, хорошо! Вы их получите, — сказал Кандид.

— Ба! — сказал себе купец, — этот человек дает двадцать тысяч пиастров так же охотно, как и десять.

Он снова приходит, и говорит, что не может везти Кандида менее, чем за тридцать тысяч пиастров.

— Что ж, вы получите и тридцать тысяч, — отвечал Кандид.

— Ого! — подумал голландский купец, — тридцать тысяч пиастров ничего не стоят этому человеку; без сомнения, два барана навьючены

неисчислимыми сокровищами; не будем настаивать более, возьмем пока-что тридцать пиастров, а потом посмотрим.

Кандид продал два маленьких алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Два барана были переправлены на судно. Кандид следовал за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец, немедленно, поднимает паруса, и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.

— Увы! — воскликнул он, — вот поступок, достойный Старого Света.

Печально вернулся он на злополучный берег, — он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.

Он отправляется к голландскому судье. Так как он немного взволнован, то сильно стучит в дверь; он излагает свой казус и кричит немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный им шум; потом он терпеливо выслушал Кандида; обещал ему заняться его делом тотчас же, как только купец возвратится, и заставил его заплатить другие десять тысяч пиастров в виде судебных пошлин.

Этот способ действий окончательно привел в отчаяние Кандида; он испытывал, правда, несчастья в тысячу раз более горестные, но хладнокровие судьи и наглое воровство корабельщика воспалили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба представи-



лась его уму во всем своем безобразии; исключительно мрачные мысли приходили ему в голову. Наконец, когда французский корабль собрался отплыть в Бордо, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что он заплатит за проезд и пропитание и даст две тысячи пиастров честному человеку, который согласится совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.

Перед ним предстала толпа соискателей, которых не смог бы вместить целый флот. Кандид, по внешнему виду отобрал человек двадцать, которые ему показались довольно обходительными и наиболее подходящими к его требованиям. Он собрал их в своем кабачке и накормил ужином, с условием, чтобы каждый дал клятву рассказать правдиво свою историю; он обещал выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; другим же он посулил кое-какое награждение.

Заседание продолжалось до четырех часов утра. Кандид, слушая всех их рассказы, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, о том, что нет человека на корабле, который не пережил бы величайших несчастий. Он вспоминал о Панглосе при каждом приключении, которое ему рассказывали.

«Панглосу, — думал он, — трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтоб он был здесь. Правда, что все идет хо-

рошо, но лишь в стране Эльдорадо, а не на остальной земле».

Наконец, он остановил свой выбор на одном бедном ученом, который десять лет работал для книгопродавцев в Амстердаме. \* Он решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.

Этого ученого и, сверх того, доброго человека обокрала жена, избил сын и покинула дочь, увезенная каким-то португальцем. Он лишился маленькой должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социннианство. \* Говоря по правде, другие были по малой мере столь же несчастны, как он; но Кандид надеялся, что ученый разгонит скуку в его путешествии. Все другие соискатели нашли, что Кандид проявил великую несправедливость, но он утешил их, подсунув каждому по сто пиастров.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

##### *Что было с Кандидом и Мартэном на море.*

Старый ученый, которого звали Мартэном, отправился с Кандидом в Бордо. Оба они много видели и много испытали, и пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, они успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.

Кандид имел большое преимущество пред Мартэном, — он надеялся увидеть снова мадуазель Кунигунду, а Мартэну надеяться было

не на что. Кроме того, у Кандида имелось золото и брильянты, и хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя он не мог забыть мошеннической проделки голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и думая о мадмуазель Кунигунде, особенно в конце обеда, он вновь склонился к системе Панглоса.

— А вы, г. Мартэн,—говорил он ученому,— что вы думаете обо всем этом? Изложите ваше мнение о зле нравственном и зле физическом.

— Меня обвиняли в том,—отвечал Мартэн,— будто я социнианин, но, сказать по правде,— я манихей.

— Вы смеетесь надо мной,—сказал Кандид,— манихеев \* не осталось больше на свете.

— Остался я,—сказал Мартэн,— не знаю, что тут делать, но не могу думать по иному.

— Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид.

— Дьявол вступается во все дела этого мира,—сказал Мартэн,— так что он может пребывать в моем сердце, как и во всем остальном; но я вам признаюсь, что, бросив взгляд на земной шар или, вернее, шарик, я полагаю, что господь отдал его во владение какому-то зловредному существу; я исключаю, впрочем, Эльдorado. Но лично мне не случилось видеть города, который не желал бы погибели соседнего города, ни семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, и сильные обходятся с ними, как со

стадами, от которых продают шерсть и мясо. Миллион организованных убийц, пробегая с одного конца Европы до другого, вносит всюду кровопролитие и разбой, с целью заработать свой хлеб, ибо эти люди не знают другого более честного ремесла. В городах, которые, повидимому, наслаждаются всеми благами мира, расцветом искусств, столько людей гибнет от зависти, забот, беспокойств, что, пожалуй, и в осажденном городе не бывает хуже. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные несчастья. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что стал манихеем.

— Существует, однако, добро, — возразил Кандид.

— Может быть, — сказал Мартэн, — но я его не знаю.

Во время этого разговора они услышали пушечные выстрелы. Грохот разрастался с минуты на минуту. Каждый берет свою зрительную трубку. На расстоянии около трех миль видны два корабля, вступившие в битву. Ветер подвинул их так близко к французскому кораблю, что можно было очень удобно наблюдать за боем. Наконец, один из кораблей дал по другому такой удачный залп, что потопил его.

Кандид и Мартэн видели сотню человек на палубе, которая погружалась в воду; все они поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; в одну минуту все исчезло в волнах.

— Ну, что? — сказал Мартэн, — вот видите, как люди обращаются друг с другом.

— Правда, — сказал Кандид: — есть нечто дьявольское во всех этих делах.

Говоря так, он заметил какой-то красный и блестящий предмет, плававший подле корабля. Отвязали шлюпку с целью рассмотреть, что бы это могло быть. Оказалось, что это один из пропавших баранов. Радость, испытанная Кандидом при возвращении того единственного барана, во много раз превзошла те огорчения, которые он пережил, теряя сто баранов, нагруженных эльдорадскими брильянтами.

Французский капитан вскоре различил, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля — голландский пират; это был тот самый, который обокрал Кандида.

Неисчислимые богатства, которыми тот негодяй завладел, потонули вместе с ним в море; и спасся только один баран.

— Вы видите, — сказал Кандид Мартэну, — что преступление иногда бывает наказано; этот негодяй, голландский купец, получил воздаяние по заслугам.

— Да, сказал Мартэн, — но разве надо было, чтобы и пассажиры на его корабле также погибли? Бог наказал этого плута, дьявол утопил остальных.

Между тем корабли французский и испанский пустились в дальнейший путь, а Кандид продолжал беседы с Мартэном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый ушли не дальше, нежели в первый. Но что ж из того! Они менялись мыслями и утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.

— Подобно тому, как я снова нашел тебя, — говорил он, — так я смогу, конечно, вновь найти Кунигунду.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

*Кандид и Мартэн приближаются к берегам Франции и продолжают спорить*

Наконец, они увидели берега Франции.

— Бывали ли вы когда-нибудь во Франции, господин Мартэн? — спросил Кандид.

— Да, сказал Мартэн, — я объехал несколько провинций. Есть такие, где половина жителей безумны; в иных слишком много хитрецов; в третьих жители добродушны, но тупы. Кое-где любят прикинуться умниками. Но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие, и третье — болтовня.

— Но, господин Мартэн, знаком ли вам Париж?

— Да, я был в Париже, он соединяет все эти свойства; это хаос, это давка, в которой каждый ищет удовольствий, и почти никто не находит, — так, по крайней мере, мне показалось. Я там прожил недолго; едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. При этом меня самого сочли за вора, и я восемь дней отсидел в тюрьме; потом я поступил корректором в типографию, чтобы было с чем вернуться хоть пешком в Голландию. Навидался я всякой сволочи, — писак, проныр и конвульсионеров. \* Говорят, что есть очень вежливые и образованные люди в этом городе; я хочу этому верить.

— Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию, — сказал Кандид. — Вы легко поймете, что прожив целый месяц в Эльдорадо, не захочешь ничего более видеть на земле, кроме мадмуазель Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции; мы поедем через Францию в Италию; не согласитесь ли вы меня сопровождать?

— Очень охотно, — сказал Мартэн, — говорят в Венеции хорошо живется только венецианским нобилем, \* но, однако, там принимают недурно и иностранцев, если у них довольно денег; у меня нет ни гроша, зато у вас много, я последую за вами повсюду.

— Кстати, — сказал Кандид, — думаете ли вы, что земля была первоначально морем, как это утверждают в большой книге, \* которая принадлежит капитану корабля.

— Я этому совсем не верю, — сказал Мартэн, — да не больше верю и всем фантазиям, которые нам рассказывают с некоторого времени.

— А все же с какой целью создан этот мир? — спросил Кандид.

— С целью постоянно бесить нас, — отвечал Мартэн.

— Разве не удивила вас, — продолжал Кандид, — любовь девушек орельонской земли к обезьянам, о чем я вам рассказывал.

— Нисколько, — сказал Мартэн, — я не вижу в этой склонности ничего странного; я столько видел удивительного на своем веку, что меня ничто более не удивляет.

— Как вы полагаете, — спросил Кандид, — люди всегда избивали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, лукавыми, вероломными, неблагодарными, разбойниками, слабыми, непостоянными, робкими, завистливыми, обжорами, пьяницами, скупыми, честолюбцами, кровопийцами, клеветниками, развратниками, фанатиками, лицемерными и дураками?

— А вы как думаете, — спросил Мартэн: — ястреба всегда съедали голубей, когда успевали поймать их?

— Да, без сомнения, — сказал Кандид.

— Хорошо, — сказал Мартэн, — если ястреба всегда имели точно такой же характер, почему вы хотите, чтобы люди изменились.

— О, — сказал Кандид, — есть большое различие, ибо свободная воля...

Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

##### *Что случилось с Кандидом и Мартэном во Франции*

Кандид остановился в Бордо лишь на столько времени, сколько нужно было, чтобы продать несколько эльдорадских брильянтов и приготовить хорошую двухместную колыску; ибо он уже не мог обходиться без своего философа Мартэна и его огорчила только разлука с бараном, которого он подарил Бордосской академии наук.

Академия наук объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть



у того барана красная. Премия была присуждена одному северному ученому, который доказал, посредством формулы  $A$  плюс  $B$  минус  $C$ , деленное на  $X$ , что баран должен быть красным и умереть от овечьей оспы.

Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных трактирах, говорили ему:

— Мы едем в Париж.

Всеобщее стремление возбудило в нем наконец охоту увидеть эту столицу. для этого пришлось сделать очень небольшой крюк в сторону от прямой дороги в Венецию.

Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в самую жалкую деревню в Вестфалии.

Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как у него на пальце красовался огромный брильянт, а у него в его экипаже заметили чрезвычайно тяжелую шкатулку, то к нему тотчас же явились два врача, которых он не приглашал, несколько близких друзей, которые его не покидали, и две девочки, которые разогревали ему бульон. Мартэн сказал:

— Вспоминаю, как я захворал в Париже во время моего первого путешествия; но я был очень беден, и потому у меня не было друзей, ни сиделок, ни докторов, а я все-таки вылез.

Между тем усилия врачей и кровопускания сделали болезнь Кандида более серьезной. Один из завсегдаев гостиницы очень любезно попросил у него в долг под вексель с уплатой

в будущей жизни. Кандид отказал; девочки уверяли его, что такова новая мода. Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартэн хотел выбросить завсегда в окно. Клирик поклялся, что праху Кандида откажут в разрешении на похороны — Мартэн поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Спор разгорался, Мартэн взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал и был составлен протокол.

Кандид поправился; пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандида удивляло, что тузы никогда не шли к нему, а Мартэн не удивлялся этому нисколько.

Среди гостей был аббатик из Перигора, из того сорта хлопотливых личностей, всегда веселых, всегда услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые накидываются на проезжих иностранцев, рассказывают им скандальные городские истории и предлагают развлечения на все цены. Аббатик, прежде всего, повел Кандида с Мартэном в театр. Там исполняли новую трагедию. Кандид сидел возле нескольких остроумцев. Это не помешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:

— Вы напрасно плачете: эта актриса весьма плоха, актер, который играет с нею, еще хуже; автор не знает ни слова по-арабски, а между тем действие происходит в Аравии; \* и кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи; \* я принесу вам завтра несколько брошюр против него.

— Сколько всего пьес во французском театре? — спросил Кандид аббата, и тот ответил:

— Пять или шесть тысяч.

— Это много, — сказал Кандид, — а сколько из них хороших?

— Пятнадцать или шестнадцать, — был ответ.

— Это много, — сказал Мартэн.

Кандид остался очень доволен актрисой, которая исполняла роль королевы Елизаветы в одной довольно плоской трагедии, еще удержавшейся в репертуаре. \*

— Эта актриса, — сказал он Мартэну, — мне очень нравится, я был бы рад познакомиться с нею.

Аббат из Перигора предложил проводить его к ней. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обращаются во Франции с этими английскими королевами.

— Это зависит от обстоятельств, — сказал аббат, — в провинции их водят в кабачок, в Париже боготворят их, пока они прекрасны, а когда они умирают, их отвозят на свалку.

— Королев на свалку? — сказал Кандид.

— Да, совершенно справедливо, — сказал Мартэн, — господин аббат прав; я был в Париже, когда госпожа Монима \* ушла, как это говорится, из этой жизни в другую; ей отказали в том, что люди называют посмертными почестями, и в праве тлеть со всеми плутами квартала на скверном кладбище; товарищи по сцене погребали ее отдельно на углу Бургонской улицы. Это должно было причинить ей

чрезвычайное огорчение, — у нее были такие возвышенные чувства.

— Это очень нелюбезно, — сказал Кандид.

— Чего вы хотите? — сказал Мартэн, — эти люди так созданы. Представьте себе возможные противоречия и нелогичности, — и вы их найдете в управлении, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.

— Правда ли, что в Париже всегда смеются? — спросил Кандид.

— Да, — сказал аббат, — но это зависит от ярости; здесь на все жалуются с хохотом и смеясь совершают гнусные поступки.

— Кто, — спросил Кандид, — эта жирная свинья, которая наговорила мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?

— Это дурной человек, — отвечал аббат, — который зарабатывает себе хлеб тем, что бранит все новые пьесы и книги; он ненавидит чужой успех, как евнухи, ненавидят наслаждения; это один из тех писак, которые питаются ядом и грязью; это газетный пасквилянт.

— Что это такое — газетный пасквилянт? — спросил Кандид.

— Это, — сказал аббат, — бумагомарака, одним словом — Фрерон. \*

Так рассуждали Кандид, Мартэн и перигорец, стоя на лестнице во время театрального разъезда.

— Хотя мне страшно нетерпится вновь увидеть мадмуазель Кунигунду, — сказал Кандид, — я все-таки поужинал бы с мадмуазель Клерон: \* она показалась мне обворожительной.

Аббат не был вхож к мадмуазель Клерон, которая принимала только избранное общество.

— Она уже приглашена на сегодняшний вечер, — сказал он, — но я буду иметь счастье свести вас к одной знатной даме, и там вы узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.

Кандид, который был от природы любопытен, согласился идти к даме в предместье св. Гонория. Там играли в фараон: двенадцать печальных понтеров держали каждый в руке по колоде карт, — суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, и озабоченно казалось лицо банкмета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкмета, замечала рысьими глазами все ставки, все ходы. Попытки сфальшивить она останавливала сурово, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама выдавала себя за маркизу де Паролиньяк. Ее пятнадцатилетняя дочь была в числе понтеров, и в одно мгновение ока расстраивала хитрости этих бедных людей, старавшихся исправить жестокость судьбы.

Аббат-перигориец, Кандид и Мартэн вошли; никто не поднялся, не поздоровался с ними и никто не взглянул на них; все были поглощены картами.

— Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была вежливее, — сказал Кандид.

Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, которая приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкою, а Мартэна надменным кивком. Она указала место и дала

колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом весело поужинали и все были удивлены, что Кандид несколько не огорчен проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском жаргоне:

— Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.

Ужин был похож на всякий ужин в Париже; сначала молчание, потом словесный шум, в котором невозможно разобраться, потом шутки, большая часть которых несносны, лживые новости, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.

— Вы читали,—спросил аббат-перигориец,—роман господина Гоша, \* доктора теологии?

— Да, — отвечал один из гостей, — но я не мог дочитать до конца. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе взятые они не приближаются к нелепости Гоша, доктора теологии! Я так пресыщен этим бесконечным множеством нелепых книг, которыми нас забрасывают, что пустился понтировать в фараон.

— А заметки архидиакона Трюбле, что вы о них скажете? — спросил аббат.

— Ах, — сказала госпожа Паролиньяк, — скучнейший смертный. С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно; как тяжело он спорит о том, на что не стоит тратить слов! Как он портит все, что удастся украсть. Как он внушает мне отвращение! Но уж он не будет мне впредь надоедать; довольно прочесть несколько страниц этого архидиакона.

За столом оказался один человек — учёный; с большим вкусом он поддерживал мнение маркизы.

Заговорили потом о трагедии. Хозяйка спросила:

— Почему есть такие трагедии, которые можно смотреть, но которых нельзя читать?

Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть для сцены достаточно интересна, не имея при том почти никаких литературных достоинств; он доказал в немногих словах, что недостаточно выставить одно или два положения, которые находятся во всех романах и всегда подкупают зрителей, — но надо быть новым, не будучи странным, быть подчас высоким, но всегда естественным, знать человеческое сердце и заставлять говорить его, быть большим поэтом и никогда ни одно из действующих лиц пьесы не превращать в поэта; в совершенстве владеть языком, изъясняться на нем с чистотою и с непрерывной гармонией, так чтобы рифма ничего не стоила рассудку.

— Тот, — прибавил он, — кто не соблюдает всех этих правил, может сочинить одну или две трагедии, пригодных для сцены, но он никогда не вступит в ряды хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы — идиллии в диалогах, хорошо написанные и хорошо срифмованные; другие — снотворные политические диссертации или отвратительное многословие. Некоторые представляют собою грезы сумасшедшего, написанные варварским слогом, с бессвязной речью, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет

говорить с людьми, со лживыми положениями, с напыщенными общими местами.

Кандид слушал эту речь с вниманием и составил себе высокое понятие о говоруне; так как маркиза позаботилась посадить его подле себя, то он наклонился к ее уху и спросил, кто этот человек, который так хорошо говорит?

— Это ученый, — сказала дама, — который не играет. Аббат \* иногда приводит его ко мне на ужин; он знает толк в трагедиях и в книгах, и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которой никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, который он подарил мне.

— Великий человек, — сказал Кандид, — это второй Панглос.

Затем, обернувшись к нему, он сказал:

— Вы, без сомнения, полагаете, что все идет к лучшему в физическом мире и в нравственном, и что ничто не может быть иначе?

— Совсем напротив, — ответил ученый, — я нахожу, что все идет у нас навыворот, никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает, чего он не должен делать. Кроме сегодняшнего ужина, который был довольно весел, и где проявилось достаточно единения умов, все остальное время проходит в нелепых ссорах: янсенисты против молинистов, \* люди парламентов против людей церкви, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников; это вечная война.

Кандид возразил ему:



— Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье быть повешенным, учил меня, что все чудесно, а зло только тень на прекрасной картине.

— Ваш повешенный издевался над людьми, — сказал Мартэн, — и ваши тени — ужасные пятна.

— Это люди делают пятна, — сказал Кандид, — и они не могут без этого обойтись.

— Это, однако, не их вина, — сказал Мартэн.

Понтеры, в большинстве своем не понимавшие в этой беседе, продолжали пить; Мартэн рассуждал с ученым, а Кандид рассказал часть своих приключений хозяйке дома.

После ужина маркиза повела Кандида к себе в кабинет и посадила его на кушетку.

— Ну, что же, — спросила она его, — вы все еще влюблены без ума в мадмуазель Кунигунду Тундер-ген-Тронк?

— Да, сударыня, — отвечал Кандид.

Маркиза возразила ему с нежной улыбкой:

— Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии: француз сказал бы: да, я любил мадмуазель Кунигунду, но, увидя вас, сударыня, я боюсь, что не люблю ее более.

— О, сударыня, — сказал Кандид, — я отвечаю, как вам будет угодно.

— Ваша страсть к ней, — сказала маркиза, — загорелась, когда вы поднимали ее платок; я хочу, чтобы вы подняли мою подвязку.

— От всего сердца готов сделать это, — сказал Кандид и поднял подвязку.

— Но я хочу, чтобы вы надели мне ее, — сказала дама; и Кандид исполнил это.

— Видите ли, — сказала дама, — вы иностранец; я иногда заставляю томиться своих парижских любовников по пятнадцати дней, но вам отдаю с первой ночи, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.

Красавица, заметив два огромных брильянта на руках молодого иностранца, так расхвалила их, что с пальцев Кандида они перешли на пальцы маркизы.

Кандид, возвращаясь домой со своим аббатом-перигорийцем, почувствовал угрызение совести за неверность по отношению к мадмуазель Кунигунде. Аббат принял участие в его горе; он получил малую толику из пятидесяти тысяч ливров, проигранных Кандидом, и из стоимости двух брильянтов, наполовину подаренных, наполовину отнятых. Он был намерен воспользоваться всеми преимуществами, которые знакомство с Кандидом могло ему доставить. Он охотно говорил о Кунигунде; и Кандид сказал, что он выпросит прощение у этой красавицы, когда увидит ее в Венеции.

Перигориец удвоил любезности и внимание и высказывал нежнейшее сочувствие ко всему, что Кандид говорил, ко всему, что он делал и ко всему, что он намеревался делать.

— Значит, — спросил он, — у вас назначено свидание в Венеции?

— Да, господин аббат, — сказал Кандид, — я должен непременно отправиться туда для встречи с мадмуазель Кунигундой.

Потом, подстрекаемый удовольствием говорить о той, кого любил, он рассказал, по своему

обыкновению, часть своих походов с этою высокомерной вестфлянкою.

— Я полагаю, — сказал аббат, — что мадмуазель Кунигунда очень умна и что она пишет прелестные письма.

— Я никогда не получал от нее писем, — сказал Кандид, — ведь я был изгнан из замка за любовь к ней; я не мог ей писать, а вскоре услышал, будто она умерла; потом я ее нашел опять, и опять потерял; я отправил за нею корабль за две тысячи пятьсот миль отсюда, и теперь жду ответа.

Аббат выслушал внимательно все это и, казалось, призадумался. Вскоре он покинул обоих иностранцев, нежно обняв их. На следующий день, проснувшись по утру, Кандид получил письмо такого содержания:

«Дорогой мой возлюбленный, я здесь уже целую неделю и лежу больная; я узнала, что вы здесь. Я полетела бы обнять вас, но не могу двинуться. В Бордо я узнала о вашем проезде; я оставила там верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса отнял у нас все, но у меня осталось ваше сердце. Придите, ваше присутствие возвратит мне жизнь или заставит умереть меня от радости».

Это прелестное, неожиданное письмо повергло Кандида в неизъяснимую радость; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Колеблясь между этими двумя чувствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартэном в гостиницу, где остановилась мадмуазель Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения.

сердце его бьется, его голос дрожит; он хочет открыть занавеси постели и приказывает принести свечи.

— Осторожнее, — говорит ему служанка, — свет ее уььет.

И тотчас же задерживает полог.

— Милая Кунигунда, — сказал Кандид, плача, — как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, скажите мне что-нибудь.

— Она не в силах говорить, — сказала служанка.

Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид долгое время орошает своими слезами, и которую наполняет брильянтами, оставляя в кресле мешок, полный золота.

В это время входит полицейский пристав, сопровождаемый аббатом-перигорийцем и стражею.

— Вот, — говорит пристав, — эти два подозрительных иностранца.

Он приказывает своим молодцам немедленно схватить их и отвезти в тюрьму.

— Не так обращаются с путешественниками в Эльдорадо, — сказал Кандид.

— Я теперь более манихей, чем когда-либо, — сказал Мартэн.

— Куда же вы нас ведете? — спросил Кандид.

— В яму, — сказал полицейский.

Мартэн, к которому вернулось обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, просто мошенница; господин аббат-перигориец — мошенник, ловко злоупотребивший простотою Кандида, а полицейский

пристав такой же плут, от которого легко избавиться.

Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, просвещенный советом Мартэна и полный нетерпения увидеть снова настоящую Кунигунду, предлагает приставу три маленьких брильянта, стоимостью в три тысячи пистолей каждый.

— Ах, сударь, — сказал ему человек с жезлом из слоновой кости, — если бы вы совершили всевозможные преступления, вы все-таки были бы самым добропорядочным человеком на свете; три брильянта! Каждый в три тысячи пистолей! Сударь, я скорее позволю себя убить, чем отвезу вас в тюрьму. Арестовывают всех иностранцев, но разрешите мне действовать по моему, у меня есть брат в Диеппе в Нормандии, я вас провожу туда; и если у вас есть еще несколько брильянтов, чтобы подарить ему, он позаботится о вас не хуже, чем я.

— А почему арестовывают всех иностранцев? — спросил Кандид.

Тут аббат-перигориец взял слово:

— Это потому, что какой-то негодяй из Атребази, \* наслушавшись глупостей, покусился на убийство, — не такое, как в 1610 году в мае, а такое, как в 1594 году, в декабре, да и в другие годы делали то же самое разные негодяи, тоже наслушавшиеся глупостей.

Полицейский объяснил, в чем дело.

— О, чудовища! — воскликнул Кандид, — такие ужасы среди народа, который все время ганцует и поет. Выбраться бы мне как можно скорее из страны, где обезьяны ведут себя,

словно тигры. Я видел медведей у себя на родине, — людей я встретил только в Эльдorado. Ради бога, господин пристав, отправьте меня в Венецию, где я должен найти мадмуазель Кунигунду.

— Я могу отправить вас только в Нормандию, — сказал полицейский пристав.

Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, отправляет Кандида и Мартэна в Диепп, и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Три другие брильянта сделали нормандца услужливейшим из людей; он сажает Кандида и его слуг на корабль, который поднимает паруса, чтобы отплыть в Портсмут, к берегам Англии. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду кажется, что он вырвался из ада, а поездку в Венецию он рассчитывает предпринять при первом же удобном случае.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

*Кандид и Мартэн на английском берегу и что они там увидели*

Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартэн, Мартэн! Ах, милая моя Кунигунда! Что такое здешний мир? — говорил Кандид на палубе голландского корабля.

— Нечто очень глупое и очень скверное, — ответил Мартэн.

— Вы знаете Англию? Там обитают такие же безумцы, как и во Франции?

— Это другой род безумия, — сказал Мартэн, — вам известно, что эти две нации ведут войну из-за клочка земли, скрытого под снегом в Канаде, и уже израсходовали на эту прекрасную войну гораздо больше денег, чем стоит вся Канада целиком. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам с полной точностью, в какой из этих двух стран больше людей, которых следовало бы связать. Я знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, меланхолики.

Беседуя таким образом, они приблизились к Портсмуту. Множество народа виднелось на берегу; все внимательно глядели на довольно дородного человека, который стоял на коленях с завязанными глазами на мостике военного корабля; четыре солдата, стоявшие против этого человека, преспокойно выпустили каждый по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная.

— Что же это такое, однако? — спросил Кандид, — какой демон простирает повсюду свою власть?

Он спросил, кто этот толстяк, которого убили с такой церемонией?

— Адмирал, \* — отвечали ему.

— И зачем убивать адмирала?

— Затем, — сказали ему, — что он не подвел достаточно людей под убой. Он вступил в битву с французским адмиралом, и у нас рассудили, что он подошел к врагу недостаточно близко.

— Но, — сказал Кандид, — ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского?

— Несомненно, — отвечали ему, — но в этой стране не мешает убивать время от времени одного адмирала, чтобы поощрить других.

Кандид был так ошеломлен и так возмущен всем виденным и слышанным, что не захотел даже сойти на берег, и договорился с голландским судовладельцем (хотя бы его обворовали, как в Суринаме), чтобы тот доставил его без промедления в Венецию.

Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, прошли в виду Лиссабона, — и Кандид задрожал. Вошли в пролив и в Средиземное море; наконец, пристали в Венеции.

— Слава богу! — сказал Кандид, обнимая Мартэна, — здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все к лучшему, все идет так прекрасно, как это только возможно.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

#### *О Пакете и о брате Жирофле.*

Лишь только Кандид прибыл в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабаках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц и нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху, ни духу о Какамбо.

— Как! — говорил он Мартэну, — я имел время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Диепп, из Диеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и



Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасная Кунигунда не приехала. Я встретил вместо нее лишь непотребную женщину и аббата-перигорийца. Кунигунда без сомнения умерла, и мне тоже остается только умереть. Ах, лучше бы поселиться навсегда в раю Эльдорадо, чем возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартэн. Все только обман и несчастье.

Он впал в черную меланхолию и не выказал никакого интереса ни к опере *all: moda*, ни к другим увеселениям карнавала; ни одна дама не могла ввести его в соблазн. Мартэн сказал ему:

— Сказать по правде, вы очень просты, если вообразили, будто слуга-метис, имея пять или шесть миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее к вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; если же не найдет, то возьмет другую; я советую вам забыть вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.

Но эти слова не утешили Кандида. Его меланхолия усиливалась, и Мартэн не переставал доказывать ему, что на земле мало добродетели и мало счастья за исключением, пожалуй, Эльдорадо, куда, никто не может поехать.

Рассуждая об этих важных предметах и поджидая Кунигунду, Кандид заметил на площади святого Марка молодого театинца, \* который держал под руку какую-то девушку. Театинец казался свежим, полным, сильным; у него были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный

вид, гордая походка. Девушка, очень хорошенькая, напевала; она смотрела влюбленными глазами на своего театинца и время от времени щипала его за толстые щеки.

— Вы согласитесь со мною, — сказал Кандид Мартэну, — что хоть эти люди счастливы. Я встречал до сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, только несчастливцев, но относительно этой девушки и ее театинца я готов биться об заклад, что это очень счастливые создания.

— А я бьюсь об заклад, что нет.

— Стоит только пригласить их отобедать с нами, — сказал Кандид, — и вы увидите, ошибаюсь ли я.

— Тотчас же он заговаривает с ними, любезно приветствует и приглашает зайти в гостиницу откусать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина Монтепульччани, Лакрима-Кристи, кипрского и самоского. Барышня покраснела, театинец принял криглашение, и девушка последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которых дрожали слезинки.

Едва успела она войти в комнату Кандида, как сказала ему:

— Что, господин Кандид, вы уже не узнаете Пакеты?

При этих словах Кандид, который дотоле не смотрел на нее с особым вниманием, занятый исключительно Кунигундой, промолвил:

— О, мое бедное дитя, значит это вы довели доктора Панглоса до того славного состояния, в котором я его видел?

— Увы! Это я, — сказала Пакета, — я вижу, что вы знаете все. Я слышала о страшных бедствиях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь была не менее печальна. Я была еще очень невинна, когда вы меня знали. Один кордельер, бывший моим духовником, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны, пришлось уйти из замка вскоре после того, как господин барон выставил вас из дому здоровыми пинками взад. Я бы умерла, если бы один искусный врач не сжалился надо мной. Из признательности я была некоторое время любовницей этого медика. Его жена, ревнивая до бешенства, каждый день била меня немилосердно; это была настоящая фурия. Мой медик был безобразнейшим из всех мужчин, а я несчастнейшей из всех созданий: каково быть постоянно битой ради человека, которого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опасно, для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, измученный образом действий своей жены, поднес ей однажды, чтобы вылечить маленькую простуду, лекарство столь действительное, что она через два часа умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он убежал, а меня посадили в тюрьму. Моя невинность не спасла бы, меня, еслиб я не была недурна собой. Судья освободил меня, с условием, что он наследует медику. Вскоре мое место было занято соперницею, меня же выгнали без всякого вознаграждения и я принуждена была продолжать это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется столь

приятным, и которое для нас — пучина бедствий. Я уехала заниматься своей профессией в Венецию. Ах, господин Кандид, если бы вы могли себе представить, что это значит быть обязанной ласкать без разбора старого купца, адвоката, монаха, гондольера, аббата! То и дело подвергаешься всевозможным обидам и притеснениям; нередко быть вынужденной брать на прокат юбку, которую тебе задерет омерзительнейший мужчина! Иной раз все, что выманишь у одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а в будущем видишь только одну ужасную старость, больницу, могилу в навозной куче. Вы понимаете, что я одно из самых несчастных созданий в мире.

В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду, в присутствии Мартэна, который сказал:

— Вы видите, что я уже выиграл половину заклада.

Брат Жирофле остался в столовой, с целью выпить стаканчик, в ожидании обеда.

— Но позвольте, — сказал Кандид Пакете, у вас был, такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пели, вы ласкали театинца непринужденною готовностью; право, вы показались мне чрезвычайно счастливою.

— Ах, господин Кандид, — отвечала Пакета, — это еще одна из тяжелых сторон моего ремесла. Вчера меня обокрали и избил какой-то офицер, а сегодня я должна притворяться веселою, чтобы угодить монаху.

Кандид не хотел продолжать свои вопросы; — он признался, что Мартэн прав. Сели за стол

с Пакетою и театинцем; обед был довольно веселый, и под конец его все заговорили с некоторой откровенностью.

— Отец мой, — сказал Кандид монаху, — вы, мне кажется, наслаждаетесь терпением, которому всякий может позавидовать: вы обладаете цветущим здоровьем, ваша физиономия выражает счастье; у вас хорошенькая девушка для развлечения, и вы, повидимому, очень довольны вашим званием театинца.

— Ей богу, — сказал брат Жирофле, я хотел бы, чтоб все театинцы очутились на дне морском. Сотню раз брало меня искушение поджечь монастырь и затем, удрать в Турцию. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство, назначенное проклятому старшему брату, да разразит его господь бог! Зависть, несогласие, злоба живут в монастыре. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, которые принесли мне немного денег; из них настоятель украл половину; остальное я трачу на девок; но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, то бываю готов разбить себе голову о стены дортуара; и все мои собратья чувствуют себя точно так же.

Мартэн, обращаясь к Кандиду, произнес со своим обычным хладнокровием:

— Ну, что, — не выиграл ли я весь заклад целиком?

Кандид подарил две тысячи пиастров Пакете и тысячу пиастров брату Жирофле.

— Ручаюсь вам, — сказал он, — что с этими деньгами они будут счастливы.

— Я совершенно не верю этому, — сказал Мартэн, — вы быть может сделали их этими пиастрами гораздо несчастнее.

— Ну, там будь, что будет, — сказал Кандид, — но кое-что меня утешает; я вижу, что часто встречаешь людей, которых никогда не думал снова увидеть; если я нашел своего красного барана и Пакету, то возможно, что найду и Кунигунду.

— Я желаю, — сказал Мартэн, — чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.

— Вы очень жестоки, — сказал Кандид.

— Говорю так, потому что много жил, — сказал Мартэн.

— Взгляните на этих гондольеров, — сказал Кандид, — они поют без устали.

— Вы не видите их дома, с женами и неугомными детишками, — сказал Мартэн. — У венецианского дома свои печали, у гондольеров свои. Правда, участь гондольера завиднее, нежели участь дожа, но я думаю, разница так невелика, что о ней не стоит и заботиться.

— Мне рассказывали, — сказал Кандид, — о сенаторе Пококуранте, \* который живет в своем прекрасном дворце на берегах Brentы и принимает довольно охотно иностранцев. Утверждают, что это человек, который никогда не изведал горя.

— Хотел бы я видеть эту редкость, — сказал Мартэн.

Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

*Визит к синьору Пококуранте, благородному венецианцу*

Кандид и Мартэн отправились в гондоле по Бренте, и приплыли к дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены прекрасными мраморными статуями; дворец был чудесной архитектуры. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, чрезвычайно богатый, принял двух любопытных вежливо, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и скорее понравилось Мартэну.

Сначала две девушки, хорошенькие и опрятно одетые, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.

— Это недурные создания, — сказал сенатор Пококуранте, — иногда я призываю их в мою постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти две девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галлерее, был удивлен красотой картин. Он спросил, каким художником написаны первые две?

— Они кисти Рафаэля, — сказал сенатор: — несколько лет тому назад я из тщеславия заплатил за них очень дорого; говорят что это из

лучшего, что есть в Италии, но они мне совершенно не нравятся; краски на них очень потемнели, лица недостаточно закруглены; драпировка нисколько не похожа на настоящую материю, одним словом, чтобы там ни толковали, я отнюдь не вижу здесь верного подражания природе. Чтобы картина мне понравилась, необходимо, чтобы при взгляде на нее мне казалось, будто я вижу самую природу, но таких не бывает. У меня много картин, но я уже не смотрю на них более.

Пококуранте, в ожидании обеда, позвал музыкантов. Кандид нашел музыку восхитительной.

— Этот шум, — сказал Пококуранте, — может забавлять на полчаса, а потом утомит всех, хотя никто не осмелится в этом признаться. Музыка наших дней не более, как искусство преодолевать трудности, а то, что трудно, не может нравиться в течение долгого времени. Я предпочел бы, быть может, оперу, если бы не открыли секрета превратить ее в чудовище, которое меня возмущает. Пусть кто хочет идет смотреть плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы ввести совсем не к стати две или три нелепые песни, в которых актриса щегольнет своим высоким голосом; пусть замирает от восторга, кто хочет и может, видя кастрата, мурлыкающего в роли Цезаря или Катона, и кичливо расхаживающего на подмостках; что касается меня, я давно отказался от этих пустяков, которые нынче прославили Италию и за которые государи платят так дорого.



Кандид немного поспорил, но скромно. Мартэн вполне разделил мнение сенатора.

Сели за стол; после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидя Гомера в великолепном переплете, восхвалил вельможу за его хороший вкус.

— Вот, — сказал он, — книга, которой наслаждался великий Пангрос, лучший философ Германии.

— Мне она не доставляет ни малейшего наслаждения, — холодно возразил Пококуранте, — когда-то меня уверяли, что я должен испытывать удовольствие, читая ее; но это постоянное повторение битв, которые все похожи одна на другую, эти боги, которые все время суетятся и не делают ничего решительного; эта Елена, которая служит предлогом войны, но почти не участвует в действии; эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять; — все это вызывало во мне смертельную скуку. Я иногда спрашивал ученых, не скучают ли они так же, как и я, при этом чтении; все искренние люди мне признались, что книга валится у них из рук, но что ее все таки надо иметь в своей библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся для торговли.

— Ваше превосходительство, без сомнения иначе судите о Вергилии? — спросил Кандид.

— Признаюсь, — ответил Пококуранте, — что вторая, четвертая и шестая книга «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и богатыря Клеанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и мещанки Аматы, и несносной Лавинии,

то я не думаю, чтобы еще что-нибудь могло быть так холодно и так неприятно. Я предпочитаю Тассо и волшебные сказки Ариосто.

— Осмелюсь спросить, — сказал Кандид, — не испытываете ли вы большого удовольствия, читая Горация?

— У него есть мысли, — сказал Пококуранте, — из которых просвященный человек может извлечь пользу и которые, будучи крепко связаны в сильные стихи, легко, удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, мужицкая ссора какого-то Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, были полны гноя, с кем то, чьи слова были исполнены укуса. Я читал с чрезвычайным отвращением грубые стихи, направленные против старух и колдуний; и я не вижу ничего достойного похвал, когда Гораций говорит другу своему Меценату, что, признанный им в ряду лирических поэтов, он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы удивляются всему в почитаемом писателе. Я читаю только для себя, я люблю только то, что мне нравится.

Кандид, которого с детства приучили не иметь ни о чем собственного мнения, был сильно удивлен всем слышанным; а Мартэн нашёл образ мыслей Пококуранте довольно разумным.

— О, вот Цицерон, — сказал Кандид, — что касается этого великого человека, то я думаю, вы его постоянно перечитываете?

— Я никогда его не читаю, — отвечал венецианец, — какое мне дело до того, что он защищал в суде Рабирия или Клуенция? У меня

довольно тяжёбных дел, которые я сам вынужден разбирать; я скорее помирился бы с его философскими произведениями; но увидев, что он сомневался во всем, я заключил, что знаю не менее, чем он; а мне не надо чужой помощи, чтобы оставаться невеждою.

— А вот, восемьдесят томов, — сборники Академии Наук! — воскликнул Мартэн, — возможно, что тут найдется кое-что хорошее.

— Нашлось бы, — сказал Пококуранте, — если бы хоть один из авторов этой дряни избрал, например, способ фабриковать булавки; но во всех этих книгах только бесполезные отвлеченности, и ни одной полезной статьи.

— Сколько театральных пьес я вижу здесь, — сказал Кандид, — итальянских, испанских, французских.

— Да, — сказал сенатор, — их три лысячи, но среди них только три дюжины хороших. Что касается этих собраний проповедей, которые все вместе не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих толстых томов по богословию, то вы, конечно, понимаете, что я никогда не раскрываю их, да и никто их не читает.

Мартэн заметил полки, заставленные английскими книгами.

— Я думаю, — сказал он, — что республиканцу должна нравиться большая часть этих грудов, написанных с такою свободой.

— Да, — отвечал Пококуранте, — хорошо, когда пишут то, что думают; это привилегия человека. Во всей нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие, в отечестве Цезаря и Антонинов не осмеливаются об-

народовать ни одной мысли без позволения якобинца. \* Я был бы доволен свободою, которую проповедают английские гении, еслиб страсти и дух партий не искажали всего, что эта драгоценная свобода имеет достойного уважения.

Кадид, заметив Мильтона, спросил хозяина не смотрит ли он на этого автора, как на великого человека.

— Мильтон! — воскликнул ПококурANTE, — этот варвар в десяти книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к первой главе книги Бытия; этот грубый подражатель грекам; искажает рассказ о сотворении мира: тогда как Моисей говорит о Предвечном Существове, создавшем мир одним словом, — он заставляет Мессию брать большой компас из небесного шкафа, чтобы начертить план своего творения. Я никогда не стану чтить, того, кто изуродовал ад и дьяволов Тасса, изобразил Люцифера в одних случаях жабою, в других — пигмеем! Кто заставил его повторять сто раз под ряд те же самые речи и спорить о богословии! Кто, всерьез подражая шуткам Ариосто, вынудил демонов стрелять из пушек в небо! Ни мне и никому в Италии не могут нравиться эти печальные глупости. Брак Греха со Смертью и ехидной, которых Грех рождает, вызовут тошноту у всякого человека с тонким вкусом; длинейшее описание госпиталя хорошо только для могильщика. Эта поэма, мрачная, странная и отвратительная, была встречена презрением при своем появлении в свет; я отношусь к ней так же, как отнеслись к ней в ее отечестве со-

временники. Впрочем, я говорю, что думаю, и слишком мало забочусь о том, чтобы другие думали так же, как я.

Кандид был опечален этими речами; он чтит Гомера, но немножко любил и Мильтона.

— Увы! — сказал он тихонько Мартэну, — я очень опасуюсь, что этот человек питает величайшее презрение к нашим немецким поэтам.

— В этом еще нет большой беды, — сказал Мартэн.

— О, какой необыкновенный человек, — бормотал про себя Кандид, — какой великий гений этот Пококуранте! Ничто не может ему понравиться.

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить все его красоты.

— Я не знаю ничего безвкуснее, — сказал хозяин, — здесь только безделки; но я хочу с завтрашнего дня разбить его по рисунку более благородному.

Когда оба любопытные посетители простились с его превосходительством, Кандид сказал Мартэну:

— Согласитесь, что это счастливейший из людей; он выше всего того, чем владеет.

— Вы разве не видите, — сказал Мартэн, — что у него нет вкуса ни к чему из того, что у него есть? Платон давно сказал, что лучший желудок не тот, который отказывается от всякой пищи.

Но разве не доставляет вам удовольствия, — сказал Кандид, — критиковать все под ряд

и видеть недостатки там, где другие видят только красоту?

— Иначе сказать,—возразил Мартэн,—есть ли удовольствие в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?

— Ну, ладно, — сказал Кандид, — я все-таки буду воистину счастлив, когда увижу опять мадмуазель Кунигунду.

— Всегда хорошо надеяться, — сказал Мартэн.

Между тем дни и недели бежали своим чередом; Какамбо не появлялся; и Кандид был так поглощен своею печалью, что даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не явились поблагодарить его.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

*О том, как Кандид и Мартэн ужинали с шестью иностранцами, и кто были эти иностранцы*

Однажды вечером, когда Кандид, сопровождаемый Мартэном, готовился сесть за стол вместе с несколькими иностранцами, остановившимися в той же самой гостинице, человек с лицом темнее сажи, подошел к нему сзади и, взяв его за руку, сказал:

— Будьте готовы отправиться с нами, не забудьте.

Он оборачивается и замечает Какамбо. Только вид Кунигунды мог бы удивить и обрадовать его в большей степени. От радости он чуть не сошел с ума. Он обнимает своего милого друга.

— Кунигунда здесь, без сомнения? Где она? веди меня к ней, чтобы я умер от радости с нею.

— Кунигунды здесь нет,—сказал Какамбо,—она в Константинополе.

— О, небо! В Константинополе! Но будь она в Китае, я лечу туда. Едем!

— Мы отправимся после ужина, — возразил Какамбо,—я не могу сказать вам ничего больше; я невольник, мой хозяин ждет меня; я должен прислуживать ему за столом: не говорите ни слова; ужинайте и будьте готовы.

Кандид, колеблясь между радостью и печалью, восхищенный тем, что снова увидел своего верного слугу, удивленный тем, что видит его невольником, полный мечтой снова найти свою возлюбленную, с трепетным сердцем, с потрясенным умом, сел за стол вместе с Мартэном, смотревшим на все столь хладнокровно, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.

Какамбо, в конце ужина наливая вина одному из этих иностранцев, наклонился к уху своего нового хозяина и сказал ему:

— Ваше величество можете отправиться, когда соблаговолите, — корабль готов.

Сказав эти слова, он вышел. Удивленные гости смотрели не говоря ни слова; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:

— Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, лодка готова.

Господин сделал знак и слуга вышел. Все гости переглянулись опять, и всеобщее удивле-

ние удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:

— Государь, поверьте мне, вашему величеству не придется оставаться здесь долго, я все приготовлю.

И тотчас же он исчез.

Кандид и Мартэн не сомневались более, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:

— Ваше величество, если угодно, вы можете ехать.

И вышел, как другие.

Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но шестой слуга иное сказал шестому господину, который сидел подле Кандида:

— Ей богу, государь, эти люди не хотят более оказывать кредита ни вашему величеству, ни мне; нас обоих могут посадить в тюрьму в эту же ночь. Я отправляюсь по моим собственным делам. Прощайте.

Когда слуги удалились, шесть иностранцев, Кандид и Мартэн продолжали сидеть в глубоком молчании, которое было, наконец, прервано Кандидом.

— Господа, — сказал он, — вот странная шутка. Почему это вы все короли? Что касается меня, признаюсь вам, что ни я, ни Мартэн не можем этим похвастаться.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно произнес по-итальянски:

— Я вовсе не шучу. Меня зовут Ахмет III. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник низложил меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю



свой век в старом серале; мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправления здоровья, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:

— Меня зовут Иван, я был императором в России, \* но еще в колыбели я лишился престола; мой отец и моя мать подверглись заточению; меня воспитали в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать в сопровождении моих стражей, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Третий сказал:

— Я — Карл-Эдуард, король Англии, \* мой отец уступил мне права на престол, я сражался, чтобы их поддержать; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и ими били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь я направляюсь в Рим, чтобы посетить короля моего отца, лишенного престола, подобно моему деду. И я заехал, чтобы провести карнавал в Венеции.

Четвертый сказал:

— Я король польский; \* жребий войны лишил меня наследственных владений; мой отец испытал те же превратности; я безропотно покорюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым бог да ниспошлет долгую жизнь. И я приехал провести карнавал в Венеции.

Пятый сказал:

— Я тоже польский король, \* я терял мое королевство два раза; но провидение даровало мне иную область, в которой я делаю более

добра, чем все короли сарматов могут сделать на берегах Вислы; я также покоряюсь воле провидения и приехал провести карнавал в Венеции.

Осталось говорить шестому монарху.

— Господа, — сказал он, — я не столь знатный вельможа, как вы: но я был королем совершенно также, как и другие. Я Теодор, \* меня избрали королем Корсики; называли меня ваше величество, а теперь едва называют милостивым государем. Я чеканил монету, а теперь у меня нет ни одного динария; у меня было два статс-секретаря, а теперь едва остался один лакей. Я восседал на троне, а в Лондоне долгое время томился в тюрьме на соломе. Я сильно боюсь, что то же самое случится со мною и здесь, хотя я приехал как и ваши величества, провести карнавал в Венеции.

Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид предложил ему алмаз ценою в две тысячи цехинов.

— Кто же это такой? — спросили пять королей, — этот простой человек в состоянии дать в сто раз больше, чем каждый из нас.

Когда они встали из-за стола, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои владения по причине превратностей войны, и приехали провести остаток карнавала в Венеции. Но Кандид уже не обращал внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как найти в Константинополе милую свою Кунигунду.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

*Путешествие Кандида в Константинополь*

Верный Какамбо уже выпросил у турка судо-хозяина, который взялся отвезти султана Ахмета в Константинополь, чтобы он взял на борт Кандида и Мартэна. За это тот и другой низко поклонились его злосчастному величеству.

Кандид, поспешая на корабль, говорил Мартэну:

— Вот мы ужинали с шестью свергнутыми с престола королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может на свете найдется много других государей, еще более несчастных? Что касается меня, то я потерял только сто баранов и я лечу в объятия Кунигунды. Мой милый Мартэн, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему.

— Желая, чтобы так оно и было, — сказал Мартэн.

— Но, — сказал Кандид, — очень мало правдоподобно то, что случилось с нами в Венеции. Не видано и не слыхано чтобы шесть королей свергнутых с престола, ужинали вместе в кабачке.

— Это ничуть не более странно, — сказал Мартэн, — чем большая часть того, что с нами случилось. Нет ничего необыкновенного в том, что короли лишаются престолов; что же касается чести, которую мы имели, ужиная с ними, это мелочь, не заслуживающая внимания. Ужинать можно с кем угодно, лишь бы кормили по-лучше.

Едва Кандид ступил на корабль, как бросился на шею к своему старому слуге, к своему другу Какамбо.

— Ну, что же? — спросил он его, — что поделывает Кунигунда? Все ли попрежнему она чудо красоты? Любит ли она меня до сих пор? Как ее здоровье? Ты, без сомнения, купил ей дворец в Константинополе?

— Мой дорогой господин, — сказал Какамбо, — Кунигунда моет чашки на берегу Пропонтиды для князя, у которого очень мало посуды; она невольница в доме одного бывшего монарха, по имени Рагоцци, \* которому султан дает по три экю в день пенсии. Очень печально то, что Кунигунда утратила свою красоту и сильно подурнела.

— Ах, хороша она собою или дурна, — сказал Кандид, — я честный человек, и долг повелевает мне любить ее вечно. Но каким образом могла она дойти до такого низкого положения с пятью или с шестью миллионами, которые ты увез?

— Ладно, — сказал Какамбо, — разве не надо было дать два миллиона сеньору дону Фернандо-д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос - и - Суса, губернатору Буэнос - Айреса, чтобы получить разрешение увести мадмуазель Кунигунду? А пират разве не отнял от нас очень отважно все остальное? Этот пират провез нас через Матапан, Милос, Никарию, Самос, Петру, Дарданеллы и Мраморное море в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, а я стал невольник султана, лишённого престола.

— Что за сцепление ужасных несчастий! — сказал Кандид. — Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов; я легко освобожу Кунигунду. Очень жаль, что она сделалась столь безобразной.

Потом, обратясь к Мартэну, он сказал:

— Как, по вашему мнению, кого более следует жалеть, императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда, или меня?

— Не знаю, — сказал Мартэн, — надо побывать в вашем сердце, чтобы узнать это.

— Ах, — сказал Кандид, — если б Панглос был здесь, он знал бы это и разъяснил нам.

— Я не понимаю, — сказал Мартэн, — на каких весах ваш Панглос взвешивал несчастья людей и оценивал их страдания. Но в чем я уверен, так это в том, что миллионы людей на земле во сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.

— Это очень возможно, — сказал Кандид.

Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что выкупил Какамбо за очень дорогую цену; затем, не теряя времени, он сел со своими товарищами на галеру, с целью плыть к берегам Пропонтиды, искать Кунигунду, как бы ни была она безобразна.

Среди галерных каторжников были двое, которые гребли очень плохо; левантинец шкипер время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, по вполне естественному побуждению, смотрел на них внимательнее, чем на других каторжников, и

с состраданием подошел к ним. Черты их искаженных лиц показались ему немного схожими с чертами Панглоса и несчастного барона-иезуита, брата Кунигунды. Эта мысль его грохнула и опечалила. Он посмотрел на них еще внимательнее.

— А право, — сказал он Какамбо, — если б я не видел магистра Панглоса повешенным, и если б не имел несчастья убить барона, то подумал бы, что это они гребут на галере.

При имени барона и Панглоса, оба каторжника испустили громкие крики, замерли на своих скамьях и уронили весла. Левантинец подбежал и еще сильнее принялся их стегать.

— Остановитесь! Остановитесь, господин! — воскликнул Кандид, — я дам вам столько денег, сколько вы захотите.

— Как, это Кандид! — говорил один из каторжников.

— Как, это Кандид! — вторил другой.

— Не сон ли это? — говорил Кандид, — или я наяву на этой галере? Неужели это господин барон, которого я убил? И магистр Панглос, которого я видел повешенным?

— Это мы, это мы, — отвечали они.

— Так, значит, это и есть тот великий философ? — спросил Мартэн.

— Ну, господин шкипер, — сказал Кандид, — сколько хотите вы получить в выкуп за господина Тундер-ген-Тронка, одного из первых баронов империи, и господина Панглоса, глубочайшего метафизика Германии?

— Христианская собака, — ответил левантинец, — так как эти две собаки христианские

каторжники — бароны и метафизики, и что, без сомнения, является очень высоким званием в их стране, то ты дашь мне за них пятьдесят тысяч цехинов.

— Вы получите их, господин шкипер; везите меня с быстротой молнии в Константинополь и вам будет уплачено все сполна. Но нет, везите меня к мадмуазель Кунигунде.

Левантинец по первому приказу Кандида взял направление к городу, и велел грести скорее, чем птица рассекает воздух.

Кандид сто раз обнимал барона и Панглоса.

— И как это я не убил вас, мой милый барон? А вы, мой дорогой Панглос, как вы остались в живых после того, как вас повесили? Почему вы оба очутились на турецких галерах?

— Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? — спросил барон.

— Да, — ответил Какамбо.

— Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! — воскликнул Панглос.

Кандид представил им Мартэна и Какамбо. Они обнимались и говорили все зараз. Галера летела, и вот они уже в гавани. Позвали еврея, которому Кандид продал за пятьдесят тысяч цехинов бриллиант, стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что не может дать больше. Кандид немедленно выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первой возможности.

— Но мыслимо ли, однако, чтобы моя сестра находилась в Турции? — спросил он.

— Ничего нет столь же мыслимого, — возразил Какамбо, — потому что она может посуду грансильванского князя.

Тотчас позвали двух евреев; Кандид продал еще бриллиантов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

*Что случилось с Кандидом, Кунигундою,  
Панглосом, Мартэном и другими*

— Еще раз прошу прощения, — говорил Кандид барону, — извините, преподобный отец, что я нанес вам удар шпагой.

— Не будем об этом говорить, — сказал барон, — признаюсь, я немножко погорячился; но если вам угодно знать, по какой случайности вы меня видите на галерах, то я вам скажу, что после того, как мою рану вылечил брат аптекарь, я был атакован и взят в плен испанским отрядом; меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе в то время, как моя сестра готовилась уехать оттуда. Я потребовал, чтобы меня отпустили в Рим к отцу-генералу. Я был назначен капелланом при французском посланике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как я встретил однажды вечером очень стройного ичоглана.\* Было очень жарко; молодой человек вздумал купаться; я также воспользовался случаем чтобы выкупаться. Я не знал, что для



христианина считается тяжким преступлением, если его найдут голым в обществе молодого мусульманина. Кади приказал дать мне сто ударов палками по пятам и сослал меня на галеры. Не думаю, чтобы можно было совершить более ужасную несправедливость. Но я хотел бы знать, почему моя сестра служит на кухне у владетеля Трансильвании, скрывшегося у турок?

— А вы, мой дорогой Пангос, — сказал Кандид, как это случилось, что я вас вижу снова?

— Правда, — сказал Пангос, — вы меня видели повешенным. Мне предстояло быть просто сожженным, но вы помните, что дождь полил ливнем, когда настало время сжечь меня; ливень был так силен, что нечего, казалось, и надеяться раздуть огонь; я был повешен, потому что не могли придумать ничего лучшего. Один тамошний хирург купил мое тело, принес к себе и стал вскрывать. Он сделал мне сначала крестообразный разрез от пупка до ключицы. Нельзя было повесить хуже, чем это было сделано со мной. Исполнитель высоких приговоров святой инквизиции в звании субдиакона, правда, умел сжигать людей чудесно, но он совсем не привык вешать; веревка была мокрая, плохо скользила, была связана узлами, и потому я еще дышал; крестообразный надрез заставил меня испустить такой громкий крик, что мой хирург упал навзничь, полагая, что он вскрыл дьявола, он бежал, изнемогая от страха, и свалился на лестнице. Его жена прибежала на шум из соседней комнаты. Она уви-

дела меня растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, убежала и грохнулась на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как докториха говорила доктору:

— Милый мой, как это вы дерзнули вскрывать еретика? Разве вы не знаете, что в теле этих людей всегда сидит дьявол? Я пойду скорее за священником, чтобы он изгнал беса.

— Я задрожал, слыша эти слова, собрал остаток сил и крикнул:

«Сжальтесь надо мною!»

— Наконец, португальский цырюльник расхрабрился. Он зашил мою рану, его жена сама заботилась обо мне; через две недели я встал на ноги. Цырюльник устроил меня на место лакея к одному мальтийскому рыцарю, который ехал в Венецию; но мой господин не имел чем платить мне. Я перешел на службу к венецианскому купцу и последовал за ним в Константинополь.

— Однажды мне пришла фантазия зайти в мечеть; там оказался только старый имам и молоденькая девочка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы; ее шея была совершенно открыта; на ее обнаженной груди красовался прекрасный букет из тюльпанов, роз, анемонов, лютиков и гиацинтов; она уронила свой букет; я его поднял и положил на прежнее место с почтительнейшим усердием. Но это действие потребовало так много времени, что имам рассердился и, признав во мне христианина, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов

тостью по пятам и отправил меня на галеры. Я попал именно на ту галеру, и на ту самую скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха-корфиота, которые рассказали нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, нежели со мной; я утверждал, что несравненно приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться совершенно голым в обществе ичоглана. Мы спорили непрерывно и получали ежедневно по двадцать ударов ремнем, пока сцепление мировых событий не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.

-- Ну, хорошо, мой милый Пангос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, вскрывали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?

— Я всегда оставался при моем прежнем убеждении, — ответил Пангос, — ибо я философ; мне не пристало отрекаться от моих мнений: Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония есть прекраснейшая вещь в мире, так же, как полнота вселенной и невесомая материя.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

##### *Как Кандид нашел Кунигунду и старуху*

Пока Кандид, барон, Пангос, Мартэн и Камбо рассказывали о своих приключениях.

обсуждали происшествия случайные и несчастные в этом мире, спорили о действиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе, необходимости и об утешениях, которые можно найти даже на турецких галерах, — они подплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первое, что они увидели, были Кунигунда и старуха, развешивавшие на веревках белье для сушки.

Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидя прекрасную Кунигунду загорелой, с натруженными глазами, с иссохшею шеею, с морщинистыми щеками, с красными потрескавшимися руками, отступил на три шага, охваченный ужасом, но потом бросился к ней с нежными приветствиями. Она обняла Кандида и своего брата; затем обняли старуху; Кандид выкупил их обоих.

По соседству находилась маленькая ферма; старуха предложила Кандиду поселиться там, пока все они не найдут чего-нибудь лучшего. Кунигунда не знала, что она подурнела, — никто ей об этом не сообщил. Она напомнила Кандиду о его обещании таким решительным тоном, что добрый Кандид не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.

— Я никогда не потерплю, — сказал барон, — такой низости с ее стороны, и такой наглости с вашей; меня никогда не упрекнут за этот позор; ведь дети моей сестры не могли бы быть записаны в родословные книги Германии. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж иначе, как только за барона империи.

Кунигунда бросилась к его ногам и омыла их слезами; но он был неумолим.

— Сумасшедший барон, — сказал ему Кандид, — я избавил тебя от галер, я заплатил за тебя выкуп, я выкупил твою сестру; она мыла здесь посуду, она стала безобразной, я по своей доброте, готов сделать ее своей женой, а ты хочешь сопротивляться. Я снова убил бы тебя, если бы поддался внушениям своего гнева.

— Ты можешь снова убить меня, — сказал барон, — но ты не женишься на моей сестре, покуда я жив.

#### ГЛАВА ТРИЦАТАЯ

##### *Заключение*

В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде; но необычайная наглость барона подстрекала его вступить в брак, а Кунигунда так сильно торопила его, что он не мог отказаться. Он посоветовался с Панглосом, Мартэном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасную докладную записку, в которой доказывал, что барон не имеет никакого права на свою сестру, и что она может, согласно всем законам империи, вступить в мorganaticкий брак с Кандидом. Мартэн предложил бросить барона в море; Какамбо решил, что нужно возвратить его левантскому шкиперу на галеры, а потом отослать его в Рим к отцу-генералу с первым же кораблем. Совет сочли подходящим; старуха его одобрила; его сестре ничего не сказали; за деньги все было исполнено.

Приятно было надуть иезуита и наказать спесь немецкого барона.

Вполне естественно было ожидать, что после стольких несчастий Кандид, женившись на своей возлюбленной и проживая с философом Панглосом, философом Мартэном, с благоразумным Какамбо и со старухой, имея, сверх того, так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он был столько раз обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, дурневшая с каждым днем, стала сварливой и несносной; старуха была немощна и имела еще более скверный характер, чем Кунигунда. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, терял терпение от работы и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь из германских университетов. Что касается Мартэна, то будучи твердо убежден, что везде одинаково плохо, он терпеливо переносил создавшееся положение. Кандид, Мартэн и Панглос иногда спорили о метафизике и морали. Часто они видели проплывавшие перед окнами корабли, наполненные эффенди, пашами, кадиями, которых отправляли в ссылку на Лемнос, на Митилену и в Эрзерум. Другие кади, другие паши, другие эффенди занимали места изгнанных и изгонялись затем в свою очередь. Видели они также человеческие головы, аккуратно набитые соломой и отсылавшиеся в подарок Высокой Порте. Эти зрелища разжигали новые споры; а когда не спорили, царствовала такая ужасная

скука; что старуха осмелилась однажды сказать:

— Я хотела бы знать, что хуже — быть ли изнасилованной сто раз пиратами-неграми, иметь вырезанный зад, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время ауто-да-фе, быть вскрытым, грести на галерах, испытать сызнова все несчастья, через которые мы все прошли, или оставаться здесь, ничего не делая.

— Это большой вопрос, — ответил Кандид.

Эта речь породила новые рассуждения. Мартэн доказывал, будто человек рождается дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался и ничего не хотел утверждать. Панглос признался, что он всегда страшно страдал; но, однажды усвоив мнение, что все идет на диво хорошо, он придерживается этого наперекор всему и ничему иному не верит.

Новое событие окончательно утвердило Мартэна в его отвратительных принципах, поколебало Кандида и поставило в затруднительное положение Панглоса. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирофле в крайне жалком состоянии. Они очень скоро проели свои три тысячи пиастров, покидали друг друга, мирились, ссорились, сидели в тюрьме, убегали и, наконец, брат Жирофле решил потурчиться. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом повсюду, но уже ничего не могла заработать.

— Я заранее предвидел, — сказал Мартэн Кандиду, что ваши подарки будут скоро растрчены ими, и что тогда они станут еще

несчастнее. Вы с Какамбо промотали миллионы пиастров, и все же вы не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

— Ах, ах! — сказал Панглос Пакете, — само небо привело вас сюда, к нам, мое бедное дитя. Знаете ли вы, что вы мне стоили кончика носа, одного глаза и уха? Что же это с нами делается? Что такое этот мир?

Это новое приключение заставило их философствовать усерднее, чем когда-либо.

По соседству жил весьма известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Пошли посоветоваться с ним; Панглос, взяв слово, сказал:

— Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек?

— Куда ты лезешь? — сказал дервиш, — твое ли это дело?

— Но, преподобный отец, — сказал Кандид, — ужасно много зла на земле.

— Какую важность, — сказал дервиш, — имеет вопрос о добре и зле? Когда султан посылает корабль в Египет, заботится ли он о том, хорошо ли живет корабельным крысам?

— Что же нам делать? — спросил Панглос.

— Молчать, — сказал дервиш.

— Я льстил себя надеждою, — сказал Панглос, — побеседовать с вами о действиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.

В ответ на это, дервиш захлопнул дверь у них перед носом.



Во время этой беседы распространилась весть о том, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия, и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартэн, возвращаясь к себе на маленькую ферму, увидели доброго старика, который наслаждался прохладой у своих ворот в тени апельсинового дерева. Панглос, который был не только резонер, но и человек любопытный, спросил, как звали муфтия, которого удавили?

— Не знаю, — отвечал добряк, — я никогда не знал имени никакого муфтия и никакого визиря. Я не имею понятия о происшествии, про которое вы мне говорите. Я полагаю, что вообще, люди, которые вмешиваются в общественные дела, иногда погибают самым жалким образом, и что они это заслужили; но я никогда не интересуюсь тем, что творится в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды сада, который я возделываю.

Сказав это он предложил иностранцам войти в его дом: две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркою, вареною в сахаре, апельсины, померанцы, лимоны, ананасы, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили бороды Кандида, Панглоса и Мартэна.

— Надо полагать, — сказал Кандид турку, — у вас обширное и великолепное поместье?

— У меня всего двадцать десятин, — отвечал турок, — я их возделываю сам с моими детьми; работа отдаляет от нас три великие зла: скуку, порок, нужду.

Кандид, возвращаясь на ферму, завел глубокомысленные рассуждения по поводу речей турка. Он сказал Панглосу и Мартэну:

— Судьба доброго старика показалась мне завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

— Высоты, — сказал Панглос, — слишком опасны; об этом свидетельствуют все философы. Эглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом, повиснув на своих волосах, был пронзен тремя дротиками; царь Надав, сын Иеровоама, был убит Воозом; царь Эла — Замврием; Охония — Иеем; Гофолия — Иоасом; цари Иохим, Иехония и Седекия попали в рабство. Вы знаете, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Аннибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Виттелий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих IV, Ричард II, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих I? Вы знаете...

— Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать свой сад.

— Вы правы, — сказал Панглос, — когда человек был поселен в Эдемском саду, то это было *nut operaretureum*; \* это доказывает, что человек родился не для покоя.

— Будем работать, не рассуждая, — сказал Мартэн, — это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Маленький участок приносил много. Кунигунда, правда была некрасива, но она превосходно пекла пироги; Пакета вышивала, старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он сделался очень недурным столяром и даже честным человеком; Панглос иногда говорил Кандиду:

— Все события связаны неразрывно в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком ноги в зад за любовь к мадмуазель Кунигунде, если бы вы не были арестованы инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не дали хорошего удара шпагой барону, если бы не потеряли всех ваших баранов из счастливой страны Эльдорадо, вы не кушали бы здесь ни щедры в сахаре, ни фисташек.

— Это хорошо сказано,—отвечал Кандид,— но надо все-таки возделывать наш сад.



# П Р О С Т А К

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ  
ИЗВЛЕЧЕННАЯ  
ИЗ МАНУСКРИПТОВ  
П. КЕНЕЛЯ

*1 7 6 7*



**L' I N G É N U**

**Histoire véritable**

**tirée des manuscrits de P. Quesnel**

**1 7 6 7**



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

*О том, как Приор обители Святой Горы и его сестрица встретили гуронца*

Однажды святой Дунстан (ирландец родом и святой по ремеслу) отплыл из Ирландии на небольшой горе, благополучно доставившей его к французским берегам, в заливе Сен-Мало. Высадившись на берег, он дал горе свое пастырское благословение, и она, почтительно с ним раскланившись, возвратилась той же дорогой восвосяи в Ирландию.

Дунстан основал на месте высадки небольшое приорство, назвав его обителью Святой Горы. Имя это остается за учреждением до сей поры.

Однажды вечером, а именно 15-го июля 1689 года, тогдашний приор названной обители, аббат Керкабон, со своей сестрой, девицей Керкабон, вышел на морской берег подышать свежим воздухом. Приор был уже в почтенном возрасте и считался одним из самых благоче-

стивых церковников в тамошних местах. Соседи уважали его безусловно, — не менее, чем уважали в былые годы соседки. Доброй его репутации не мало способствовало то обстоятельство, что из лиц его сословия он был в околотке единственным, кого не приходилось после ужина с добрыми приятелями относить в постель на руках. Он добросовестно читал богословские сочинения, чередуя, для разнообразия, блаженного Августина \* с Раблэ \* и, говоря вообще, пользовался у всех самой безупречной репутацией.

Сестра его, девица Керкабон, несмотря на страстное желание выйти замуж, никак не могла достигнуть этой цели. Это, впрочем, не помешало ей до сорока пяти лет хранить молоджавую свежесть. Характер у нее был тихий и кроткий. Она очень любила развлечения и была чрезвычайно набожна.

Приор сказал своей сестре, глядя на море:

— Увы! Вот то самое место, где наш бедный брат Керкабон взошел в 1669 году вместе со своей женой на палубу «Ласточки», чтобы ехать на службу в Канаду. \* Если бы он был не убит, мы могли бы еще надеяться, что снова увидим его.

— Неужели ты веришь, — возразила сестра, — сообщенному нам слуху, будто нашу невестку съели ирокезы. Впрочем, не случись этого на самом деле, что могло бы помешать ей вернуться? Я буду вечно оплакивать ее. Она была милейшая женщина, да и брат наш, при его уме, наверно сумел бы сделать хорошую карьеру

Пока оба, расчувствовавшись, делились воспоминаниями об этих прискорбных событиях, в Ранскую бухту вошло, вместе с приливом, небольшое английское судно, нагруженное товарами этой страны. Матросы быстро спрыгнули на берег, не обратив никакого внимания ни на почтенного приора, ни на его сестрицу, которая при виде такой неучтивости осталась очень недовольна. Совсем иначе поступил статно сложенный молодой человек, прибывший на том же судне. Быстро спрыгнув, чуть не через головы своих товарищей, он мигом очутился перед сестрой приора и дружелюбно кивнул ей головой, заменяя этим обычный церемонный поклон. Его вид и одежда невольно привлекли внимание как брата, так и сестры. Голова его не была ничем покрыта, а голые ноги чуть обуты в небольшие сандалии. Длинные волосы, заплетенные в две косы, спускались вдоль спины, а на плечах была надета небольшая куртка, красиво обрисовывавшая тонкий и гибкий стан; вид у него был воинственный и в то же время кроткий. Держа в одной руке бутылку барбадосской водки, а в другой небольшой мешок с металлическим стаканом и морскими сухарями, он, с веселым и довольным видом, предложил на вполне удовлетворительном французском языке госпоже Керкабон и ее брату угоститься этим добром, выпил сам вместе с ними, угостил их еще раз и проделал все это так мило и естественно, что брат и сестра были положительно в восторге. Они предложили незнакомцу свои услуги. На вопрос, кто он и куда направляется,



молодой человек ответил, что у него нет решительно никаких определенных намерений, а приехал он просто из любопытства, желая взглянуть на берега Франции, после чего тотчас же отправится обратно.

Приор, заметив по выговору незнакомца, что он не мог быть англичанином, решил спросить, откуда он родом.

— Я гуронец, — ответил молодой человек.

Госпожа Керкабон, удивленная и восхищенная видом такого учтивого гуронца, пригласила молодого человека на ужин. Он не заставил повторять просьбы, и потому все трое тотчас же отправились к дому, где помещалось приорство Святой Горы.

Глаза толстенькой и круглой девицы не могли оторваться от молодого человека, и она по минутно шептала брату:

— Какие прелестные щеки у этого здорового юноши! Они свежее роз и лилий. А кожа! Как она нежна для гуронца!

— Это правда, — коротко отвечал приор.

Вопросы на прибывшего путешественника сыпались без конца, и он отвечал здраво и умно.

Слух о том, что в приорство прибыл гуронец, быстро распространился по всему окрестку, вследствие чего к ужину собралось общество всего кантона. Аббат Сент-Ивского монастыря прибыл со своей сестрой, \*молоденькой бретонкой, очень приятной на вид и прекрасно воспитанной девицей. Судья и сборщик податей явились с женами. Гости посадили между хозяйкой и девицей Сент-Ив. Все смотрели на

него, не спуская глаз, и осыпали вопросами без конца. Гуронец не смущался нимало и смело отвечал всем. Казалось, он руководствовался девизом лорда Болинброка: \* «Ничему не удивляться». Однако, под конец, утомленный невообразимым шумом, он позволил себе сказать:

— В моей стране, господа, принят обычай говорить по очереди. Как хотите вы, чтобы я отвечал вам, если вы мешаете мне вас слушать?

Здоровое слово всегда производит впечатление, а потому водворилась на несколько минут полная тишина. Вскоре, однако, судья, бывший любопытнейшим человеком в мире, вследствие чего он всегда овладевал каждым прибывшим иностранцем, не вытерпел и, разинув рот шире трубы, выпалил в незнакомца вопросом:

— Как вас зовут?

— Меня, — отвечал гуронец, — прозвали Простаком, и имя это осталось за мной, потому что я привык говорить то, что у меня на уме, называя настоящими именами все, что вижу.

— Каким образом, вы, гуронец родом, вздумали приехать в Англию?

— Меня туда привезли. Я был взят в плен англичанами в честном бою, а так как англичане храбры и великодушны не менее нас, то мне было предложено на выбор: вернуться к своим родным, или отправиться в Англию. Я избрал последнее, потому что до страсти люблю путешествовать по чужим краям.

— Но, — продолжал докторальным тоном судья, — как могли вы решиться покинуть отца и мать?

— Я, — ответил приезжий, — никогда не знал ни отца, ни матери.

Слова эти возбудили общее сочувствие.

— Ни отца, ни матери! — повторяли все.

— Мы ему их заменим, — воскликнула хозяйка и затем прибавила, обращаясь к брату:

— Как этот молодой человек интересен!

Гуронец с достоинством ее поблагодарил, но дал, однако понять в своем ответе, что не нуждается ни в каких благодеяниях.

— Я замечаю, сударь, — продолжал неугомонный судья, — что вы говорите по-французски лучше, чем можно ожидать от гуронца.

— Меня, — отвечал приезжий, — выучил этому языку пленный француз, сделавшийся моим лучшим другом. Я, вообще, очень быстро выучиваюсь всему, чему захочу выучиться. Недавно, по прибытии в Плимут, я познакомился с одним из тех ваших эмигрантов, которых вы, не знаю почему, зовете гугенотами. Он возобновил со мной уроки французского языка, и когда я достиг возможности изъясняться на нем вполне свободно, то вздумал посетить вашу страну, потому что вообще всегда любил французов, особенно когда они не слишком пристают с расспросами.

Аббат Сент-Ив, несмотря на такой весьма прозрачный намек, не мог все-таки воздержаться, чтобы не спросить гуронца, который из трех языков, — английский, французский или гуронский ему более нравится.

— Конечно, гуронский, — отвечал Простак.

— Неужели? — воскликнула госпожа Керкабон. — А я всегда была уверена, что француз-

ский язык после ниже-бретонского лучший в мире.

Тут на Простака посыпался ряд новых вопросов.

— Как, — спрашивал один из собеседников, — по-гуронски табак?

— Тайя, — было ответом.

— Как по-гуронски есть?

— Эссентен, — отвечал Простак.

Госпожа Керкабон непременно захотела узнать, каким словом выражалось по-гуронски понятие «любить».

— Тровандер,<sup>1</sup> — ответил гуронец и при этом добавил, что словом этим выражается решительно все, что захотели бы дать понять в подобном случае во Франции и Англии. Слово «тровандер» было признано восхительным.

Приор, в библиотеке которого оказалась в числе прочих книг гуронская грамматика, подаренная ему известным миссионером, неподобным отцом Сагаром Теодатом, немедленно сходил за нею для проверки слышанного и вернулся в полном восторге. Простак оказался, действительно, гуронцем. Разговор перешел затем на обсуждение различия языков и закончился выводом, что, не будь вавилонского столпотворения, — все народы, наверное, говорили по-французски.

Любопытный судья, относившийся до сих пор к незнакомцу с некоторым недоверием, почувствовал теперь к нему необыкновенное уваже-

<sup>1</sup> Приведенные слова действительно гуронские.

(Примеч. Вольтера)

ние, что и постарался выразить всеми способами. Простак, однако, ничего этого не заметил.

Мадмуазель Сент-Ив пожелала узнать, какой способ признания в любви принят в стране гуронцев. «Стараются сделать что-нибудь очень приятное той особе, чью благосклонность желают заслужить», — ответил Простак и к этому прибавил: «Так, по крайней мере, наверное, стали бы у нас вести себя по отношению к вам». Ответ был встречен рукоплесканиями. Сент-Ив покраснела, но в глубине души осталась очень довольна. Мадмуазель Керкабон тоже покраснела, хотя не от удовольствия, а скорее от некоторой досады, что любезный ответ относился не к ней. Впрочем, она была так добра, что симпатия ее к приезжему нимало не поколебалась от этого. Она добродушно спросила, сколько раз случилось ему любить?

— Один раз в жизни, — был ответ. — Я любил прелестную Абакабу, приятельницу моей кормилицы. Тростинки не так стройны, лилии не так белы, овцы не так кротки, орлы не так горды и олени не так легки, как Абакаба! Однажды, охотясь за зайцами милях в пятнадцати от своего дома, она встретила с одним негодяем из племени альгонкинов, живших за сто миль далее. Он грубо отнял у нее затравленного зайца: я узнал об этом, побежал, нагнал альгонкинца, свалил на землю и притащил связанного по рукам и ногам к моей возлюбленной. Родные ее предлагали его съесть; но я никогда не был охотником до

пиров такого рода и потому подарил ему свободу, после чего он сделался моим лучшим другом. Абакаба была так тронута моим поступком, что полюбила меня с этой минуты более, чем всех прочих вздыхателей. Она любила бы меня, наверное, и теперь, если бы ее не съел медведь. Я, правда, отомстил за нее, убив медведя, и долго носил его шкуру, но это меня не утешило.

Сент-Ив испытала чрезвычайное удовольствие, узнав, что Простак любил всего единожды в жизни, и что Абакаба перестала существовать. Радость свою она, однако, умела сохранить втайне, ничем не обнаруживая. Зато прочие члены общества громко выражали свое сочувствие Простаку. Благородная решимость, с какою он воспрепятствовал своим товарищам съезду пленного альгонкинца, в особенности встретила всеобщее одобрение.

Несносный судья пожелал узнать, какой религии придерживался гуронец: англиканской, галликанской или гугенотской.

— Я, — ответил Простак, — держусь моей религии, точно так же, как вы держитесь вашей.

— О, боже! — воскликнула в ужасе мадмуазель де Керкабон. — Неужели эти нечестивые англичане не успели даже его окрестить?

— Ну, нет, ну нет, — возразил Сент-Ив, — гуронцы, наверное, католики. Можно ли себе представить, чтобы преподобные отцы иезуиты не успели обратить их до сих пор?

На это Простак возразил, что в стране его никогда никто никого не обращал, что ни-

когда истинный гуронец не менял своих убеждений и что в языке их нет даже слова для выражения понятия о непостоянстве. Услышав последнее замечание, Сент-Ив расцвела от удовольствия.

— Мы окрестим его, окрестим, — восторженно шептала мадмуазель де Керкабон своему брату, приору. — Ты, любезный брат, совершишь обряд, а я буду крестной матерью. Аббат Сент-Ив, конечно, не откажется принять участие в церемонии, которую мы обставим всею пышностью, какая только возможна! Подумай, как об этом будут говорить по всей Бретани и как вырастет от этого наше значение!

Гости от всей души поддержали это решение, не переставая повторять:

— Мы окрестим его, окрестим!

Один Простака остался в оппозиции, объявив, что в Англии никого не обращают силой, предоставляя каждому жить по своему вкусу. Сделанному предложению он не сочувствовал вовсе. Гуронские законы, по его словам, были ничем не хуже уставов Бретани, а, сверх того, он уже собирался на другой день в обратный путь.

Вечер кончился тем, что привезенная Простаком бутылка барбодосской водки была осушена до дна, после чего все общество разошлось на покой.

Когда Простака отвели в назначенную для него комнату, мадмуазель де Керкабон, вместе с приятельницей своей Сент-Ив, не могли удержаться, чтобы не заглянуть в замочную скважину, как гуронец будет ложиться спать.

Они увидели, что он, стащив с приготовленной ему постели одеяло, разостлал его на полу и, растянувшись на нем во весь рост, заснул в весьма живописной позе.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Как гуронец, по прозванию Простак, был узнан своими родственниками.*

Простак встал по привычке вместе с солдцем и первыми петухами, чье пение как в Англии, так и в Гуронии зовется утренней трубой. Он ни в чем не был похож на тех неженков, которые валяются в постели до часа, когда солнце свершит уже половину своего пути, теряют драгоценное время и в каком-то полузабытьи, ничего не делая, и, вместе с тем, жалуются на краткость жизни.

Он обежал несколько миль по окрестностям, убил штук тридцать различной дичи, стреляя только пулями, и лишь тогда, вернувшись домой, встретил почтенного приора и его скромную сестру, вышедших в ночных колпаках подышать свежим утренним воздухом в раскинушемся около дома саду. Предложив им в подарок всю убитую дичь, гость затем снял с шеи какой-то маленький медальон, похожий на талисман, и, вручая его хозяевам, промолвил:

— Примите это в знак моей благодарности за ваше гостеприимство. Это самая драгоценная для меня вещьца. Мне сказали, что она не перестанет приносить мне счастье, пока



я буду носить ее на шее; но я хочу, чтобы вы тоже были счастливы, и потому дарю ее вам.

Приор и сестра его были чрезвычайно тронуты наивностью Простака. Подарок оказался небольшим медальоном с двумя портретами, довольно плохо исполненными и скрепленными вместе помощью засаленного ремешка.

Мадмуазель Керкабон спросила:

— Неужели в Гуронии есть живописцы?

— Нет, — отвечал Простак, — медальон достался мне от моей кормилицы, муж которой отнял эту вещицу при нападении на французский отряд во время Канадской войны. Вот все, что я об этом знаю.

Между тем приор, рассмотрев внимательно портреты, внезапно изменился в лице. Руки его задрожали.

— Клянусь богородицею Святой Горы, — воскликнул он, не будучи в силах сдерживать свое волнение, — я узнаю в этих портретах моего брата-капитана и его жену!

Мадмуазель Керкабон, взглянув на портреты, нашла то же самое. Радость и горе охватили обоих. Они расчувствовались, разрыдались, передавали портреты из рук в руки по двадцати раз в минуту, сравнивая их с лицом Простака. Расспросы сыпались градом. Где гуронец жил? Где вырос? Когда и как портреты попали в руки его кормилицы? Получаемые ответы сверялись, факты сопоставлялись по времени со временем отъезда капитана в Канаду, при чем оказалось, что последние известия, прежде чего он точно в воду канул, были

получены именно перед отправлением в страну гуронцев.

Простак объявил, что отца и матери он никогда не знал. Приор, бывший очень рассудительным человеком, заметил, что все гуронцы, как известно, безбороды, а у Простака уже начинал пробиваться на щеках первый пушок, чем ясно доказывается его европейское происхождение.

— От брата и сестры, — говорил приор, — не было никаких известий как раз с 1669 года, т. е. со времени гуронской экспедиции. А наш племянник был в этом году грудным ребенком. Явно, что жизнь ему спасла гуронская кормилица, заменившая ему мать.

После бесконечных расспросов и разговоров все в том же роде, приор и его сестра пришли к несомненному убеждению, что гуронец был, действительно, их родной племянник. Они со слезами заключили его в объятия, а Простак от души смеялся, не будучи в силах понять, каким образом гуронец мог оказаться племянником бретонского приора.

Все общество сошло вновь. Аббат Сент-Ив, считавший себя великим физиономистом, стал сравнивать оба портрета с лицом Простака и нашел, что глаза он унаследовал от матери, а лоб и нос от отца, капитана Керкабона. Что же до щек, то они напоминали обоих родителей.

Мадмуазель де Сент-Ив, никогда не выдавшая ни отца, ни матери Простака, тем не менее, стала также уверять, что он, как две капли

воды, похож на них обоих. Последовало много возгласов по поводу неизъяснимых путей провидения и чудесного сцепления событий в этом мире. Общая уверенность, что Простак именно то лицо, за которое его принимают, заставила, в конце концов, уверовать его самого, при чем он выразился, что быть племянником почтенного приора ему не менее приятно, чем чьим бы то ни было.

Общество затем направилось в церковь приорства воздать хвалу богу за счастливое событие. Простак предпочел остаться дома и провести время за бутылкой.

Между тем англичане, в обществе которых он прибыл, зашли объявить, что настал час отъезда.

— Вы, — ответил Простак, — наверное не нашли здесь ни дядей, ни теток. Что до меня, то я остаюсь; возвращайтесь в Плимут. Вы можете взять все мое добро: мне больше ничего не нужно, раз я стал племянником приора.

Англичане уехали, не возразив ни слова и ничуть не заботясь о том, были ли у Простака дяди и тетки в Бретани или нет.

После того, как затеянный дядей, теткой и всей компанией молебен был отслужен, а судья истощил весь свой запас вопросов, бурные же приступы восторга и нежности стали успокаиваться, оба аббата — Керкабон и Сент-Ив, изъявили намерение окрестить Простака как можно скорее. Обряд этот, однако, не представлялось возможности произвести над здоровым двадцатидвухлетним малым так же просто, как это делается, когда речь идет о детях, не

имеющих никакого понятия о том, что над ним творят. Предстояло сначала вразумить и просветить новообращаемого; дело же это казалось очень мудреным аббату Сент-Ив, который никак не мог допустить, чтобы человек, родившийся за пределами Франции, имел хоть каплю здравого смысла.

Приор Керкабон заметил на это, что если Простак, его племянник, действительно, не имел счастья родиться в Нижней Бретани, то, тем не менее, присутствие в нем ума явно обнаруживалось из всех его разговоров и ответов, и что природа, несомненно, благоприятствовала ему как с отцовской, так и с материнской стороны.

Простаку задали вопрос: случалось ли ему читать какие-нибудь книги? Он ответил, что прочел в английском переводе Раблэ и, сверх того, знает наизусть кое-что из Шекспира. Книги эти, по его словам, он нашел в каюте капитана корабля, на котором прибыл из Америки в Плимут. Судья не замедлил начать расспросы о содержании прочитанных книг.

— Я признаюсь вам, — ответил Простак, я кое-что в них разгадал, остального же не понял.

Аббат Сент-Ив, услышав это, невольно вспомнил, что и он сам, да, вероятно, большинство и прочих людей всегда читали только таким образом.

— А читали вы Библию? — спросил он гуронца.

— Нет, господин аббат, ее не оказалось среди книг моего капитана.

— Ну вот, ну вот, — расходилась, услыша это мадмуазель де Керкабон. Для этих безбожных англичан Шекспир, плумпуддинг, или бутылка рома значат больше, чем Пятикнижие. Мудрено ли, что им не удалось до сих пор обратить в Америке ни одной души. О, это богом проклятый народ! Я уверена, что мы скоро отнимем у них Виргинию и Ямайку!

После этого был призван лучший портной во всем Сен-Мало, который получил приказ одеть Простака с головы до ног. Общество разошлось. Судья отправился искать—к кому бы обратиться со своими обычными вопросами. Девица Сент-Ив, уходя, несколько раз оглядывалась на Простака, и на каждый ее взгляд он отвечал поклоном, гораздо более низким, чем когда-либо отвешивал кому бы то ни было.

Необходимо прибавить, что судья перед уходом представил Сент-Ив своего сына, великовозрастного болвана, только что кончившего среднюю школу, но она так занялась гуронцем, что не обратила на него никакого внимания.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### *Гуронец, прозванный Простаком, обращен в христианство*

Приор Керкабон, восхищенный на старости лет таким внезапным появлением в его доме племянника, взлелеял мечту, что если ему удастся убедить Простака принять духовный чин, то он может легко передать ему в наследство свое приорство,

Простак был одарен изумительной памятью. Природная бретонская крепость членов усилилась в нем еще более под влиянием сурового климата Канады. Что же касается до умственных способностей, то, хотя он и не усваивал мгновенно того, что видел и слышал, зато однажды усвоенного не забывал никогда. Его восприимчивости много помогало то обстоятельство, что голова его не была начинена с детства ворохом тех глупейших сведений и правил, какими притупляют нас вследствие чего здравые понятия укладывались в его мозгу легко и просто. Приор, наконец, решил засадить его за Новый Завет. Простак проглотил данную ему книгу с удовольствием, но, не имея понятия ни о времени, ни о месте описываемых событий, вообразил, что все это происходило в современной Бретани, вследствие чего дал торжественную клятву отрезать Каиафе и Пилату носы, если эти бездельники попадутся когда-нибудь к нему в руки.

Дядя-приор, восхищенный столь добрыми намерениями, тем не менее, поспешил рассеять его заблуждение. Признав ревность его крайне похвальной, он объяснил ему, что она бесполезна, ибо, люди, о которых идет речь, умерли более шестисот восьмидесяти лет тому назад. Простак вскоре выучил почти наизусть всю данную ему книгу.

Порой он задавал дяде такие мудреные вопросы, что почтенный приор становился втупик.

Несколько раз он советывался с аббатом Сент-Ив, который не зная, что ответить,

пригласил одного ученого иезуита, которому поручил окончательное обращение гуронца.

Наконец, благодать снизошла. Простака обещал сделаться христианином. Он не сомневался, что ему следует начать с обрезания.

— Ведь, в книге, которую вы мне дали, — говорил он, — нет ни одного лица, над которым этот обряд не был бы совершен. Потому, само собою разумеется, что я должен принести в жертву мою крайнюю плоть, чем скорее — тем лучше.

Сказав это, он, не долго думая, послал за деревенским цирюльником и обратился к нему с требованием немедленно совершить над ним помянутую операцию, думая сделать этим приятный сюрприз как мадмуазель де Керкабон, так и всей прочей компании. Цирюльник, к которому с подобными просьбами до сих пор не обращался никто, перепугался не на шутку и поднял на ноги весь дом. Можно себе представить, какое при этом произошло смятение! Мадмуазель де Керкабон особенно всполошилась мысли, как бы племянник с его решительным характером не вздумал сам свершить над собою обряд и не натворил при этом по неопытности каких-нибудь совершенно непоправимых бед. Нежное сердце женщины всегда лучше поймет, где надо видеть в подобных тревожных случаях главную опасность.

Приор принялся горячо убеждать Простака в ошибочности его взглядов. Он объяснил ему, что обряд обрезания давно уже оставлен и что его заменили более кротким и спасительным обрядом крещения, и что закон благодати

устраняет закон жестокости. Простак, правда, заспорил; но его здравый смысл, наконец, одержал верх, и он сознался в своей ошибке, что как известно случается в Европе очень редко с людьми, ведущими споры. В заключение Простак изъявил согласие окреститься, когда его родственникам будет угодно. Обряду должна была предшествовать исповедь, но тут явилось новое препятствие. Книгу, полученную от приора, Простак постоянно носил в кармане, и справившись с нею, объявил, что там о таком обряде не сказано ни слова: ни один из апостолов не исповедывался. Приор, однако доказал ему противное, указав в книге фразу: «Исповедайте друг другу ваши грехи». Простак согласился и, отправясь тотчас же к одному францисканцу, чистосердечно сознался ему в своих грехах, но затем, поднявшись с колен, вытащил за шиворот из исповедальни, пригнул сильной рукой духовного отца к земле, и поставив его на колени в то время, как сам занял его место, обратился к нему с такими словами:

— Ну, мой милый, исповедываться велено друг другу. Я сознался тебе во всех моих грехах, и теперь ты не выйдешь отсюда, пока не поведаешь мне твоих.

Говоря так, он здорово придавил коленом грудь своего противника, чтобы не дать ему уйти. Францисканец завопил благим матом. На крик сбежались со всех сторон, и можно себе представить какой эффект произвело зрелище новообращенного, применявшего так добросовестно к делу преподанные ему правила.



Тем не менее мысль обратить ниже-бретонского гуронца, да еще вдобавок англичанина, была так заманчива, что ради нее было решено не придавать большого значения некоторым его странностям. Нашлись богословы, объявившие даже, что исповедь можно устранить совсем, в виду того, что крещение заменяет собою все.

На церемонию был приглашен епископ Сен-Мало. Польщенный, как и следовало думать, честью привести в христианскую веру гуронца, он приехал в великолепном экипаже, окруженный блестящей свитой. Мадмуазель де Сент-Ив оделась в свое лучшее платье и причесалась у лучшего во всем Сен-Мало куафера, намереваясь достойно исполнить предстоявшую ей обязанность. Любопытный судья, конечно явился одним из первых, в сопровождении толпы таких же как и он любопытных зевак со всего околотка. Церковь сияла великолепным убранством. Но, когда явились к гуронцу, чтобы пригласить его на церемонию, то оказалось, что комната была пуста.

Дядя и тетка обегали в безуспешных поисках весь дом и остановились, наконец, на предположении, не отправился ли Простак по привычке на охоту. Гости исходили все соседние леса и окрестности, но гуронца нигде не оказалось. Он исчез без следа, точно в воду канул.

Было высказано тревожное предположение, не отплыл ли он тайно в Англию — страну, о которой всегда отзывался с особенной симпатией. Приор и его сестра, прожившие весь свой век в полном убеждении, что в Англии никого

не крестят, дрожали за спасение души своего племянника. Рассерженный епископ готов был уехать. Приор и аббат Сент-Ив в отчаянии чуть не рвали на себе волосы. Судья надоел расспросами всем встречным. Мадмуазель де Керкабон плакала. Мадмуазель Сент-Ив хотя и не плакала, но глубокие ее вздохи явно обличали, какое важное значение придавала она предстоящему таинству. Обе, взволнованные и грустные, прогуливались по длинной аллее верб и лип, окаймлявшей берега речки Раис, и вдруг заметили совершенно голую человеческую фигуру, стоящую по пояс в воде с руками, сложенными крестом на груди. Обе, взвизгнув, убежали в кусты, но однако не удержались, чтобы не взглянуть сквозь листья на перепугавший их предмет, уверившись предварительно, что никто не застигнет их в этом порыве любопытства.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Простак окрещен*

Приор и аббат, прибежав, осыпали Простака вопросами: что он тут делает?

— Что делаю? — отвечал Простак. — Да, конечно, жду крещения! Вот битый час, как я стою по горло в воде и, право, нахожу, что с вашей стороны очень не любезно заставлять меня дожидаться.

— Милый племянник, — с нежностью обратился к нему приор. — В Нижней Бретани крестят совсем иначе. Наденьте вашу одежду и следуйте за нами.

Мадмуазель Сент-Ив, услышав это, шепнула своей товарке:

— Ай, неужели он сейчас выйдет из воды, чтобы одеваться?

Гуронец, услышав слова приора, возразил:

— Ну нет, на этот раз вы меня уже ничем не убедите. Я много читал за последнее время и прекрасно узнал, что креститься надо именно таким образом. Доказательство — евнух царицы Кандаки, \* крещенный в ручье. Готов биться об заклад, что вы не укажете мне в ваших книгах кого-нибудь, окрещенного иным способом. А потому, объявляю вам, что и я сам или буду окрещен в реке, или откажусь от крещения вовсе.

Напрасно уверяли его, что обычаи с тех пор изменились. Простак, как истый бретонец и гуронец, уперся на своем и в особенности настаивал на примере евнуха царицы Кандаки. Мадмуазель де Керкабон и мадмуазель де Сент-Ив, видевшие и слышавшие все это сквозь зелень кустов, едва могли сдержать свое желание объяснить Простаку, что уж с этим человеком ставить себя на одну доску у него нет решительно никаких оснований. Скромность, однако, удержала их от этого шага. Для убеждения Простака явился, наконец, сам епископ, что конечно, имело большое значение; но ничего не добился и он. Простак продолжал спорить.

— Укажите мне, — повторял он, — в книгах моего дяди хоть одного человека, который был бы крещен не в реке, и тогда я соглашусь исполнить все, что вы пожелаете.

Тетушка, не зная в отчаянии, что предпринять, вспомнила, что Простак, здороваясь с гостями, всегда с особенным чувством и вниманием кланялся мадмуазель де Сент-Ив. Видя, что знаков такого доброжелательного уважения не достаивался от него даже сам епископ, тетушка вздумала привлечь эту очаровательную особу к своему плану и обратилась к ней с просьбой повлиять на Простака с целью убедить его окреститься по обычному бретонскому способу. Она была вполне убеждена, что окрещенный, как он того хотел, погружением в воду, он никогда не сделается истинным христианином.

Мадмуазель де Сент-Ив, получив столь лестное и важное поручение, зарделась от восторга. Скромно подойдя к Простаку и дружески взяв его под руку, она спросила: «Согласитесь ли вы сделать чтонибудь для меня?» и при этих словах очаровательно подняла на него дотолескромно опущенный взор. «Все, что вы пожелаете! Все что вы прикажете!» — крикнул в ответ Простак. «Велите мне креститься в воде, в огне, в крови — я не остановлюсь ни перед чем!» Оказалось, таким образом, что мадмуазель де Сент-Ив двумя-тремя словами достигла цели, которой не могли добиться ни убеждения приора, ни доводы судьи, ни даже глубокомысленные увещания епископа. Подобный успех привел молодую особу в восторг, но она еще не предвидела, что могло из этого выйти.

Обряд, конечно, был совершен со всей подобающей торжественностью и должными церемониями. Дядя и тетка уступили честь быть

восприемниками аббату Сент-Ив и его сестре. Молодая крестная мать сияла от удовольствия. Она не знала к чему обязывал ее этот титул и какие плачевные выйдут из того последствия.

Так как все подобного рода церемонии заканчиваются обыкновенно парадным обедом, то обычай этот был соблюден и в настоящем случае. Общество уселось за стол тотчас по совершении обряда. Посыпались всевозможные шутки и остроты. Приор привел изречение Соломона, сказавшего, что вино веселит сердце человеческое. Епископ подтвердил справедливость этих слов, сославшись на партиарха Иуду, который даже своего осла привязывал не иначе как к виноградным кустам и обмакивал конец плаща в виноградный сок. Сожалели о том, что бог не одарил Нижнюю Бретань климатом, позволяющим разводить виноград. Всякий старался сказать какую-нибудь любезность Простаку и его крестной матери. Судья, вечно задававший вопросы, спросил Простака, твердо ли он решился соблюдать произнесенные обеты.

— Как же иначе, — отвечал тот. — Ведь я дал их мадмуазель де Сент-Ив.

Разгорячась вином, он беспрестанно провозглашал тосты за ее здоровье и, наконец, сказал, что еслиб она окрестила его собственной рукой, то даже холодная вода, налитая на макушку, обожгла бы его, как кипяток. Судья, плохо знавший обычай канадцев выражать душевные мысли при помощи иносказаний, нашел это выражение слишком поэтичным. Крестная мать осталась чрезвычайно довольна.

Виновник торжества получил имя Геркулеса. Епископ возбудил некоторое сомнение относительно имени этого патрона, совершенно, по его словам, неизвестного, но ученый иезуит поспешил объяснить, что это был святой, совершивший двенадцать чудес. Было им совершено еще тринадцатое чудо, но о нем иезуит не считал для себя удобным говорить. Какой то шутник из числа присутствующих шепнул на ухо соседям (а, следовательно, всем гостям), что это чудо состояло в обращении пятидесяти девиц в женщин в короткий срок одной единственной ночи. Дамы потупили глаза, но взглядывая при этом на мужественную фигуру Простака, невольно приходили к убеждению, что новый Геркулес был наверно способен с честью носить имя столь славного патрона.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Простак влюблен*

Нельзя утаить, что с момента крестин мадам уазель де Сент-Ив не переставала лелеять мечту — устроить новую церемонию, в которой она и Простак явились бы перед почтенным епископом также в ролях главных действующих лиц. Надо, впрочем, прибавить, что воспитанная в глубоком благочестии, она не давала воли даже собственным мечтам заходить в подобного рода вопросах далее самых чистых и скромных предположений. Но, тем не менее, если у нее невольно вырвался при этом вздох, взгляд или слово, то сквозь них довольно ясно сквозили

чувства, их вызывавшие. Она была скромна и благоразумна, но вместе с тем жива и чувствительна.

После отъезда господина епископа Простак и мадмуазель де Сент-Ив встретились, сами не сознавая, что ищут друг друга. Они заговорили, не понимая того, что говорят. Для начала Простак сказал, что любит ее от всего сердца и что прекрасная Абакаба, от которой он был без ума у себя на родине, не может сравниться с нею. Мадмуазель Сент-Ив со свойственной ей скромностью попросила его немедленно сообщить об этом дяде и тетке, сама же обещала поговорить со своим братом-аббатом. В общем их согласи, по ее словам, нечего было сомневаться.

Простак возразил, что он решительно не видит никакой надобности спрашивать советы и согласи у третьих лиц в делах, по которым прекрасно договорились до конца обе заинтересованные стороны. Это, на его взгляд, было глупо и смешно.

— Ведь я, — говорил он, — не спрашиваю ничего согласи, когда хочу есть, спать или охотиться. В любви, пожалуй, точно, не лишнее заручиться согласием особы, которую любишь. Но ведь я влюблен не в моих дядю и тетку. Так для чего же соваться им в это дело? Потому, я полагаю, что и вам можно прекрасно обойтись в этом вопросе без всяких разговоров с вашим братцем. Легко себе представить, что прекрасная бретонка пустила в ход все тонкости своего ума с целью внушить Простаку правила благопристойности. Она даже начала

сердиться, но, впрочем, скоро успокоилась. Бог знает, чем кончился бы этот разговор, если бы ему не положил предел аббат Сент-Ив, объяснив сестре, что пора ехать домой. Простак, видя, что дядя и тетка очень утомлены церемонией, не стал с ними разговаривать на ночь и предоставил им мирно отойти ко сну; сам же провел всю ночь, сочиняя стихи в честь своей возлюбленной. Известно, что нет человека в мире, которого любовь не сделала бы поэтом.

На другой день утром дядя-приор, приняв вид некоторой торжественности, в то время как тетка сидела с глубоко расстроганным видом, обратился к Простаку с такой речью:

— Да будет воздана хвала небу, любезный племянник, за то, что ты родился бретонцем и стал христианином! Но этим дело не должно кончиться. Я, как ты видишь, уже в летах преклонных, а брат мой оставил нам в наследство лишь самый незначительный клочок земли. Но мне приносит кое-что мое приорство; потому я полагаю, что, если бы ты согласился сделаться субдиаконом, то я мог бы передать тебе со временем мою должность, и тогда ты зажил бы в полном довольстве, покоя нашу старость.

— Любезный дядюшка, — возразил на это Простак, — я желаю вам жить как можно долее. Что же касается до звания субдиакона, то, решительно не зная, что это за штука, я не могу и судить как следует о ваших предположениях. Заявляю вам, впрочем, что доверяя вам вполне, я согласен быть не только субдиа-



коном, но всем, чем вам будет угодно, с одним лишь условием, чтобы вместе с этим званием и приорством мне была отдана и мадмуазель де Сент-Ив.

— Ай! — воскликнул пораженный приор. — Что ты сказал? Значит ты ее любишь?

— Да, дядюшка.

— Но это невозможно. Ведь твоя женитьба на ней не может состояться никаким способом...

— Напротив, прекрасно может; мы с ней уже сговорились, она не только пожала мне руку, но обещала за меня просвататься, а потому, само собою разумеется, что я на ней женюсь.

— Но, повторяю, — кричал приор, — это невозможно! Нельзя ударить по рукам в таком деле со своей крестной матерью. Это запрещено как божескими, так и человеческими законами.

— Чорт побери, дядюшка! — возразил на это Простак. — Вам кажется угодно надо мной смеяться. Да почему же, скажите на милость, нельзя жениться на своей крестной матери, если она молода и хороша собой? Сколько я ни читал ваших книг, в них не сказано ни слова, будто может случиться чтонибудь дурное от того, что молодая девушка выйдет замуж за человека, которого помогла окрестить. Я начинаю замечать, что вы часто не делаете того, что велят делать ваши книги, и, напротив, запрещаете то, о чем в них не сказано ни слова. Это, признаюсь вам, наконец, начинает меня бесить, и я решительно объявляю вам, что если мне под предлогом крещения не отдадут мадмуа-

зель де Сент-Ив добровольно, то я похищу ее, а сам раскрещусь.

Приор, услышав это, окончательно растерялся, а сестра его заплакала.

— Милый брат, — сказала она. — Мы никак не можем допустить, чтобы племянник погубил свою душу таким ужасным поступком. Может быть, святой отец наш папа окажет ему снисхождение и разрешит ему быть счастливым с той, которую он так полюбил.

Простак, услышав это бросился к тетке на шею.

— Где, — воскликнул он, — где, скажите, живет этот милый человек, так благосклонно покровительствующий молодежи в любовных делах? Я побегу к нему не теряя ни минуты.

Когда Простаку объяснили, кто такой папа, то изумлению его решительно не было пределов.

— Да ведь обо всем этом, — воскликнул он, — опять таки не сказано ни слова в ваших книгах. Я путешествовал, переплыл океан, высадился на ваших берегах и теперь мне велят покинуть мадмуазель де Сент-Ив, чтобы испрашивать у кого то живущего на Средиземном море, за тридевять земель отсюда, позволения ее любить. Ведь я не знаю даже языка, на котором говорит ваш папа. Все это не понятно до нелепости. Нет, вижу, что надо действовать иначе и потому объявляю вам, что бегу немедленно в дом аббата (до него, кстати, не более одной мили) и женюсь на мадмуазель де Сент-Ив сегодня же без всяких позволений.

В эту минуту вошел судья, и, расслышав конец речи Простака, по обыкновению любопытствовал узнать, куда он так спешит.

— Жениться! — брякнул ему на это в ответ Простак.

Четверть часа спустя он добежал до аббатства, где узнал, что мадмуазель де Сент-Ив еще лежит в постели. Мадмуазель де Керкабон по уходе его со вздохом шепнула приору.

— Ах, мой милый, я боюсь, что никогда не удастся тебе сделать племянника субдиаконом.

Судья, догадавшись в чем дело, соорил кислую физиономию. Он прочил мадмуазель де Сент-Ив за своего сына, который, по общему мнению, был еще глупее и несноснее, чем его отец.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Простак, прибежав к своей возлюбленной, приходит в неистовство*

Прибежав в дом аббата и спросив у старой служанки, где находится комната мадмуазель де Сент-Ив, Простак, не долго думая, вышиб ногой дверь и бросился к постели, на которой почивала красавица. Мадмуазель Де Сент-Ив, проснувшись, закричала в ужасе:

— Как! Это вы? Вы?... Что вы делаете?

— Женюсь на вас! — крикнул Простак и, на верное, тут же исполнил бы свое намерение, если бы невеста не воспротивилась ему всеми силами и всеми доводами, какие ей подсказывала благовоспитанность.

Но Простак не признавал уверток в делах, которые казались ему честными и справедливыми. Такого рода отговорки он находил глупыми и смешными.

— Моя первая возлюбленная Абакаба, — кричал он, — никогда не поступала таким образом. Вы обещали принадлежать мне! Так что же теперь вы пятитесь назад? Ведь это нечестно! Но я покажу вам, как следует держать слово, и направлю на путь добродетели!

Средства, которыми Простак обладал для поддержки своих взглядов на добродетель, были вполне достойны его патрона Геркулеса, а потому немудрено, что он пустил бы их в дело полным ходом, если бы Сент-Ив, чьи взгляды на этот предмет не были столь радикальны, не подняла такого неистового крика, что на него сбежался весь дом.

Аббат, его домоправительница, старый ханжа лакей и сосед-священник из ближнего прихода очутились в один миг, с разинутыми ртами, на месте события. Мужество благодетеля несколько остыло при этом зрелище.

— Эй, ей! Любезный сосед. Что вы тут делаете? — спросил аббат.

— Что делаю? — спросил Простак, — исполняю свой долг! Данное слово для меня свято и я никогда от него не отрекусь.

Сент-Ив, оправясь, густо покраснела. Простака увели в другую комнату. Аббат принялся его усовещивать, представляя ему всю чудовищность его поступка. Простак защищался, ссылаясь на законы природы, которые были ему прекрасно известны. Аббат начал красно-

речиво доказывать, что положительный закон должен стоять выше законов природы, и что если в людских обществах не соблюдались установленные правила, то законы природы привели бы к повсеместному разбойничеству.

— Так, например, — говорил он, — для того, чтобы жениться, необходимо проделать целый ряд обрядов, исполняемых нотариусами, священниками, свидетелями, судьями, и нужен ряд разрешений.

Простак возразил обычным ответом дикарей в подобных случаях.

— Плоха, должно быть, ваша честность, если надо обставлять такими гарантиями исполнение данных вами обещаний.

Аббат, услышав такое возражение, встал втупик.

— Я сознаюсь, конечно, — сказал он, — что плуты найдутся среди нас, точно так же как они наверно оказались бы и среди гуронцев, если бы ваши соотчичи жили в больших городах; но рядом с дурными людьми есть также истинно честные и просвещенные. Законы пишутся ими. Чем человек развитее, тем охотнее и добровольнее подчиняется он установленным правилам, подавая пример людям порочным. Добродетель понимает, что неизбежные ограничения налагаются на нее ею же самою.

Речь эта поразила Простака. Выше уже было замечено, что он, во всяком случае, обладал умом прямым и здравым. Заметив произведенное на него впечатление, присутствующие постарались поддержать его и смягчить еще более льстивыми словами; ему подали кой-какую на-

дежду. Известно, что при помощи этого средства люди обоих полушарий легче всего попадают в ловушку. Ему позволили даже повидаться с мадмуазель де Сент-Ив, успевшей, пока длился разговор, привести в порядок свой туалет.

О происшедшем не поминали. Тем не менее, огненный взгляд Простака, продолжавший метать искры попрежнему, невольно заставлял мадмуазель де Сент-Ив опускать глаза, поддерживая с тем вместе до некоторой степени тревожное настроение прочих присутствующих.

Нелегко было заставить Простака вернуться домой. Пришлось опять прибегнуть к помощи мадмуазель де Сент-Ив. Она, видимо, приобрела над ним неограниченную власть, но как раз это ей и нравилось. Она, правда, убедила его уйти, но, сделав это, осталась видимо огорченной.

Едва он удалился, аббат бывший не только братом мадмуазель де Сент-Ив, но также ее опекуном, задался серьезным вопросом, как уберечь ее в будущем от подобного рода попыток со стороны неистового воздыхателя. Он посоветовался с судьей, который, лелея надежду женить на красавице своего собственного сына, предложил поместить ее временно в монастырь. Можно себе представить, как поразило бедную девушку это решение.

Подобного рода мера вызвала бы громкий протест даже со стороны девушки, никого не успевшей полюбить. Примененная же к девушке влюбленной и при том столь же нежной,

сколь целомудренной, она могла довести до полного отчаяния.

Между тем Простак, вернувшись домой, рассказал со своим обычным чистосердечием дяде все, что с ним случилось. Само собою разумеется, ему пришлось при этом выслушать те же наставления, какие ему преподал аббат и которыми, если и был приведен в некоторый порядок его ум, то никак не чувства. На другой день, когда он вздумал снова отправиться к своей возлюбленной, чтобы по душе потолковать с ней о законах естественных и положительных, судья с оскорбительной радостью объявил ему, что красавица находится в монастыре.

— Ну, так что же? — возразил Простак. — Я отправлюсь к ней туда.

Судья принялся пространно ему доказывать, что это совершенно невозможно; что слово *couvent*<sup>1</sup> латинского происхождения и означает собрание или общежитие.

Гуронец никак не мог понять, почему он не имеет права посетить замкнутое общежитие; когда же из дальнейших объяснений догадался, что общежитие это не что иное, как тюрьма, куда запирали девушек, то взрыву его негодования пред таким возмутительным фактом, совершенно неведомым ни гуронцам, ни англичанам, уже решительно не было пределов. Сам великий патрон его Геркулес не испытывал такой ярости, когда Эхалийский царь Эврид, жестокий не менее аббата Сент-Ива, отказал ему

<sup>1</sup> Couvent—по-французски монастырь, от латинского *couventus*.

в руке своей дочери Иолы, не менее прелестной, нежели сестра аббата. В страшном гневе Простак объявил, что подожжет монастырь и при этом или похитит свою возлюбленную или сгорит с ней вместе. Мадмуазель де Керкабон, услышав такие страшные слова, более чем когданибудь пришла к убеждению, что сделать племянника субдиаконом не удастся ни ей, ни приору во веки веков. Ей приходила в голову даже ужасная мысль, не вселился ли в Простака после крещения вместо благодати дьявол.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Простак отражает англичан*

Однажды Простак гулял, погруженный в мрачную меланхолию, по морскому берегу, с ружьем на плече и широким кинжалом за поясом. Стреляя то здесь, то там попадавших птиц, он нередко серьезно задумывался, не застрелится ли ему самому. Но мысль о мадмуазель де Сент-Ив была в нем так сильна, что примиряла его с жизнью. Думая то о дяде с теткой, то обо всей Нижней Бретани и своем обращении, он порой огулом все это проклинал, а порой, напротив, благословлял, вспоминая, что только благодаря случившимся с ним событиям ему удалось сойтись с той, которую он полюбил. Возвращаясь иной раз к безумной мысли поджечь монастырь, он внезапно останавливался из боязни, как бы не сгорела при этом его возлюбленная. Волны Ламанша не волновались так при встрече западного и восточного ветров, как



волновалось его сердце при таких противоположных стремлениях.

Идя медленными шагами, сам не зная куда, он внезапно услышал треск барабанов и увидел толпу людей, из которых половина бежала к берегу, другая — прочь от него.

Громкие крики неслись со всех сторон. Подвигнутый любопытством, бросился он туда, где они раздавались всего сильнее и скоро врезался в толпу. Навстречу ему попался капитан милиции, с которым он как то раз ужинал у приора. Узнав Простака, капитан бросился к нему на шею с криком:

— Это он! Он будет драться за нас!

Милиционеры, из которых большинство были порядочные трусы, ободрились при этом виде и принялись кричать так же:

— Это он! Это Простак!

— В чем дело, господа? В чем дело? Чего вы так испугались? — спрашивал Простак, — не засадили ли ваших любовниц в монастырь?

— Англичане, англичане! — кричали ему в ответ.

— Англичане собираются произвести высадку.

— Ну, так что ж? — возразил гуронец. — Англичане народ честный и добрый. Никто из них никогда не предлагал мне сделаться субдиакonom и не похищал моей возлюбленной.

Капитан объяснил ему, что англичане собираются разграбить приорство Большой Горы, разбить погребя его дяди, и, может быть, похитить мадмуазель де Сент-Ив; что маленький их корабль, пристававший недавно к бретон-

ским берегам, имел целью лишь произвести рекогносцировку; что они начали военные действия без объявления войны французскому королю и что все побережье открыто для их грабительства.

— О, если так, — воскликнул Простак, — то значит они нарушают законы природы. Предоставьте мне уладить это дело. Я долго жил среди них, знаю их язык и потому могу с ними объясниться. Мне не верится, чтобы у них могли быть такие дурные намерения.

Английская эскадра между тем приблизилась. Гуронец бросился к берегу, и, сев в небольшую шлюпку, быстро причалил к адмиральскому кораблю. Вскрабавшись на палубу, он громогласно спросил, точно ли они приехали грабить страну, не объявив предварительно войны. Громкий смех адмирала и всей команды был ответом на этот вопрос. Простака угостили пуншем, усадили обратно в шлюпку и отправили во свояси.

Оскорбленный, он решил тогда обратить оружие против прежних друзей и храбро сражаться за своих соотечественников и приора. Соседние дворяне-помещики сбежались со всех сторон.

Простак присоединился к ним. Привезли несколько пушек. Он их зарядил, навел и выстрелил. Англичане продолжали высадку. Тогда он бросился в рукопашный бой, убил собственноручно трех человек и даже ранил посмеявшегося над ним адмирала. Смелость простака ободрила милиционеров. Неприятель был вынужден отступить, и скоро победный

крик: «Да здравствует король! Да здравствует Простаки!» огласил всю окрестность.

Все наперерыв спешили его обнять и поздравить, предлагали свои услуги, чтобы перевязать несколько полученных им легких ран.

Он же думал про себя:

«Ах, зачем здесь нет мадмуазель де Сент-Ив. Как восхитительно наложила бы она мне эти повязки своей рукой».

Судья, просидевший все время битвы в подвале своего дома, также явился выразить Простаку радостное приветствие по поводу его успеха.

Но каковы были его изумление и испуг, когда, найдя Простака в кружке самых бесшабашных молодых буянов, одушевленных победою, он услышал такую речь:

— Друзья мои. Мы отстояли аббатство Святой Горы, но это еще только половина дела. Теперь надо спасти заключенную в монастыре благородную девицу.

Разгоряченная толпа сорванцов опрометью бросилась к монастырю и, если б судья не успел наскоро дать знать местному коменданту о таком обороте дела, а тот не явился немедленно с внушительным отрядом солдат, то смелая попытка, пожалуй, увенчалась бы успехом.

Дело, однако, уладилось: Простака вернули домой, где дядя и тетка встретили его с распростертыми объятиями и потоком умильных слез.

— Вижу, — сказал дядя, — что не бывать тебе ни субдиаконом, ни приором. Судьба твоя

сделаться воином, таким же храбрым, но и таким же нищим, каким был твой отец.

Мадмуазель де Керкабон, нежно обнимая племянника, всхлипывала:

— Ведь тебя убьют, убьют, как убили твоего отца. Сделайся лучше субдиаконом.

Во время битвы Простак нашел на земле и поднял полновесный кошелек с гинейми, потерянный, как видно, самим адмиралом. Добыча эта вскружила ему голову, поселив в нем полную уверенность, что такой суммой можно купить всю Нижнюю Бретань и сделать мадмуазель де Сент-Ив знатной дамой.

На него со всех сторон посыпались советы немедленно ехать в Версаль, чтобы хлопотать о награде за совершенные им подвиги. Комендант и офицеры снабдили его письменными удостоверениями, дядя и тетка вполне одобрили этот план. Ему, по их мнению, следовало непременно представиться королю. Какой эффект произвело бы это в провинции. Добряки эти великодушно прибавили к приобретенной Простак сумме кое что из собственных сбережений.

А Простак в это время рассуждал, что представляясь королю, от тотчас же потребует в награду руку мадмуазель де Сент-Ив и, уж конечно, не получит отказа в этой просьбе.

Уехал он при единодушных пожеланиях успеха, напутствуемый всеобщими объятиями, благословениями дяди, слезами тетки и полный самых радужных мечтаний о мадмуазель де Сент-Ив.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Простак отправляется ко двору. В пути он'  
ужинает с гугенотами*

Простак ехал через Сомюр в почтовой карете, потому что иных способов путешествия тогда не было. Достигнув Сомюра, он очень удивился, найдя город наполовину пустым и заметив, что из оставшихся жителей многие равным образом собирались в дорогу. На расспросы его ему ответили, что лет пять-шесть тому назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч жителей, теперь же не осталось и шести. Разговор по этому предмету Простак возобновил в гостинице, где остановился и где сидело за столом несколько протестантов. Некоторые горько жаловались, другие раздражались проклятиями, приговаривая со слезами:

... Nos dulcia linquimus arva,  
Nos patriam fugimus.

Простак по латыни не разумел; когда же ему перевели эти слова, то он узнал, что они значили: «Мы покидаем наши прекрасные поля, мы покидаем наше отечество».

— А почему, господа, вы покидаете ваше отечество? — спросил Простак.

— Потому что нас заставляют признать папу, — было ответом.

— Отчего же вам его не признать? Каждому из вас может притти охота жениться на своей крестной матери, а я слышал, что один только папа может устроить подобный брак.

— Ах, сударь. Папа хочет забрать в свои руки владения всех королей.

— А кто такие вы сами?

— Мы почти все фабриканты сукон.

— Ну о чем же вы горюете? — возразил Простак. — Если бы папа вздумал захватить ваши сукна, то ваш отказ признать его был бы понятен, а так как он имеет дело до короля, то к чему же вам путаться в их дела?

Один из собеседников, маленький, одетый в черное человечек, стал докторальным тоном объяснять причину общего недовольства. Он красноречиво заговорил об отмене Нантского эдикта, описав так трогательно участь пятидесяти тысяч семейств, подвергшихся изгнанию, и такого же числа других, насильно обращенных с помощью драгунов, что Простак, слушая его, невольно прослезился.

— Как же, — молвил он, — могло случиться, что такой великий государь, слава которого дошла даже до земли гуронцев, добровольно лишил себя этого множества сердец, искренно ему преданных и служивших ему с полным усердием?

— Его обманули, — ответил говоривший, — обманули точно так же, как и всех прочих королей. Его уверили, будто ему стоит сказать слово, чтобы заставить всех думать как думает он, и что мы по его приказу переменим веру так же легко, как его музыкант Люлли меняет оперные декорации. Он не только потерял более пятидесяти тысяч своих самых верных подданных, но превратил их в своих врагов. Король Вильгельм, царствующий теперь в Англии,

навербовал из этих французов несколько превосходных полков, которые иначе сражались бы за Францию.

— Прискорбное это событие, — продолжал говоривший, — тем более удивительно, что тот папа, ради которого король Людовик XIV пожертвовал такой значительной частью своих верных подданных, сам его первейший враг. Страстная ненависть между ними длится уже целых девять лет. Дело доходило до того, что Франция надеялась даже, что бремя тех цепей, которыми она окована в течение стольких веков этим чужеземцем, будет, наконец, сброшено, и что в карман его перестанут сыпаться ее деньги, — этот всеобщий двигатель дел всего мира.

«Повидимому, великому государю были представлены в ложном свете его собственные интересы, ложно истолкована степень его власти, и хитро поставлен предел чувству его великодушия».

Простак, в высшей степени расстроганный, спросил, кто же были те французы, которые решилась так бесстыдно обмануть монарха, почитаемого даже гуронцами.

— Иезуиты, — было сказано в ответ, — и в особенности отец Ла-Шэз, духовник его величества. Надо уповать, что придет для них день кары божьей и что они будут изгнаны точно так же, как теперь изгоняют нас. Наше горе несравнимо ни с чем. Лувуа окружил нас иезуитами и драгунами со всех сторон.

— Если так, — сказал, наконец, Простак, не будучи в силах сдерживать свое волнение, —

то знайте, что я еду в Версаль хлопотать о награде за мои услуги и обещаю поговорить там с вашим Лувау. Я слышал, что будто все войны, которые нас разоряют, сочиняет он один, сидя в своем кабинете. Я повидаюсь также с королем и открою ему глаза. Невозможно себе представить, чтоб он не направил дела по правде, когда увидит эту правду воочию. А затем я вернусь, чтобы жениться на мадмуазель де Сент-Ив, и приглашаю вас всех на свадьбу.

Услыша это, некоторые из присутствующих остались в уверенности, что имеют дело с каким нибудь важным лицом, путешествующим инкогнито. Другие же склонялись более к предположению, что их просто хотел подурочить королевский шут.

В числе присутствующих сидел переодетый иезуит, шпион преподобного отца Ла-Шэза, отдавший ему отчет обо всем, что видел и слышал, так же как отец Ла-Шэз доносил о всем Лувау. Письмо с подробным описанием сказанного за столом полетело вслед за отъездом Простака и прибыло в Версаль одновременно с ним.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

#### *Приезд Простака в Версаль и его прием при дворе*

Экипаж, доставивший Простака из Парижа в Версаль, остановился на кухонном дворе. Увидя несколько стоявших тут носильщиков портшезов, Простак спросил, в котором часу можно будет увидеться с королем. Носиль-



щики, вытаращив глаза, подняли его на смех, по примеру английского адмирала. Простак их поколотил. Они собрались ответить тем же, так что сцена угрожала кровопролитием. На счастье, мимо проходил бретонский офицер, начальник гвардейского отряда, разогнавший нахалов.

— Вы, сударь, — сказал обращаясь к нему Простак, — кажется мне порядочным человеком. Я племянник приора аббатства Святой Горы, сражался с англичанами и явился сюда с целью увидеться с королем и потому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой провести меня к нему в кабинет.

Офицер, обрадовавшись такой внезапной встрече с земляком, не заметив, что тот, как провинциал, совершенно не знает придворных порядков, поспешил разъяснить, что видеть короля совсем не так легко и что для беседы с ним надо быть ему представленным через господина Лувуа.

— Ну, так сведите меня, — возразил Простак, — к господину Лувуа, а он представит меня королю.

— Это еще труднее, чем представиться королю, — был ответ, — но я сведу вас к господину Александру, старшему делопроизводителю. Поговорить о деле с ним все равно, что поговорить с Лувуа.

Они отправились к господину Александру, но не были им приняты, потому что занятый очень важным делом с какой то придворной дамой, он не велел никого принимать.

— Ну, не беда, — ободрил Простака его но-

вый знакомый. — Мы пойдем к секретарю господина Александра. Переговорив с ним, вы обделаете свое дело точно так же, как если бы говорили с его начальником.

Удивленный Простак отправился, куда его вели. Оба просидели полчаса в какой-то тесной передней.

— Что же это? — сказал наконец, не выдержав, Простак. — Неужели здесь все невидимы? Я начинаю думать, что разбить в Бретани отряд англичан гораздо легче, чем добиться в Париже возможности увидеть людей, до которых имеешь дело.

Со скуки он начал рассказывать своему собеседнику о своих любовных похождениях, но пробившие часы отозвали офицера к его посту. Они обещались сойтись на другой день. Простак, оставшись один, стал мечтать о мадмуазель де Сент-Ив, чередуя эти мысли рассуждениями; почему так трудно добиться в Париже свидания с официальными лицами.

Секретарь вскоре появился.

— Если б я, сударь, — сказал ему Простак, — заставил англичан ждать себя столько времени, сколько благодаря вам прождал здесь, то они успели бы разграбить всю Нижнюю Бретань.

— Кто вы такой и чего вы хотите? — спросил изумленный подобной речью секретарь.

— Хочу получить награду, — ответил Простак и, сказав это, подал свои удостоверительные свидетельства. Секретарь внимательно их прочел и объявил просителю, что в виду сообщенного, вероятно ему будет разрешено купить себе чин лейтенанта.

— Что-о-о? — воскликнул Простак. — Будет разрешено заплатить мои же деньги за то, что я дрался с англичанами? За то, что шел на смерть, в то время как вы, спокойно сидя здесь, давали ваши аудиенции? Мне кажется, вы надо мной смеетесь. Я хочу получить под команду кавалерийскую роту. Требую, чтоб король освободил из монастыря мою невесту мадмуазель де Сент-Ив и разрешил мне на ней жениться. Да, сверх того мне надо поговорить с королем о пятидесяти тысячах его подданных, которых я намереваюсь возвратить под его скипетр. Словом, я хочу быть полезным и для этого требую, чтобы мне дали должность и власть.

— Кто вы такой, сударь, говорящий столь громко? — крикнул изумленный более прежнего секретарь.

— Кто я такой? — крикнул таким же голосом Простак. — Да разве вы не прочитали моих свидетельств? Вот значит, как здесь на них смотрят. Мое имя Геркулес Керкабон. Я крещен и живу в гостинице Голубого Циферблата. А на вас я буду жаловаться королю.

Секретарь заключил, как и Сомюрские граждане, что Простак не в полном уме, и перестал им интересоваться.

В тот же день преподобный отец Ла-Шэз, духовник его величества короля Людовика XIV, получил от своего шпиона письмо, в котором бретонец Керкабон обвинялся в преступном единомыслии с гугенотами и оскорбительных суждениях об иезуитах Лувуа \* также был прислан донос от любознательного судьи с подробным описанием злодейского умысла Про-

стака поджечь монастырь и похитить его обитательниц.

А Простак, нагулявшись между тем вдоволь по аллеям версальских садов, показавшихся ему необыкновенно скучными, и поужинав с аппетитом гуронским и бретонским, спокойно уснул, не теряя блаженной надежды увидеться на другой день с королем, получить руку мадмуазель де Сент-Ив, сделаться командиром кавалерийской роты и прекратить преследование гугенотов.

Убаюканный этими мечтами, он внезапно проснулся и увидел, что комната его была полна вооруженной стражей, заботливо захватившей прежде всего его двустольное ружье и большую саблю. Затем была сделана опись найденных денег, прочего имущества и, в заключение, самого Простака повезли под крепким конвоем в замок \* построенный королем Карлом V, сыном Иоанна II, близ Турнельских ворот и предместья св. Антония.

Каково было изумление Простака при виде всех этих событий — предоставляется судить читателям.

Все происшедшее показалось ему сначала сном, и он довольно долго оставался в каком-то полузабытьи, но затем бешено рванулся, схватил с невероятной силой двух, сидевших с ним в карете полицейских за горло, вышвырнул их сквозь дверцы вон и, выскочив вслед за ними, сбил с ног третьего, хотевшего его удержать, но потерял равновесие и упал на землю. Его немедленно схватили, связали и втолкнули снова в карету.

«Ну, — думал он задыхаясь, — вот вам и награда за то, что я прогнал из Нижней Бретани англичан. О, прекрасная Сент-Ив. Что случилось бы с тобою, если бы ты увидела меня в таком положении?»

Его привезли, наконец, к месту назначения и там в полном молчании снесли на руках, как покойника, в камеру, которую ему предстояло занять.

Оказалось, что в ней уже был заперт старый отшельник из Пор-Рояля, \* по имени Гордон, который томился в заключении более двух лет.

— Вот вам товарищ, сказал один из стражей, — вталкивая Простака в комнату. Дверь была после этого немедленно заперта огромным замком с засовом. Заключенные остались отделенные от всего мира.

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

##### *Простак заперт в Бастилии с янсенистом*

Гордон был еще свежий, здоровый старик, обладавший двумя великими качествами: он безропотно сносил горе сам и в то же время умел утешать в нем других. Дружелюбно встретив Простака, он нежно обнял его и затем сказал:

— Кто бы вы ни были, явившийся разделить со мною мою могилу, будьте уверены, что, живя в этом проклятом месте, я буду всегда гораздо меньше думать о себе, чем о вас. Потому

возблагодарим провидение, сведшее нас вместе и будем жить в мире, лелея надежду на лучшее будущее.

Слова эти произвели на Простака действие успокоительных капель, помощью которых открывает глаза и возвращается вновь к жизни обмерший.

Когда они обменялись первыми приветствиями, Гордон, благодаря своему спокойному характеру и тому невольному влечению, которое всегда рождается между несчастными, вошел настолько в доверенность Простаку, что тот облегчил свое сердце, рассказав ему о причине своих бед.

Гордону, однако, эта причина вовсе не показалась столь важной, так что он даже изумился отчаянию Простака.

— Надо думать, — сказал он, выслушав его повесть, — что бог предназначил вас для чего-нибудь необыкновенного. Промысл его, устроив ваше путешествие с берегов озера Онтарио в Англию и оттуда во Францию, определил, чтоб вы были окрещены в Бретани, и затем привел вас для спасения вашей души, сюда.

— Мне кажется, — возразил Простак, — что напротив, все это было скорее делом дьявола. Мои соотечественники, американцы, никогда не поступили бы со мною столь варварским образом, как поступают здесь. О подобных делах в их стране не может быть и речи. Их называют дикарями. Положим, нравы их, действительно, грубы; но зато здешних людей надо в полном смысле слова назвать утонченными мошенниками. Тот факт, что я прибыл из Нового

Света в Старый лишь только за тем, чтобы быть запертым здесь под семью замками со священником, поистине изумителен; но, если рядом с этим фактом поставлю еще некоторые другие, например, когда люди переплывают из одного полушария земли в другое, чтобы резать друг другу горло, тонут нередко в пути и достаются в добычу рыбам, то, признаюсь, я никак не могу увидеть в подобного рода делах благости допускающего их провидения.

Заключенным подали через форточку обед. Беседа продолжалась попрежнему о провидении, об арестах без суда и об искусстве не падать духом под гнетом неподвижных несчастий, которым может подвергнуться в этом мире всякий.

— Вот уже два года, — сказал старик, — как я сижу здесь без всякого утешения, кроме того, которое черпаю в моих книгах, и при этом ни разу не пал духом.

— Ах, господин Гордон! — воскликнул Простак, — это потому что вы никогда не были влюблены в вашу крестную мать. Вот, если бы вы увидели прелестную Сент-Ив, то поняли бы всю глубину моего отчаяния.

Сказав это, он не мог удержать рыданий. Слезы его облегчили.

— Странно, — заметил Простак, — почему слезы оказывают такое благое действие в томящей нас скорби. Кажется, наоборот, они должны бы были отягчать ее еще более.

— Это, мой сын, — возразил старик, — потому, что наш дух тесно слит с нашим физическим началом. Облегчаясь физически, мы, вме-

сте с тем, облегчаемся и духом. Мы не более, как машины, созданные провидением.

Простак, обладавший, как уже не раз было замечено, весьма здравым умом, погрузился в размышления об этом предмете, суть которого, как ему казалось, он не раз чувствовал сам. После этого он спросил своего товарища, по какой причине его машина томится за семью замками в течение двух лет.

— Из-за вопроса о действительной благодати, — ответил Гордон. — Меня считают янсенистом. Я был знаком с Арно и Никодем, \* иезуиты подняли гонение против нас. Мы проповедывали, что папа не более, как простой епископ, подобный всем прочим, и вот за это преподобный отец Ла-Шэз выхлопотал у короля, своего духовного сына, приказ, в силу которого меня лишили без всякого суда драгоценнейшего достоинства людей — свободы.

— Странно! — заметил на это Простак. — Оказывается, что все попавшие в беду люди, каких я только успел до сих пор встретить в вашей стране, обязаны этой бедой папе! Что касается действительной благодати, то, признаюсь, я ничего не смыслю в этом; но считаю великой благодатью то обстоятельство, что бог позволил мне среди моих несчастий встретить человека, проливающего в мое сердце утешение, к которому я считал себя уже неспособным.

Беседы их становились интереснее и поучительнее с каждым днем, и они все более привязывались друг к другу. Старик много знал, а молодой человек жаждал многому научиться. В какой-нибудь месяц он сделал значительные



успехи в геометрии. Наука эта понравилась ему чрезвычайно. Гордон познакомил его с основами физики по руководству Рого, которое было тогда еще в моде. Простак нашел, что в нем нет ничего, кроме неопределенностей.

Затем прочел он первый том «Розысканий истины». \* Ум его озарился новым светом.

— Как! — воскликнул он. — Возможно ли, чтобы наше воображение и чувства обманывали нас до такой степени?! Ум не дает нам никакого понятия об объектах, а создать себе это понятие сами мы не можем...

Когда он прочел второй том этого сочинения, то восхищение его несколько уменьшилось, и он понял, что разрушать легче, нежели созидать.

Его собеседник, удивленный, что к такому разумному заключению, доступному лишь для опытных людей, пришел незрелый юноша, проникся еще большим уважением к уму Простака и привязался к нему еще сильнее.

— Мне кажется, — сказал Простак старик, — что ваш Мальбранш написал одну половину своей книги умом, а другую воображением, испорченным предассудками.

Через несколько дней Гордон спросил:

— Что же вы думаете о душе, о способе, каким мы получаем наши идеи, о благодати и о свободе воли?

— Ничего, — отвечал Простак, — я склоняюсь к мысли, что мы, как звезды и вся вселенная, состоим во власти верховного существа, делающего с нами все, что оно захочет. Существо это — душа огромной машины, назы-

ваемой вселенной: мы же в ней ничтожные колеса. Машина эта действует для какой-то единой общей цели и нисколько не заботится об участи отдельных составляющих ее частиц. Вот что мне кажется вполне ясным, а все остальное для меня потемки.

— Но, сын мой, — возразил старик, — ведь это значит говорить, что бог есть виновник греха.

— Но, отец мой, ваша действенная благодать тоже делает бога виновником греха, ибо несомненно, что все те, кому отказано в этой благодати, вынуждены грешить; а разве тот, кто предает нас власти зла, не является виновником зла?

Как ни наивны были такого рода возражения, они ставили старика до того втупик, что он решительно не знал иной раз, как выбраться из этого лабиринта.

Сколько ни придумывал он хитросплетенных объяснений, все они разбивались прямолинейными ответами его собеседника, так что, наконец, Простака почувствовал к нему даже сожаление.

Прения эти имели, однако, ту хорошую сторону, что, споря, они забывали хоть немного свое тяжелое положение, и приходя, сверх того, к убеждению, что страдает весь мир, удерживались от слишком горьких жалоб на собственное горе.

Но когда по ночам образ прелестной мадам-азель де Сент-Ив, представляясь воображению Простака, прогонял эти моральные и метафизические идеи, он плакал, и плакал горько. До-

брый Гордон при виде этого забывал учение о благодати аббата Сен-Сирана и Янсения, и всеми силами старался утешить бедного молодого человека, которого считал увязшим в сетях смертного греха.

Начитавшись и наговорившись вдосталь о подобного рода предметах, они нередко принимались рассказывать друг другу свои житейские похождения; когда же утомлялись и этим, то начинали читать что-нибудь вместе или каждый про себя.

Ум Простака развивался все более и более с каждым днем. Он в особенности чувствовал склонность к математике и, наверное, пошел бы в этой науке далеко, если бы образ мадмуазель де Сент-Ив не отвлекал его от серьезных занятий.

Он прочел также несколько исторических сочинений. Под впечатлением их мир казался ему крайне жалким и ничтожным. История, воистину, — не что иное, как картина несчастий и преступлений. Она никогда не изображает толпу тех мирных, безобидных людей, из которых состоит большинство человечества. Герои ее — развращенные властолюбцы. Можно смело сказать, что история, подобно трагедии, бывает интересна лишь в том случае, если изображает неистовые страсти, беды и преступления. Музу Клио следовало бы вооружить кинжалом, как Мельпомену.

История Франции изобилует ужасами не менее всякой другой. Но Простак не нашел ее даже интересной. Начало казалось ему отвратительным, середина — сухой, а конец —

ничтожным, не исключая даже эпохи Генриха IV. \*

Полное отсутствие в ней каких-либо великих дел и тех блестящих открытий, какими прославились другие нации, произвело на него впечатление такой скуки, что он должен был принудить себя насильно дочитать описание этих темных дел, совершавшихся в маленьком уголке вселенной.

Гордон в этом случае разделял его взгляды. Оба неудержимо смеялись, читая о деяниях властителей Фезензака, Фезанзагета и Астарака. \* Рассказы о них годились бы разве лишь для их наследников, если бы таковые имелись. Славные века римской республики заставили Простака забыть на некоторое время все, что делалось в других краях мира. Рим, повелитель и законодатель народов, привел его в восторг. Сердце его загоралось энтузиазмом при мысли об этом народе, прожившем семь веков под ореолом свободы и славы.

Так незаметно протекали дни, недели, месяцы.

Простак иной раз мог бы считать себя счастливым даже в этом месте отчаяния, если бы его добрая душа не переполнялась грустью о дяде, приоре Святой Горы и добросердечной мадмуазель де Керкабон.

«Что подумают они, — часто повторял он себе, не получая от меня так долго никаких известий. Они сочтут меня неблагодарным».

Мысль эта его мучила. Он сокрушался о горе любивших его людей больше, чем о своем собственном.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Ум Простака продолжает развиваться*

Чтение возвышает душу, а просвещенный друг ее успокаивает. Наш пленник имел оба эти блага, спасительного действия которых прежде и не подозревал. «Я, — говорил он, — готов уверовать в переселение душ, видя, как явно сам превращаюсь из зверя в человека».

Он успел составить себе небольшую библиотеку, употребив на это ту часть денег, которая была оставлена в его распоряжении. Гордон советовал ему излагать свои размышления письменно. Вот заметка, которую он составил о древней истории:

«Мне кажется, что народы долго жили в таком положении, в каком жил и я. Развитие их, подобно моему, началось очень поздно. Живя одним только настоящим, они мало думали о прошедшем, а о будущем не думали совсем. Я исходил Канаду вдоль и поперек и не встретил ни одного памятника. В стране этой никто не знает, чем были и что делали его предки. Не это ли состояние людей следует называть естественным? Жители здешнего континента кажутся мне стоящими на несравненно более высокой степени развития. Они раздвинули границы своей жизни, изучая то, что произвели наука и искусство в веках прошедших. Неужели это произошло только потому, что они одарены от природы бородой, тогда как американским племенам бог в этом украшении отказал? Не думаю! Ведь я вижу, что китайцы также почти не

имеют бород, а между тем занимаются искусствами уже более пяти тысяч лет. Летописи этого народа, захватывающие период в четыре тысячи лет, доказывают ясно, что цивилизация страны насчитывает, по крайней мере, пятьдесят столетий. История Китая изумляет меня всего более тем, что в ней все просто и естественно, без всякой примеси баснословных легенд.

«Я решительно не понимаю, почему все прочие народы непременно приплетают к началу своей истории какой-нибудь мифический рассказ? Летописцы Франции — страны сравнительно даже не очень древней — производят французов от Франкуса, сына Гектора. \* Римляне уверяют, будто родоначальником их был какой-то фригиец, хотя в языке их нет ни одного слова, в котором можно было бы заподозреть фригийский корень. Боги, по уверению египтян, жили десять тысяч лет в их стране, а скифы оказывали в течение такого же времени гостеприимство дьяволам, от которых родились гунны. Вообще вся история до Фукидида \* представляется мне романом вроде Амадиса \* и при том романом, далеко не столь интересным. Это какая-то пустая болтовня о видениях, оракульских предсказаниях, чудесах, чародействах, превращениях, и пророческих снах, предсказывающих судьбы государств, как больших, так и малых. В одной сказке скоты являются обладающими даром слова; в другой их обоготворяют; здесь боги делаются людьми, там люди — богами. Ах, если нам уж так необходимы басни, то пусть эти басни будут хоть

эмблемами истины. Басни философские мне нравятся, детские меня забавляют, но сказки, которыми обманщики ловят людей в свои сети, для меня отвратительны».

Однажды Простак прочел рассказ из времен Юстиниана \* о том, что константинопольские апедевты \* сочинили на сквернейшем греческом языке обвинительный акт против величайшего полководца своего времени. Вина его заключалась в том, что в жарком разговоре у него вырвалась фраза: «Истина сияет только собственным светом. Умы людей нельзя просветить никакими кострами». Апедевты увидели в этих словах ересь, ссылаясь на то, что их собственное ортодоксальное (а потому вселенное и греческое) учение утверждало нечто совершенно противоположное, а именно. «Умы людей просвещаются только помощью костров. Истина собственным светом озарить не может». Многие речи славного полководца были опровергнуты точно таким же способом, и в результате появился обвинительный против него эдикт.

— Как! — воскликнул прочтя это Простак. — Неужели так писались императорские эдикты?..

— Это был контр-эдикт, — возразил Гордон, — над которым смеялся весь Константинополь, с императором во главе. Это был мудрый государь, умевший направить на добрый путь даже апедевтов-линостолов. Он знал, что эти люди испытывали своими приговорами терпение не его одного, но и его предшественников, в вопросах гораздо более важных.

— Он очень мудро поступил, — сказал на это Простак, — Бывает иногда, что апедевтов сле-

дует даже поддержать, лишь была бы власть обуздать их в других случаях.

Простак часто набрасывал письменно заметки, из которых многие приводили Гордона в изумление.

«Вот уже пятьдесят лет, — думал про себя старик, — как я начал серьезно учиться, а между тем, вижу, что это простое дитя природы часто опережает меня своим здравым смыслом. Предрассудки нередко мешают мне решать затрудняющие меня вопросы, а он легко разрешает их, слушаясь голоса одной природы».

В библиотеке Гордона было несколько тех ничтожных критических сочинений, печатаемых обыкновенно в повременных изданиях, в которых бездарные писаки стараются всеми силами унижить талантливых людей. Простак прочел несколько из этих памфлетов и сравнил авторов их с теми комарами, которые кладут яйца под хвосты великолепных коней, чем нимало не стесняют их гордого бега. Наши друзья, впрочем, занимались этими постыдными отбросами литературы очень недолгое время. Они прочитали вместе руководство по астрономии. Величественное зрелище небесных сфер привело Простака в восторг.

— Как горько, — говорил он, — постигнуть величие неба лишь с той минуты, когда тебя лишили возможности им любоваться. Юпитер и Сатурн текут в лучезарном величии по своим орбитам. Миллионы солнц освещают миллиарды миров, а здесь, в темном уголке земли живут люди, лишаящие меня, — разумное и просвещенное существо — возможности видеть все эти



миры, включая и тот, на котором я, по воле бога, родился. Свет, созданный для всех, не существует для меня. А между тем никто не мешал мне им пользоваться в тех северных странах, где протекли мое детство и юность. Без вас мой добрый Гордон, я превратился бы в полное ничтожество!

#### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

##### *Как судил Простак о театральных пьесах*

Простак походил на те богатые растительной силой деревья, которые, развиваясь очень медленно, пока сидят в бесплодной почве, вдруг распускают корни и ветви во все стороны, едва их пересадят в более плодородный грунт. Довольно странно, что для него роль этого грунта сыграла тюрьма.

В числе книг, развлекавших наших друзей, было несколько сборников стихов, а также несколько переводных греческих трагедий, равно как французских театральных пьес. Стихи, в которых воспевались любовь, возбуждали в душе Простака одновременно и радость и грусть. Они напоминали ему мадмуазель Сент-Ив. Басня о двух голубях пронзила его сердце. Он чувствовал, как трудно будет ему вернуться в родную голубятню.

Мольер привел его в восторг. По его сочинениям он изучил нравы Парижа и всего людского рода.

— Которую из пьес почитаете вы наилучшей? — спросил Гордон.

— Без сомнения «Тартюфа», — отвечал Простак.

— И я тоже, — согласился старик. — Я попал в тюрьму благодаря именно одному из таких Тартюфов и уверен, что какой-нибудь его собрат виновен и в вашей беде.

— А какого вы мнения от греческих трагедиях? — спросил он далее.

— Я думаю, — отвечал Простак, — что они были хороши для греков.

Зато прочитав современные «Ифигению», «Федру», «Андромаху», и «Гофолию»,\* он пришел в совершенный восторг и пролил не мало слез. Он выучил эти пьесы наизусть как-то невольно, не употребив на то никаких усилий.

— Прочитайте «Родогуну», — посоветовал Гордон, — пьеса эта считается образцовой. Прочие трагедии, которыми вы так восхищаетесь, ничто перед этой.

Начав чтение, Простак после первых же страниц заметил, что пьеса наверно сочинена другим автором.

— Почему вы так думаете? — спросил старик.

— Не знаю, — отвечал Простак, — но стихи эти как-то ничего не говорят ни моему слуху, ни сердцу.

— Но, ведь это только стихи, — заметил Гордон.

— В таком случае, зачем же писать такие стихи? — возразил Простак.

Он, тем не менее, внимательно прочел трагедию до конца, вознамерившись испытать удовольствие во что бы то ни стало; но, кончив, все-таки посмотрел на своего друга сухими глазами и удивленным взглядом, не зная что ска-

зять. Наконец, побуждаемый выразить во всяком случае свое мнение, — он промолвил:

— Начала сочинения я не понял, середина меня возмутила, конец меня тронул, но показался мне все-таки неправдоподобным. Из выведенных лиц меня не заинтересовало ни одно, и я из всей трагедии не запомнил наизусть даже двадцати стихов, хотя заучиваю очень легко те, которые мне нравятся.

— Однако, — заметил Гордон, — пьеса эта считается лучшей во всей нашей литературе.

— Если так, — возразил Простак, — то быть может, это случилось в силу того же обстоятельства, по которому мы нередко видим, как высшие места занимаются людьми, далеко того не стоящими. Во всяком случае, это дело вкуса, и может быть, мой вкус не развит еще в достаточной степени; поэтому я могу ошибаться. Но вы ведь знаете, что я всегда говорю то, что чувствую. Я склонен думать, что общественное мнение очень часто произносит свои приговоры под влиянием фантазии, моды или каприза; я же говорю то, что мне подсказывает мой природный здравый смысл. Очень может быть, что он у меня очень несовершенен; но мне кажется, что большинство людей часто произносят свое суждение, вовсе не справляясь с этим советником.

Тут он прочитал несколько стихов из «Ифигении», которыми была полна его душа. Хотя он декламировал не слишком хорошо, но все же заставил плакать старого янсениста. Затем он прочитал отрывок из «Цинны»; он не плакал, хотя и восхищался.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

*Прелестная Сент-Ив едет в Версаль*

Описав, как наш узник утешался в горестях заключения развитием ума, обнаружившего, после блуждания во мраке столь блестящие способности, пора нам взглянуть, что делали в это время добросердечный приор, его сестра и прекрасная затворница Сент-Ив. В конце первого месяца они стали беспокоиться, а по истечении трех месяцев беспокойство их превратилось уже в тревогу, граничившую с отчаянием. Всевозможные предположения, основанные на ложных слухах, делались без конца. Через полгода явилось даже страшное подозрение, что Простака нет более в живых. Наконец, приор и его сестра узнали из письма, присланного в Бретань одним офицером королевской гвардии, что какой-то молодой человек, по описанию похожий на Простака, приехал однажды в Версаль, но затем в ту же ночь исчез неизвестно куда, после чего о нем не было ни слуху, ни духу.

— Увы! — повторяла мадмуазель де Каркабон. — Племянник, наверно, сделал какую-нибудь глупость, за которую пришлось расплачиваться. Он молод, он бретонец и потому, конечно, не имеет никакого понятия о том, как следует вести себя при дворе. Знаешь, милый брат, я никогда не бывала ни в Париже, ни в Версале. Вот прекрасный случай нам туда съездить. Может быть, нам удастся отыскать там нашего бедного мальчика! Ведь он — сын твоего брата, и потому помочь ему — наш святой долг. Как

знать, может быть, нам и удастся сделать из него субдиакона, когда улягутся в нем увлечения молодости. У него большое расположение к наукам. Ты помнишь, как он рассуждал о Ветхом и Новом завете? А ведь мы ответственны за его душу. Он окрещен нами. Возлюбленная его Сент-Ив плачет день и ночь. Наша поездка в Париж решительно необходима. Если он попал там в один из тех гнусных веселых домов, о которых мне так много рассказывали, то мы сумеем его образумить и спасти.

Эта речь тронула приора. Он отправился к епископу Сен-Мало, крестившему Простака, прося благословения и совета. Епископ вполне одобрил план предположенного путешествия и снабдил приора рекомендательным письмом к отцу Ла-Шэзу, духовнику короля, занимавшему один из важнейших постов во всем государстве. Такие письма получил приор к парижскому архиепископу Гарлею и епископу города Мо — Боссюету. \*

Наконец, брат и сестра уехали, но, по прибытии в Париж, почувствовали себя как бы заблудившимися в лабиринте. Денежные их средства были ничтожны, а между тем для поисков приходилось нанимать каждый день карету. В конце концов, они не нашли ничего.

Приор отправился представиться почтенному отцу Ла-Шэзу; но государственный муж был в этот час занят с девицею Трон и не мог давать аудиенций приорам. Архиепископ Гарлэй тоже совещался о каких-то церковных вопросах с госпожею Ледигьер. Приор поехал, наконец, в загородный дом епископа города Мо, но и тут

получил ответ, что прелат рассматривает вместе с девицей Молеои новое сочинение госпожи Гюйон «О мистической любви» и тоже никого не принимает. После долгих скитаний ему, впрочем, удалось, наконец, кое-как добиться свидания с поименованными лицами и изложить им свою просьбу. Оба, точно сговорившись, ответили ему, что не могут вмешиваться в это дело, поскольку племянник приора не носит звания субдиакона. Приор решил, наконец, посоветоваться с иезуитами. Первый из этих почтенных с распростертыми объятиями, уверяя, что почувствовал к нему необыкновенное расположение с первого взгляда. Он клялся, что святой орден всегда с особенной любовью покровительствовал бретонцам.

— Но скажите, любезный приор, ведь ваш племянник не гугенот? — был вопрос.

— О, нет, почтенный отец, — ответил приор.

— И не янсенист?

— Еще того менее. Он даже едва христианин, потому что мы его окрестили всего одиннадцать месяцев тому назад.

— Вот это хорошо! Вот это хорошо, — забормотал иезуит, — поверьте, что мы о нем позаботимся. А что, скажите, приорство ваше дает вам порядочный доход?

— Ничтожный, почтенный отец. Племянник стоит мне очень дорого.

— Нет ли, скажите, янсенистов в вашем околке? Берегитесь их, любезный приор, берегитесь. Эти люди опаснее всех гугенотов и атеистов вместе взятых.

Приор уверил его, что в приорстве Святой Горы не слыхивали даже, что такое янсенизм.

— Ну, тем лучше, — торопливо ответил иезуит, — а теперь прощайте и верьте, что я готов сделать для вас все, что вы пожелаете!

С этими словами он учтиво захлопнул за приором дверь и больше о нем не вспоминал.

Так бесполезно протекало время. Бедный приор и его сестра были в полном отчаянии.

Между тем, проклятый судья все еще лелеял затаенную мечту устроить брак своего болвана сына с прекрасной Сент-Ив, которую нарочно для этой цели выпустили из монастыря.

Она попрежнему любила своего милого крестника и попрежнему не терпела того, кто предназначался ей в мужья. Ненависть эта еще более усиливалась чувством глубокой обиды, нанесенной ей ее заточением.

Когда же ей стали еще усиленно надоедать проектом упомянутого брака, доходя почти до угроз, терпению ее пришел конец. Любовь, горе и отвращение поднялись в ней с неодолимой силой и подвигли действовать во что бы то ни стало. А ведь известно, что энергия молодой девушки, да еще любящей, выражается, наверно, с большею решительностью, чем чувство родственной привязанности в старом приоре и его сестре, тоже переступившей почтенный сорокапятилетний возраст. Сент-Ив почерпнула запас решимости еще в том, что успела прочесть тайком, во время своего пребывания в монастыре, несколько романов.

Она хорошо помнила, что относительно судьбы ее жениха было получено от одного из

королевских гвардейцев какое-то письмо, о котором говорили во всем околотке.

Она вознамерилась сама отправиться в Версаль и там, бросившись к ногам министра добиться правосудия, в случае, если Простак находится в тюрьме. Какой-то тайный голос шептал ей, что хорошенькой женщине ни в чем не откажут при дворе, но она только не подозревала, какой ценой придется заплатить за это счастье.

Твердо решив исполнить свое намерение, она несколько пришла в себя и утешилась и в такой мере овладела собой, что стала даже наружно любезна со своим братом аббатом, с глупым нареченным женихом и его противным родителем. Нравственная атмосфера в доме, повидимому, прояснилась. Но в день, назначенный для свадьбы, невеста, в четыре часа утра, внезапно исчезла со всеми свадебными подарками и всем, что могла захватить. Бегство было задумано и исполнено так хитро и ловко, что, когда домашние вошли в покинутую комнату, беглянка находилась уже далеко, далее, чем за десять лье. Удивление и скандал были неописуемые. Судья потерялся в своих нескончаемых распросах, как в лабиринте, наделав их в этот день больше, чем обычно за целую неделю. Жених превзошел глупыми выходками самого себя. Аббат Сент-Ив в неистовом гневe решил преследовать и догнать убежавшую во что бы то ни стало. Судья с сыном изъявили твердое намерение ему сопутствовать и, таким образом, волей судьбы, в Париж переселился почти целый Нижне-Бретонский кантон.



Прекрасная Сент-Ив хорошо понимала, что погоня за ней будет непременно. Продолжая верхом свой путь, она осведомлялась у всех курьеров, не обгоняли ли они в дороге толстого аббата, еще более толстого судью и юношу с глупой физиономией, поспешавших по дороге в Париж. Услышав на третий день путешествия, что все трое находятся недалеко, она ловко свернула на проселочную дорогу и успела так хорошо рассчитать время, что прибыла в Версаль как раз в тот момент, когда ее без пользы искали в Париже.

Но что могла предпринять она в Версале, — молодая, неопытная девушка, красивая собою, никому незнакомая, никем не покровительствуемая, никем не наставленная? Где и как она могла отыскать нужного ей королевского гвардейца, к которому думала обратиться. Не зная, что делать, она решилась посоветоваться с каким-нибудь иезуитом из того класса этого ордена, который был доступен для всех. Надо сказать, что иезуиты в то время успели втереться решительно во все общественные сословия, начиная с самых высших. Подобно тому, говорили они, как бог дарует пищу разным породам животных, так он даровал королю духовника-иезуита, которого все искатели церковных должностей громко величали главой галликанской церкви. Принцессы каялись в грехах также этим почтенным отцам, и лишь одни министры были настолько умны, что старались сопротивляться их сетям всевозможными способами. Во всем остальном обществе иезуиты господствовали полновластно. Особенно старались они

вербовать в ряды своих духовных дочерей горничных, знатных дам, с тем, чтобы выведывать все, что творилось в домах у барынь. Результаты деятельности такого рода были поистине изумительны.

Прекрасная Сент-Ив обратилась именно к одному из таких почтенных деятелей, которого звали отец Тутату. \* Исповедавшись, Сент-Ив чистосердечно рассказала ему свое горе, свои опасения, и слезно умоляла поместить ее к какой-нибудь благочестивой женщине, под чьей защитой она могла бы избежать грозящих ей опасностей.

Отец Тутату представил ее к жене придворного виночерпия одной из своих самых усердных духовных дочерей. Сент-Ив постаралась прежде всего стать в самые лучшие отношения со своей хозяйкой и, получив от нее сведения о бретонском гвардейце, попросила немедленно пригласить его.

Когда из слов его обнаружилось, что Простак исчез после разговора с секретарем, Сент-Ив поспешила к нему. Вид хорошенькой женщины привел это пернатое существо в весьма любезное расположение духа. Ведь известно, что женщины на то и созданы, чтобы смягчать строптивый нрав мужчин.

Разнежившийся секретарь разболтал ей все: — Ваш возлюбленный, — сказал он, — уже год, как сидит в Бастилии, и без вашего заступничества ему грозит участь остаться там на всю жизнь.

Услышав это, Сент-Ив лишилась чувств; когда она очнулась, то собеседник продолжал:

— У меня, к сожалению, нет власти делать людям добро. В крайнем случае я иногда могу лишь причинять им зло. Обратитесь к господину де Сен-Пуанжу! Он родственник и любимец Лувуа, а потому может делать как зло, так и добро. У господина Лувуа две души. Сен-Пуанж—одна из них, тогда как другая олицетворяется в госпоже Френуа. Но ее, к сожалению, в Версали нет, и потому вам остается только обратиться к покровительству Сен-Пуанжа.

Прекрасная Сент-Ив, волнуемая равно надеждой и страхом, радостью и горем, страшась своего брата и обожая своего жениха, поспешно побежала, плача и в то же время лелея надежду, к Сен-Пуанжу.

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

##### *Умственное развитие Простака продолжается*

Простак, видимо, преуспевал в науках и особенно в науке познания человека. Быстрота его развития обуславливалась столько же влиянием первоначального воспитания, полученного им среди дикой природной обстановки, сколько и собственным его личным характером. Не учась ничему в детстве, он по тому самому остался чужд и тех предрассудков, которые, внедряясь в нас с молодых лет, лишают ум природной гибкости. Ум Простака, напротив, остался свеж и прям. Он видел предметы такими, каковы они в действительности, тогда, как мы, угнетенные ложными взглядами, которые в нас вбива-

вают насильно с детства, представляем себе жизнь именно не такой, какова она на самом деле.

— Преследователи ваши, — говорил он Гордону, — конечно, достойны презрения, но, я, жалея вас за перенесенное вами, жалею еще более за то, что вы ясенист. Учение всякой отдельной секты, каково бы оно ни было, кажется мне всегда отклонением от истины. Скажите мне, могут ли возникнуть секты при занятиях геометрией?

— Нет, милое дитя мое, таких нет, — ответил Гордон вздыхая, — но это потому, что истины, доказанные вполне, принимаются всеми людьми без споров, тогда как в вопросах об истинах затемненные люди расходятся во мнениях без конца.

— Скажите лучше, в вопросах о затемняемых нелепостях, — возразил Простак. — Если бы в ворохе тех суждений, которые люди перетряхивают без конца в течение целых столетий, была скрыта хотя бы одна истина, то она, наверно, обнаружилась бы давно, и мир сошелся бы в мнении хоть по одному какому-нибудь вопросу. Если бы истина эта была необходима для жизни, как солнце необходимо для земли, то она и засияла бы, подобно солнцу. Говорить, что бог намеренно скрыл от людей истину, значит, по-моему утверждать нелепость, оскорблять людей и даже самое божество.

Такого рода суждения молодого дикаря, воспитанного природой, производили глубокое впечатление на ум бедного старого философа.

«Неужели, — думал он, — я погубил себя ради химер? Все мои труды принесли мне гораздо больше горя, чем радости. Проповедуя, что свобода дарована богом всему людскому роду, я кончил тем, что потерял свою собственную, и ни блаженный Августин, ни святой Проспер не извлекут меня из бездны, в которую я повержен».

Простак, верный своему чистосердечному характеру, однажды спросил:

— Хотите вы, чтобы я высказал вам мое откровенное мнение? Мне кажется, что люди, занимающиеся бесполезными прениями о преимуществах различных взглядов и школ, не особенно умны, и те, которые их за то преследуют, уже совершенные чудовища.

Оба узника вполне сходились в мнении о несправедливости постигшей их судьбы.

— Я заслуживаю, — говорил Простак, — во сто раз больше сожаления сравнительно с вами. Я родился свободным, как ветер. В жизни у меня было два блаженства: свобода и моя любовь. Меня лишили того и другого, и вот мы оба томимся в оковах, не только не зная за что, но не имея даже возможности это узнать. Я двадцать лет жил жизнью гуронцев. Их называют варварами за то, что они мстят своим врагам, но нет примера, чтобы они платили неблагодарностью за дружеские услуги. Чуть успев приехать во Францию, я пролил за нее свою кровь! Я, быть может, спас целую провинцию, и в награду за это меня заперли в эту могилу для живых, где я наверно умер бы, если бы не встретил вас. Если в этой стране

можно так приговаривать людей, даже их не выслушав, то, значит, в ней нет никаких законов! Ничего подобного не может случиться в Англии! Вижу, что мне следовало сражаться не против англичан, а за них.

Новорожденная философия Простака, как видим, не была еще достаточно сильна, чтобы укротить порывы его природы, оскорбленной в лучших ее правах. Его справедливый гнев изливался неудержимым потоком.

Собеседник ему не возражал. Разлука всегда разжигает неудовлетворенную любовь, и философия помощи в этом случае не окажет. Простак вспоминал о мадмуазель де Сент-Ив так же часто, как вдавался в метафизические размышления. Чем более очищался и развивался его ум, тем пламеннее он любил. Он прочел несколько новых романов, но не нашел в них того, что гармонировало бы с состоянием его духа. Сердце его всегда отзывалось на прочитанное.

— У всех этих авторов, — говорил он, — есть только умничанье, да риторика!

Добряк-янсенист, будучи, невольным слушателем его рассуждений, мало-по-малу стал относиться к ним сочувственно. Любовь прежде казалась ему грехом, в котором следовало каяться на исповеди; теперь же она стала представляться ему чувством столь же благородным, сколько и нежным, ведущим не к одному лишь расслаблению души, но также к ее возвышению, и способным привести даже к добродетели. Словом, совершалось чудо: гуронец оказался проповедником, а янсенист — новообращенным.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

*Прелестная Сент-Ив отвергает щекотливое предложение*

Прелестная Сент-Ив, страдавшая от любви более, чем ее возлюбленный, отправилась к Сен-Пуанжу в сопровождении своей хозяйки. Обе густо закутали лица вуалями. Подходя к дому, встретили они на пороге аббата Сент-Ив, выходившего из дома вельможи. Сент-Ив смутилась, но благочестивая подруга поспешила ее успокоить.

— Теперь, — сказала она, — вам и надо повидаться с Сен-Пуанжем во что бы то ни стало. Брат ваш, без сомнения, жаловался на вас, а в этой стране обвинители всегда успевают добиться своего, если обвиненные не сумеют опровергнуть их доводов. Я убеждена (если не ошибаюсь уже очень грубо), что ваша личная просьба будет иметь гораздо больше успеха, чем жалобы вашего брата.

Одобрительное слово лучше всего подкрепляет решимость любящих. Сент-Ив вошла в приемную. Ее молодость, красота и взгляд нежных глаз, затуманенных слезами, привлекли к ней внимание всех присутствующих. Подчиненные сановника забыли на минуту свои вечные самолюбивые заботы и невольно залюбовались красавицей. Сент-Ив, наконец, пригласили в кабинет Сен-Пуанжа. Она изложила свое дело трогательно и просто. Сен-Пуанж расчувствовался и поспешил успокоить бедную девушку, дрожавшую от волнения, как лист.

— Приходите, — сказал он ей, — сегодня вечером. О вашем деле надо подумать и поговорить серьезно. Теперь вы видите, сколько у меня народа. Каждого просителя приходится выслушивать и удовлетворять второпях. Все же я должен выслушать с полным вниманием.

Сказав ей затем несколько любезных слов относительно ее внешности, он закончил приглашением явиться к нему в семь часов вечера.

Само собой разумеется, что приказ этот был исполнен. Набожная подруга сопровождала Сент-Ив и на сей раз, но, пропустив ее в дверь кабинета, осталась сама в приемной, где и занялась каким-то душеспасительным чтением.

— Можете ли вы себе представить, — так начал Сен-Пуанж свое обращение к вошедшей, — что ваш брат являлся ко мне с требованием издать именной приказ о заточении вас в тюрьму! Но верьте, что я скорее отдам приказ об отправке его самого обратно в Бретань.

— Увы! — возразила Сент-Ив, — должно быть, в ваших местах эти приказы выдаются очень щедро и легко, если за ними можно являться из провинции и требовать, как пенсию. Но я далека от мысли просить о чемнибудь в ущерб моему брату. Я могла бы пожаловаться на него за многое, но я уважаю свободу людей и прошу только свободы человеку, которого люблю, человеку, который спас королю целую провинцию и будет честно и смело служить ему в будущем. Он—сын храброго воина, павшего в бою. В чем он виновен? За что поступили с ним так жестоко, даже не выслушав его?



Сен-Пуанж показал ей доносы шпиона, иезуита и коварного судьи.

— Как? — воскликнула Сент-Ив. — Возможно ли, чтобы на свете существовали такие чудовища! Хотят силой выдать девушку за смешного идиота, сына злого негодяя. И по таким доносам разбивают жизнь и судьбу честных граждан.

При этих словах, она, рыдая, бросилась на колени, умоляя освободить того, кто был ей дороже всего на свете.

Ее красота сверкала в таком блеске, что у Сен-Пуанже закружилась голова. Потеряв сознание всякого стыда, он намекнул ей, что готов сделать все, если только получит в награду первый цветок того блаженства, которое предназначалось для дорогого ей человека. Сент-Ив, пораженная и смущенная, долго притворялась, будто не понимает сказанного. За намеком последовало разъяснение. За сдержанной речью полилась другая, более настойчивая и определенная. Была предложена не только отмена приказа об аресте, но сверх того начались обещания денег, почестей, полного обеспечения. И чем более возрастали посулы, тем более усиливалось желание.

Сент-Ив, рыдая, опустилась в бессилие на софу, едва веря своим глазам и ушам. Сен-Пуанж бросился перед ней на колени. Надо сказать, что он был очень недурен собой и мог вполне рассчитывать на успех в подобных случаях.

Но Сент-Ив слишком обожала своего Простака, и изменить ему даже ради спасения его

жизни казалось ей величайшим и невозможным преступлением. Сен-Пуанж, между тем, продолжал рассыпаться в мольбах и обещаниях. Голова его затуманилась до того, что, наконец, он выпалил ей, что иного средства спасти любимого человека от тюрьмы нет и не будет. Разговор затянулся. Набожная подруга, читая в приемной свою благочестивую книгу, недоумевала, что могло это означать.

— «О чем они толкуют целых два часа? — недовольно спрашивала она себя. — Никогда приемы у Сен-Пуанжа не длились так долго. Неужели он резко отказал этой бедной девушке, и она продолжает без пользы умолять его?»

Сент-Ив, наконец, появилась на пороге кабинета, смущенная, растроенная и почти неспособная выговорить слово. Много мыслей пронеслось у нее в голове о подвигах знатных и полужнатных особ, для которых ничего не значила свобода мужчин и честь женщин.

Она молчала во все время обратного пути, но придя домой, не выдержала и, разрыдавшись, рассказала своей приятельнице все. Та с перепуга даже осенила себя крестным знаменем.

— Надо вам, — сказала она наконец, — посоветоваться с нашим милым духовником, отцом Тутату. Он имеет на Сен-Пуанжа большое влияние и исповедует в его доме почти всех горничных. Он очень умный, благочестивый человек и руководит совестью даже некоторых дам из высшего круга. Доверьтесь ему, как всегда доверялась я и в этом не раскаялась ни разу.

Нам, слабым женщинам, руководство мужчины необходимо.

— Хорошо, моя милая, завтра я отправлюсь к отцу Тутату.

#### ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

##### *Сент-Ив советуется с иезуитом*

Когда прелестная и отчаявшаяся Сент-Ив осталась наедине с добрым своим духовником, она тотчас же рассказала ему, что один знатный и развратный вельможа предложил освободить из заточения того, кто должен был сделаться ее законным мужем, но потребовал в награду за то совсем незаконного с ее стороны поступка. К этому она поспешила добавить, что одна мысль об этом возмущает ее до глубины души и что если бы от нее требовали жизни, то она гораздо скорее решилась пожертвовать ею, чем добродетелью.

— Вот отвратительный грешник, — сказал отец Тутату, назовите мне, достойная дочь, имя этого гнусного человека; наверное это какой-нибудь янсенист; я немедленно обличу его перед преподобным отцом Ла-Шэзом. Он велит засадить его туда, где томится теперь тот, кто будет твоим супругом.

Бедная девушка после долгого раздумья и колебаний назвала, наконец, имя Сен-Пуанжа.

— Господин Сен-Пуанж! — воскликнул иезуит. — Ах, дочь моя, это совсем другое дело. Сен-Пуанж — родственник величайшего министра из всех, каких мы только имели; он — че-

ловец почтенный, всегдашний покровитель всего доброго и сверх того отличный христианин. Не может быть, чтобы подобная мысль пришла ему в голову. Вы наверно ослышались.

— Ах, отец, — возразила Сент-Ив, — поверьте, что я слышала, как нельзя лучше. Гибель ждет меня, все равно, что бы я ни сделала. Мне остается выбирать между горем и стыдом. Мой возлюбленный умрет заживо погребенным, если я его не спасу, а сделать это я могу, став недостойной жить сама. Что выбрать? Как поступить?

Иезуит постарался успокоить ее и утешить, приведя следующие доводы:

— Во-первых, не произносите, дочь моя, никогда слов: «мой возлюбленный». В словах этих звучит мирской и, следовательно, грешный отголосок. Говорите «мой муж». Положим, вы еще не соединены узами брака, но все равно обещали это сделать; отсюда вывод, что вы можете считать его и называть мужем совершенно законно. Во-вторых, будучи вашим мужем в надежде, он еще не стал им в действительности. Отсюда другой вывод, что, изменив ему, вы отнюдь не впадаете в ужасный грех прелюбодеяния, которого надо избегать всеми силами. В-третьих, поступки непочитаются грешными и дурными, если совершаются с благой целью. А какая же цель может быть выше спасения мужа? В-четвертых, древность представляет много примеров, которыми вы можете руководиться в настоящем случае. Так, блаженный Августин повествует, что при проконсуле Септимии Акиндине в 340-м году эры нашего

спасения один бедный человек, не могший воздать кесарево кесарю, был приговорен к смерти, вопреки известному правилу, гласящему, что где ничего нет, там ничего не получит даже сам король. Речь шла об одном фунте золота. У приговоренного была жена, славившаяся красотой и благоразумием. Один старый богач обещал заплатить этот фунт с тем условием, что она согласится разделить с ним позорный грех. Благоразумная женщина нимало не сочла дурным поступком спасение жизни мужа. Святой Августин вполне одобряет ее благородную решимость. Старый богатей, правда, ее обманул и, очень возможно, что мужа ее все-таки повесили. Но, по крайней мере, она сделала для его спасения все, что могла. Поверьте мне, дочь моя, если иезуит подкрепляет свои советы такими примерами, то, значит, примеры эти имеют благочестивый источник. Я, впрочем, окончательно не советую вам ничего. Вы умны, а потому сумеете спасти своего мужа по собственному почину. Сен-Пуанж человек честный и, наверное, вас не обманет; в этом я ручаюсь. Я буду молить за вас небо и надеюсь, что все устроится к его вящей славе.

Красавица, испуганная и взволнованная иезуитскими советами не менее, чем предложением сановника, едва добралась до дома своей приятельницы. В отчаянии она готова была покушаться на самоубийство, удрученная мыслью, что как ни рассуждай, иного выбора между гибелью возлюбленного и потерей чести для нее не остается. А как же было потерять то, что целиком принадлежало ее несчастному другу.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

*Она падает по причине своей добродетели*

Она умоляла свою подругу убить ее. Но эта женщина, столь же снисходительная, как иезуит, высказалась еще яснее:

— Увы,—сказала она,—вы должны знать, что при здешнем дворе, столь прославленном за свое изящество и любезность, достичь чего-нибудь можно только подобными средствами. Должности, как самые пустые, так равно и наиболее значительные, обыкновенно получают помощь именно той жертвы, которой требуют от вас. Вы внушаете мне сочувствие и доверие, а потому откровенно сознаюсь вам, что еслиб я была шепетильна, как вы, то мой муж никогда не получил бы той скромной должности, которая, как она ни мала, все-таки дает нам возможность существовать. Он знает это хорошо, но не только не сердится, а, напротив, видит во мне свою благодетельницу, на себя же смотрит, как на мое создание. Неужели вы думаете, что люди, стоящие во главе провинций и даже армий, обязаны этими почестями исключительно своим заслугам? Многие возведены в свой сан женами, и только ими. Важные военные посты послужили наградою за любовь и отдавались красавицам по конкурсу красоты. Положение, в каком вы очутились, в высшей степени важно и серьезно. Речь идет о том, чтобы освободить того, кто вам дорог, и получить возможность выйти за него замуж. Исполнить это — ваш священный долг. Многие знатные

дамы, как я уже говорила, поступали таким образом, и никому даже в голову не приходило бросить в них за то камнем. Вам, напротив, будут говорить, что если вы и впали во грех, то по избытку добродетели.

— Ах, что за добродетель! — воскликнула Сент-Ив. — Что за лабиринт низостей! Что за страна! Вот когда я узнала людей! Отец Ла-Шэз и смешной судья лишили свободы дорогого мне человека. Мои родные меня преследуют; а тот, кто мог бы протянуть мне руку помощи, делает это только под условием моего бесчестия. Один иезуит погубил честного человека, другой иезуит губит меня. Я окружена кознями со всех сторон и чувствую, что миг моей гибели близок. Мне осталось или наложить на себя руки или увидеть во что бы то ни стало короля. И я добьюсь этого. Я встану на его дороге, когда он пойдет в церковь или в комедию. Я брошусь к его ногам и расскажу ему, как обстоит дело.

— Вас до короля не допустят, — возразила ей приятельница. — Да если бы вам и удалось подать ему жалобу, то поверьте, что Лувуа и Ла-Шэз найдут средство схоронить вас затем в каком-нибудь монастыре до конца ваших дней.

Пока практическая особа еще более усиливала таким образом отчаяние бедной девушки, вонзая нож безнадежности в ее сердце, внезапно явился курьер от Сен-Пуанжа и подал письмо, к которому была приложена пара великолепных серег. Сент-Ив с негодованием оттолкнула подарок, но приятельница успела бережно подхватить его и спрятать.

Когда по уходе курьера письмо было прочитано, то в нем оказалось приглашение обеим приятельницам на ужин в тот же вечер. Сент-Ив решительно объявила, что не поедет ни за какие блага. Приятельница предложила ей хоть примерить бриллиантовые серьги. Сент-Ив, конечно, отказала и в этом. Весь день прошел в волнении и слезах. Наконец, доведенная до отчаяния, полная мыслями о своем возлюбленном, не зная на что решиться, не понимая куда ее хотят везти, она позволила увлечь себя на роковой ужин почти что силой. Но и тут надеть серьги она решительно отказалась. Приятельница захватила их с собой и успела вдеть ей в уши перед самым ужином. Сент-Ив была до дого смущена и взволнована, что позволила делать с собой все, что угодно. Хозяин ликовав, видя в этом хорошее предзнаменование. В конце ужина приятельница потихоньку встала и незаметно скрылась в другую комнату. Тогда хозяин показал готовый, уже подписанный приказ об отмене ареста, ассигновку на очень значительную сумму, назначение ротным командиром и не жалел обещаний.

— Ах! — горестно воскликнула Сент-Ив, — как бы я вас полюбила, если бы вы не требовали от меня любви.

Наконец, после долгого сопротивления, борьбы и молений, пришлось все-таки в бессилии уступить. Искрой утешения было для нее при этом то, что все время пока жестокий вымогатель наслаждался своей насильственной победой, она рисовала перед собою в мечтах образ своего милого Простака.



## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

*Она освобождает своего возлюбленного и яansenиста*

Чуть занялось утро, Сент-Ив помчалась в Париж с приказом министра в руках. Трудно описать, что происходило в ее сердце во время этого переезда. Пусть вообразит себе, кто может, чистую, благородную душу, гнушавшуюся своего позора и в то же время пылавшую чистейшей любовью, страдавшую от угрызений совести и ликовавшую от восторга при мысли, что ею спасен обожаемый человек. Чувства горя, стыда и радости вихрем проносились в ее уме, чередуясь одно с другим. Это была уже не та скромная, простая девушка, на чьи манеры и взгляды наложило свою печать провинциальное воспитание. Любовь и горе сделали ее вполне зрелой женщиной. Чувства ее развились и окрепли, точно так же как развился в заточении ум ее несчастного друга. Девушки выучиваются чувствовать еще скорее, чем мужчины мыслить. Случившееся с ней научило ее большему, чем мог бы научить монастырь в целые годы.

Она оделась так просто, как только могла, сбросив с отвращением богатый наряд, в котором явилась пред своим роковым благодетелем. Дорогие серьги оставила в руках своей приятельницы, даже на них не взглянув. Смущенная и сияющая, обожая Простака и гнушаясь сама собой, остановилась она, наконец:

Пред зданием страшным тем, где торжество для мести,  
И где порок с добром страдают часто вместе.

При выходе из кареты, силы ей изменили так, что она не могла идти одна. Ей помогли. Войдя со слезами, бьющимся сердцем и опущенным взглядом, подала она начальнику тюрьмы полученную бумагу, но не могла выговорить при этом двух слов. Начальник благоволил к своему пленнику и был очень рад его освобождению. Сердце этого человека не успело зачерстветь подобно сердцам его сослуживцев, думавших только о размерах получаемого ими вознаграждения, строивших свое довольство на горе жертв и радовавшихся ужасной радостью при виде слез, проливаемых несчастными.

Он велел призвать узника в свои покои. Влюбленные, увидя друг друга, лишились чувств. Сент-Ив долго не могла притти в себя и была ободрена только ласками своего друга.

— Вероятно, это ваша супруга, — сказал губернатор. — Зачем же вы не сказали мне, что вы женаты? Я слышал, что вы обязаны вашей свободой исключительно ее неукротимой настойчивости.

— Ах, я недостойна, быть его женой, — прошептала дрожащим голосом бедная женщина и, сказав это, снова лишилась чувств.

Очнувшись она подала дрожащей рукой приказ об освобождении, денежную ассигновку и назначение на должность ротного командира. Простак не менее изумленный, казалось, очнулся от тяжелого сна для того, чтобы впасть в новый.

— За что же, — воскликнул он, — был я здесь заперт? Как могли вы меня освободить? Кто те чудовища, чьей властью я был заклю-

чен? Вы божество, сошедшее с неба, чтобы мне помочь.

Прекрасная Сент-Ив, слушая это и глядя на своего друга, невольно краснела и опускала полные слез глаза. Она рассказала, наконец, ему все, что знала и вынесла, за исключением лишь того, что хотела скрыть навсегда, но что всякий другой, не столь неискушенный в знании жизни и придворных обычаев, человек, каким был Простак, легко угадал бы и без слов.

— Неужели, — повторял он, — этот презренный судья мог и впрямь лишить меня свободы? Если существуют люди, похожие на тех отвратительных животных, которые созданы только затем, чтобы делать зло, то как допустить, чтобы в моей беде, на ряду с этим судьей, был равно виновен иезуит, — духовник короля? Я теряюсь в догадках: за что же стал меня преследовать этот плут? Неужели он вообразил, что я янсенист?... Но, скажите, как вспомнили вы обо мне? Ведь я этого не стоил. В то время я был еще жалким дикарем. А вы без помощи и без совета предприняли поездку в Версаль. Явились, чтобы разбить мои оковы. Значит, красота и невинность обладают каким-то талисманом, перед которым падают железные двери и смягчаются бронзовые сердца.

При слове «невинность» Сент-Ив, не выдержав, разрыдалась. Она не сознавала, до чего была она действительно чиста и невинна в томившем ее поступке.

Между тем, Простак продолжал:

— Ангел, разбивший мои оковы. Если бы обладали властью (какой, не могу понять), что-

бы заставить оказать правосудие мне, то прошу, сделайте то же самое для одного бедного старика, которому я обязан тем, что он научил меня мыслить, как вы научили любить. Нас с ним соединило общее горе; я люблю его как отца и не могу жить без него, так же как без вас.

— Мне просить этого человека еще раз? — сорвалось с ее губ.

— Да, да, — подхватил Простак, — я хочу быть обязанным всем только вам и никому более. Напишите этому могущественному человеку. Довершите свои благодеяния. Закончите начатое дело. Совершите чудо еще раз.

Сент-Ив видела, что должна непременно исполнить просьбу своего возлюбленного, но, взявшись за перо, она почувствовала, что рука отказывается ей служить. Три раза начинала она письмо и три раза разрывала его в клочки. Наконец, успела кончить кое-как, после чего оба удалились, нежно простившись со старым мучеником веры в действенную благодать.

Радостная и грустная, Сент-Ив отправилась к своему брату, жилище которого было ей известно. Простак нанял себе отдельную комнату в том же доме.

Едва успели они водвориться, как было получено письмо от ее покровителя с приказом о немедленном освобождении Гордона и с любезной просьбой о новом свидании на другой день. Оказалось таким образом, что за каждое доброе дело Сент-Ив приходилось платить каждый раз ценой своего бесчестия. Обычай так торговать для удовлетворения своих прихо-

тей людским счастьем и горем показался ей до такой степени отвратительным, что, поспешив отдать Простаку полученный приказ об освобождении Гордона, она вместе с тем отказала наотрез в просьбе о новом свидании покровителю, которого не могла видеть без стыда и отчаяния.

Простак покинул ее лишь для того, чтобы освободить своего друга. По дороге он размышлял о превратностях судеб в этом мире и о мужественной добродетели девушки, благодаря которой два несчастливца обрели вновь все радости жизни.

#### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

##### *Простак и прелестная Сент-Ив встречаются со своими родственниками*

Благородная и достойная уважения изменница встретила, наконец, со своим братом Сент-Ив, с добрым приором Святой Горы и с мадмуазель Керкабон. Изумление, поразившее их при встрече, не поддается описанию, но чувства, волновавшие при этом всех, были различны.

Аббат Сент-Ив со слезами молил сестру о прощении, которое, разумеется, и получил. Приор и его сестра то же плакали, но от радости. Злокозненный судья и его дурак сын не присутствовали при этой трогательной сцене. Оба, услышав весть об освобождении Простака, страшно испугались, как бы не вышло из этого какой-нибудь беды для них, а потому поспешно

укатили домой, торопясь скрыть в провинциальной глуши свой страх и свою глупость.

Четверо собравшихся, волнуемые самыми различными чувствами, с нетерпением ожидали возвращения Простака и его освобожденного друга.

Аббат Сент-Ив сидел, не смея поднять глаза на сестру. Добродушная Керкабон громко выражала свою радость по поводу предстоящего свидания с племянником.

— Вы его увидите, — сказала очаровательная Сент-Ив, — и увидите также, что он сделался совсем другим человеком. В нем изменилось все: ум, чувства, манеры. Он стал настолько же достоин уважения, насколько был прежде дик и наивен, и, верьте мне, будет впредь украшением вашей семьи. Грустно думать, что я не могу быть для нее тем же.

— Вы, — возразил приор, — стали тоже совсем другая, и я не могу понять причины, произведшей эту перемену.

Среди этого разговора вернулся Простак под руку со своим янсенистом. Общее оживление и восторг удвоились. Последовали трогательные объятия с дядей и теткой. Аббат Сент-Ив готов был встать перед рожденным как бы вновь Простаком на колени. Влюбленные переговаривались друг с другом взглядами, в которых отражалось все, что они чувствовали. Радость и полное довольство сверкали в глазах первого, тогда как смущение и боязнь невольно сквозили во взорах второй. Присутствующие не мало дивились такому смещению горя и радости.

Старик Гордон завоевал с первых же минут знакомства общее расположение всей семьи. Он делил страдания с дорогим узником и, конечно, выиграл много в расположении его друзей. Обязанный своим освобождением порыву любви, он, естественно, стал с этой минуты снисходительнее смотреть на это чувство. Суровость его прежних взглядов, видимо, смягчилась. Он сделался более человеком, точно так же, как и Простак. Они рассказали за ужином историю своих страданий. Оба аббата и тетушка слушали с той же жадностью, с какой дети слушают сказки о привидениях или, вернее говоря, как люди, вообще всегда особенно интересующиеся чужими несчастиями.

— Ведь вот теперь, — говорил Гордон, — можно наверно насчитать не менее пятисот хороших, ни в чем невинных людей, томящихся в точно таких же оковах, которые разбила для нас прелестная Сент-Ив, и никто не знает об их беде. Рук, наносящих горе, найдутся тысячи, а оказывающих помощь несчастным — много много одна или две.

Это безусловно верное замечание еще более усилило его благодарность и то смягченное состояние духа, в которое он был приведен. Триумф Сент-Ив разрастался. Удивлялись ее твердости, благородству души, и к удивлению этому неволью примешивалось чувство уважения, всегда внушаемое лицами, которых считают имеющими влияние и значение в высших сферах. Один аббат Сент-Ив порой задумывался, задавая себе вопрос: каким же однако чудом сестра его успела достичь таких результатов.

За стол сели рано. Среди ужина, вдруг, как снег на голову, явилась версальская приятельница прелестной Сент-Ив. Приехала она в карете, цугом в шесть лошадей, чем явно обличила, кому принадлежал экипаж. Не зная никого из присутствующих, она вошла с гордым и надменным видом, словно какая-нибудь высокопоставленная особа, занятая лишь своим делом, и, едва кивнув головой присутствующим, немедленно обратилась к Сент-Ив:

— Ну, что ж вы? Разве можно так поступать? Вас ждут, а вы не едете. Скорей, скорей! Вот ваши брильянты: вы их забыли.

Как ни тихо сказаны были эти слова, Простак их расслышал. Брильянты сверкнули в его глазах. Аббат Сент-Ив также насторожил уши, и только благодушный дядя с теткой не испытывали ничего, кроме изумления при виде такого, никогда даже не снившегося им великолепия. Простак, научившийся во время своего заключения более здраво, чем прежде судить о происходящем, был поражен, как громом, мелькнувшей в его уме мыслью, но успел быстро овладеть собой и сдержаться. Выражение его глаз, однако, не скрылось от Сент-Ив. Смертная бледность разлилась по ее прекрасному лицу, дрожь охватила все тело, ноги отказывались служить.

— Вы меня погубили! — воскликнула она, не владея собой, в лицо своей роковой приятельнице. — Вы принесли мне смерть!

Крик этот окончательно пронзил сердце Простаку, но он и тут сумел овладеть собой. Боязнь скомпрометировать Сент-Ив в глазах



брата сковала его язык, хотя бледность лица явно выдавала, что он чувствовал.

Сент-Ив, сраженная этим видом, быстро увлекла за собою посланницу в соседнюю комнату и, бросив пред ней на пол брильянты, воскликнула:

— Не они меня соблазнили, не они! Вы это знаете хорошо. Никогда не увижу я человека, который мне их прислал!..

Подруга быстро подобрала рассыпавшиеся брильянты, между тем как Сент-Ив продолжала:

— Отдайте их тому, от кого получили. Идите, не заставляйте меня краснеть еще более.

Посланница, пожав плечами, удалилась, решительно не понимая, как и чем могла быть вызвана подобная сцена.

Прекрасная Сент-Ив, потрясенная и нравственно и физически, не могла больше выдержать и принуждена была удалиться, чтобы лечь в постель. Не желая никого тревожить, она промолчала о своих чувствованиях и объяснила намерение лечь единственно усталостью, почему и просила позволения удалиться. Она даже всячески успокаивала присутствующих, прося их не тревожиться, и ушла, бросив на своего друга взгляд, прожегший его сердце.

Ужин, лишенный ее очаровательного присутствия, сразу стал тих и серьезен. Но это была, впрочем, интересная серьезность, которая рождает темы для ясных и разумных бесед и не похожа бывает на пустую болтовню, столь любимую в обществе, хотя в ней нет ничего, кроме бессодержательной шумихи.

Гордон изложил в кратких словах историю янсенизма и молинизма, а равно тех взаимных преследований, в которых настойчиво изошрялись обе партии. Простак раскритиковал подобного рода крайности и нашел достойными глубокого сожаления людей, которые, не довольствуясь существованием и без того многочисленных предлогов для ссор и несогласий, выдумывают еще какие-то фантастические, основанные на совершенно непонятной метафизической чепухе. Гордон излагал факты. Простак их оценивал. Присутствующие слушали с большим вниманием и явно чувствовали, как расширялся их умственный кругозор. Речь зашла о несоразмерности людских бед с краткостью человеческой жизни. Заметили, что какому бы делу не посвятил себя человек,—езде встретит он больше помех, чем удачи, и что сильные мира сего имеют основание жаловаться на судьбу точно так же, как самые смиренные. Как объяснить, что есть люди, соглашающиеся за ничтожное вознаграждение делаться презренными орудиями и палачами для преследования точно таких же, как они, существ? С каким равнодушием человек, имеющий власть, подписывает иной раз приговоры, разрушающие счастье целых семей, и с какой зверской радостью наемные варвары исполняют подобного рода приговоры.

Мне случилось, — сказал добряк Гордон, — встретиться в юности с одним родственником маршала Марильяка, \* который подвергся преследованиям за то, что принадлежал к партии этого знаменитого несчастливца. Обстоятельства

принудили его покинуть родной город и поселиться в Париже под чужим именем. Это был старик семидесяти двух лет. Жена его, старушка почти того же возраста, не покидала мужа ни на шаг. У них был сын четырнадцати лет; он убежал из отцовского дома, поступил в солдаты, дезертировал, провел затем несколько лет в самом грязном распутстве и, наконец, пристроился как-то в отряд телохранителей кардинала Ришелье, ибо священник этот имел телохранителей, как впоследствии Мазарини. Ему удалось получить даже в этой шайке капральский жезл. И этому-то достойному молодцу было поручено арестовать бедного старика с женой, что он исполнил с тем лакейским усердием, каким всегда стараются отличиться низкие души перед своими начальниками. По дороге в тюрьму бедняки горько плакали над своей горестной жизнью и при этом громко высказывали, что заблуждения и гибель единственного сына считают они величайшим из своих несчастий. Сын их узнал, открылся им и, тем не менее, с циническим равнодушием водворил их в тюрьму, заявив, что исполнение приказаний его эминенции должно стоять превыше всего. Кардинал достойно вознаградил такое усердие.

— Я видел также, — продолжал Гордон, — как один из шпионов отца Ла-Шэза предал родного брата, в надежде получить награду, которой однак ему не дали. Он умер с горя, но не от раскаяния, а от огорчения, что иезуит его надул. Во время моей долгой службы в качестве духовника, я довольно насмотрелся на интимные стороны семейной жизни. Не случилось

видеть мне ни одной семьи, где жизнь не была отравлена какой-нибудь тайной язвой, между тем как наружно все члены ее, надев маски довольства, казалось плавали в блаженстве. При этом я всегда замечал, что главной причиной несчастья бывала непременно корысть.

— Что касается меня, — продолжал речь Гордона Простак, — то я думаю, что с благородной, чувствительной, благодарной душой можно всегда добиться счастья в жизни. По крайней мере, я лично уверен, что с прелестной и великодушной Сент-Ив мы проведем всю жизнь в полном довольстве и счастии. Я надеюсь, — прибавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к аббату, — что вы не откажете мне, как это было в прошлом году, в ее руке. Нынче ведь я буду вести это дело сдержаннее и скромнее.

Аббат, в ответ, рассыпался в извинениях за прошлое и в уверениях своей вечной любви и привязанности.

Дядюшка Керкабон воскликнул, что день этого брака будет счастливейшим днем его жизни, а тетюшка, разливаясь в умиленных слезах, прибавила, что она всегда предвидела невозможность сделать Простака субдиаконом.

— Ведь таинства все равны, — говорила она, — одно стоит другого. Авось, бог даст, дождемся мы этой радости. Я буду посаженной матерью.

Затем все наперерыв принялись восхвалять достоинства прелестной Сент-Ив.

Возлюбленный ее слишком глубоко чувствовал, чем был ей обязан, и слишком ее любил.

чтобы случай с брильянтами мог вызвать в его душе неприязненное чувство. Оброненные ею и подслушанные им слова: «Вы принесли мне смерть», приводили, правда, его в смущение и отравляли радость; но зато всеобщие восторженные похвалы достоинствам Сент-Ив служили противовесом этому чувству и усилили еще более его любовь.

Имя прелестной Сент-Ив вертелось на языке у всех. Только и речи было, что о счастье обоих влюбленных. Составлялись планы совместной жизни в Париже; строились проекты выгодных предприятий, словом дан был полный простор тем мечтам, которые так легко рождаются при малейшем призраке какой-нибудь надежды. Но Простак все-таки не мог подавить в себе зловредного червяка, подтачивавшего эти мечты. Он перечитывал письменные обещания, подписанные Сен-Пуанжем, приказы, скрепленные рукой Лувуа. В разговорах об этих лицах ему описывали их такими, какими они и были в действительности. Каждый из присутствующих говорил о министрах с той свободной застольной беседы, какая считается во Франции лучшим видом свободы из всех возможных.

— Если бы я был королем Франции, — сказал Простак, — то вот какого я избрал бы себе военного министра. Это был бы, во-первых, человек из самого знатного рода, — иначе ему не стали бы охотно повиноваться служащие под его начальством дворяне. Затем он должен был бы предварительно пройти все военные должности, начиная с лейтенанта до генерала,

и быть достойным звания маршала Франции. Это необходимо потому, что знать подробности службы может только тот, кто их изучил на практике; а сверх того, и офицеры стали бы гораздо охотнее повиноваться начальнику, доказавшему, подобно им, свою храбрость на деле, нежели кабинетному работнику, который, как бы ни был умен, может предполагать ход кампаний только наугад. Я не прочь, чтобы министр мой не стеснялся в расходах, хотя бы это даже иной раз не нравилось моему министру финансов. Желая также, чтобы работа давалась ему легко и чтобы он отличался в обществе веселостью своего нрава. Черта эта обыкновенно бывает присуща умным деловым людям, отличавшимся своими заслугами, и очень ценится общественным мнением. Людям с таким характером легче дается самое дело и, сверх того, в нем гарантия против жестокости.

Лувау, вероятно, не остался бы доволен программой Простака. У него была другая мерка для оценки заслуг.

Между тем, пока вся компания беседовала за столом, положение Сент-Ив, видимо, ухудшилось. Появился сильный жар. Явно начиналась опасная горячка, но она терпеливо переносила страдания, не желая смущать общего веселья.

Ее брат, заметив, что она не спит, тихонько подошел к изголовью больной и с первого же взгляда был поражен ее видом. Остальные собеседники сбежались на его тихий призыв, конечно, с Простаком во главе. Встревоженный и опечаленный больше всех, он и тут, однако,

выказал сдержанность, который, в числе прочих хороших качеств, щедро одарила его природа. Уменьше вести себя начинало явно преобладать в нем над прежней резкостью.

Немедленно послали за ближайшим врачом. Это был один из тех верхоглядов, которые, бегая от одного больного к другому, называют болезнь первым именем, какое придет в голову, и начинают ее лечить первым попавшимся средством, профанируя таким образом науку, в которой трудно избежать опасных ошибок даже при самом серьезном и здравом ее изучении. Прием прописанного лекарства только ухудшил состояние больной. В тогдашнем Париже существовала мода даже на лекарства, доходившая иной раз до мании.

Впрочем, бедная больная сама ухудшала свое состояние сильнее врача. Скорбь духа убивала ее тело. Отчаянные мысли вливали в ее кровь яд, более опасный, чем могла это сделать самая зловредная лихорадка.

#### ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### *Прелестная Сент-Ив умирает. Последствия ее смерти*

Был вызван другой врач. Этот, вместо того, чтобы предоставить в молодом, полном жизни организме действовать силам природы, стал прописывать все наперекрест своему коллеге. Болезнь приняла безнадежный оборот менее, чем в два дня. Мозг, почитаемый органом разума, был поражен так же, как и орган чувств — сердце.

Какою непостижимою силою телесные органы подчинены мысли? Почему горестное состояние духа нарушает правильное обращение крови, а кровь может, наоборот, производить расстройство наших мыслительных способностей? В чем состоит сущность этого безусловно существующего таинственного тока, который с быстротой света пронесится в один миг по всем каналам жизни, производя феномены чувств, памяти, горя, радости, мысли и, наконец, безумия? Чем заставляет он нас помнить то, что нам хотелось бы позабыть, делая из мыслящего животного предмет, достойный удивления или, наоборот, жалости и слез?

Все эти вполне естественные, но редко приходящие людям в голову вопросы быстро пронеслись в уме Гордона, нимало не уменьшая, однако, его глубокого горя. Он не был из числа тех жалких философов, которые выставляют на показ свою мнимую бесчувственность к страданиям, корчат из себя бесстрастных наблюдателей. Судьба несчастной Сент-Ив терзала его так, как стал бы терзаться отец при виде медленно умирающего собственного дитяти. Аббат Сент-Ив был в полном отчаянии. Приор с сестрой разливались потоками слез. Но кто возьмется описать отчаяние несчастного любовника? Высшей степени горя не может описать никакой язык.

Тетка, едва живая сама, держала голову умирающей своими слабыми руками. Брат стоял подле кровати на коленях. Влюбленный жених прижимал к рукам холодевшую руку и обливал ее слезами. Он называл страдальицу



своей благодетельницей, надеждой своей жизни, половиной самого себя, своей женой.

Услышав слово «жена», она вздохнула, подняв на него полный нежности взгляд, но вслед затем вдруг откинулась с раздирающим криком назад. Приступы болезни давали ей иногда минуты роздыха; и угнетенные чувства, пробуждаясь, позволяли душе вновь мыслить и высказываться. Воспользовавшись одним из таких светлых мгновений, она воскликнула:

— Я твоя жена? О, мой милый, это имя, это счастье, эта награда больше не для меня. Я умираю и умираю заслуженно. Тебя, моего милого, принесла я в жертву адским демонам. Дело свершилось. Я наказана. Прощайте все. Будьте счастливы!

Эти нежные и ужасные слова, хотя и не были поняты, но вселили ужас и отчаяние во все сердца. У Сент-Ив достало силы их объяснить и тут, конечно, слышались вопли горя, ужаса и изумления. Беспредельная ненависть закипела в душе у всех к недостойному вельможе, не постыдившемуся поправить ужасную несправедливость при помощи преступления и при этом насильно сделать невинность из невинностей своей сообщницей.

— Ты виновна? Ты! — восклицал несчастный любовник. — Никогда. Преступление рождается в сердце, а твое сердце принадлежит мне и в нем ничего нет, кроме добра.

Эти слова Простака настолько выражали искренность его чувств, что Сент-Ив несколько оживилась и утешилась. Мысль быть все-таки любимой изумила и восхитила ее. Добряк Гор-

дон наверно осудил бы ее в былое время, когда он был всего-навсего янсенистом; но теперь, сделавшись мудрецом, он проникся к Сент-Иву уважением и заливался искренними слезами.

Среди этих слез и страхов, когда опасность бесценной больной заставляла трепетать все сердца, внезапно доложили о прибытии придворного курьера.

— Курьер? От кого? Зачем?

— От господина королевского духовника к приору Святой Горы, — был ответ.

Привезенное письмо было, впрочем, написано не самим преподобным отцом Ла-Шэзом, а его камердинером Вадбледом, лицом, в ту пору весьма значительным. Он возвещал архиепископам волю своего господина, назначал им часы приема, обещал и раздавал доходные места, а иной раз даже просто заканчивал возбуждавшиеся дела приказами об аресте просителей. В письме к аббату Святой Горы было на сей раз сказано, что, по дошедшим до его преподобия сведениям, заточение Простака в тюрьму последовало по недоразумению, на которое, при очень часто случающихся мелких несприятностях такого рода не стоит обращать внимания. Затем изъяснялось, что приличие требовало, дабы приор завтра же представил господину Вадбледу как своего племянника, так равно и добряка Гордона. Господин же Вадблед, с своей стороны, обещал ввести их к преподобному Ла-Шэзу и к Лувуа, которые осчастливят их обоих в своих передних двумя-тремя ободрительными словами.

В письме было прибавлено, что подвиг Простака в битве с англичанами будет доведен до сведения короля; что его величество, вероятно, заметит Простака, проходя по галлерее и, как знать, может быть, даже удостоит всемилостивейшим кивком. В заключение изъяснялось весьма вероятным предположение, что придворные дамы, заинтересовавшись Простаком, пригласят его присутствовать при их туалете и даже обратятся к нему на выходе с любезным приветствием: «Здравствуйте, господин Простак!» А после этого речь о нем уже, наверное, пойдет за королевским ужином. Письмо было подписано: «Преданный вам Вадблед, брат-иезуит».

Когда приор громко прочел это письмо, его племянник, хотя и сдержал овладевший им порыв бешенства настолько, что не сказал ни слова посланному, но все-таки обратился с вопросом к Гордону, прося его высказать мнение о тоне полученного послания.

— Эти особы, — сказал Гордон, — обращаются с людьми, как с обезьянами: они их бьют, чтобы заставить танцовать.

Простак, в котором вскипел и поднялся его прежний характер (что всегда бывает в минуты сильных душевных потрясений), разорвал письмо в клочки и швырнул ими в лицо посланному, крикнув:

— Вот ответ!

Приору при виде этого почудилось, что двадцать приказов об аресте уже обрушились на его голову, как громовые стрелы. Мигом настрочил он послание, в котором умолял изви-

нить племянника за это «увлечение молодости» — имя, каким спешил он прикрыть порывы его благородных чувств. Неприятное впечатление этого происшествия скоро рассеялось, хотя, к сожалению, вследствие причины еще более грустной.

Прелестная и несчастная Сент-Ив явно угасала. Она уже начала впадать в полузабытье, которое всегда означает, что природа истощила в борьбе с недугом последние силы.

— О, мой милый, — шептала она коснеющим языком, — я искупаю мой проступок смертью, но, умирая, утешаюсь мыслью, что вы свободны. Я обожала вас в минуту моей измены, обожаю и теперь, говоря последнее «прости».

В ней не замечалось ни малейшего старания выказывать искусственную твердость духа перед неизбежным, чем нередко вызываются впоследствии изумленные возгласы свидетелей смерти: «Подумайте, как безропотно она умерла!» Умереть без слез и горьких сожалений в двадцать лет, потеряв не только любимого человека, но и то, что называют честью, не был бы в состоянии никто. Сент-Ив слишком хорошо чувствовала всю скорбь своего положения и это явно высказывалось в ее словах и взорах, говоривших красноречивее слов. В минуты, когда силы ее возвращались настолько, что давали возможность плакать, она плакала также горько, как и все ее окружавшие.

Пусть хвалит, кто хочет, тот вид смерти, когда умирающий переходит к своему разрушению, повидимому, с тупым равнодушием. Так умирают лишь животные. Мы же умираем

подобной смертью лишь в тех случаях, когда старость или болезнь, притупляя наши умственные способности, превращают нас почти в животных. Чем более мы теряем, тем более о том сожалеем. И тот, кто не желает обнаружить этого чувства, доказывает только, что он не в силах отделаться от тщеславия даже у дверей гроба.

Нечего говорить, что слезы и горе роковой минуты были неописуемы. Отчаяние Простака граничило с неистовством. Люди с сильной и твердой душой обыкновенно выражают свое горе энергичнее, чем кроткие и слабые. Добряк Гордон, хорошо изучивший характер Простака, имел полное право опасаться, как бы этот несчастливец, оправясь от первого припадкa отчаяния, не наложил на себя рук. От него поспешили отобрать все оружие. Он это заметил, и, обратясь, повидимому, спокойно, без слез и без криков к Гордону и прочим, сказал:

— Неужели вы думаете, что кто-нибудь на свете имеет право и власть помешать мне кончить жизнь, если я этого захочу?..

Гордон остерегся возражать ему на это тем пустословием, каким обыкновенно пытаются в подобных случаях утешать людей, толкуя им, что нельзя злоупотреблять свободой до решимости лишить себя жизни даже в тех случаях, когда она становится невыносимой, что не следует покидать жилище даже в том случае, если в нем невозможно жить; что человек на земле подобен солдату на своем посту. Как будто высшему существу не все равно, будет ли находиться здесь или в другом месте ничтож-

ная кучка праха? Твердая, продиктованная отчаянием решимость не обратит ни малейшего внимания на бессильные аргументы такого рода. Катон \* ответил на них ударом кинжала.

Мрачное молчание Простака, его темные впалые глаза, трясущиеся губы, нервная дрожь, пробегавшая по всему телу, — все это поселяло ужас в души окружающих, смотревших на него с тем чувством сожаления и вместе страха, которое лишает возможности говорить и выражается лишь отрывочными восклицаниями. Хозяйка дома прибежала со всей семьей. На него смотрели с ужасом, за ним следили, наблюдали малейшее его движение. Похолодевшее тело дорогой покойницы было перенесено в зал нижнего этажа далее от глаз несчастного, а он все смотрел, как будто отыскивая ее попрежнему, хотя глаза его едва ли что-нибудь видели.

Гроб по обычаю поставили у входных дверей; два священника, поместившись возле кропильницы, начали читать равнодушными головами молитвы. Некоторые прохожие окропляли гроб (больше по привычке) несколькими каплями святой воды; другие проходили, не обращая на него никакого внимания; родственники продолжали плакать, как вдруг, среди этой сцены смерти и горя, неожиданно появился Сен-Пуанж с версальской подругой покойницы.

Блажная вспышка его страсти, удовлетворенная только один раз, превратилась в настоящую любовь. Отказ Сент-Ив принять подарки уколол до нельзя его самолюбие. Отец Ла-Шэз никогда не снизошел бы до посещения подобного обыкновенного дома, но Сен-Пуанж, пре-

следуемый день и ночь образом Сент-Ив, и пылая своей страстью, которая разгорелась сильнее прежнего, не колебался ни минуты броситься сломя голову на поиски женщины, которую он, наверно, не захотел бы увидеть и три раза, если бы она сама предложила ему свои объятия.

Выйдя из кареты и наткнувшись прежде всего на гроб, он отвернулся с видом того отвращения, какое обыкновенно выказывают в подобных случаях счастливец, избалованные до того, что им кажется, будто судьба должна с особенной заботой устранять от их взоров все, что может напомнить им о темных сторонах жизни. Он взшел на лестницу. Его спутница любопытствовала узнать, чьи готовятся похороны. В ответ было произнесено имя Сент-Ив. Услыша это, она вскрикнула и побледнела. Сен-Пуанж быстро обернулся. Изумление и горе волной хлынули в его душу. Добряк Гордон приостановил чтение печальных молитв и изложил знатному посетителю в кратких словах историю печальной катастрофы, сохраняя тот внушительный вид, какой всегда отражается на лице людей, сообщающих горестную правду. Сен-Пуанж не был зол от природы. Вечная беготня по делам и нескончаемая погоня за удовольствиями мешали ему заглянуть в свою собственную душу и решить серьезно, чем он был. Он еще далеко не достиг тех преклонных лет, когда сердце людей, привыкших к власти, обыкновенно отвердевает словно камень. Он слушал Гордона, опустив глаза и отирая невольно набежавшие слезы.

Поток этих слез его изумлял. Он почувствовал, что значит раскаяние.

— Я хочу, — сказал он, — непременно видеть того необыкновенного человека, о котором вы мне рассказывали. Судьба его трогает меня почти столько же, сколько и судьба несчастной жертвы, в смерти которой я виновен.

Гордон проводил его в комнату, где приор, тетушка Керкабон и аббат Сент-Ив хлопотали около Простака, который в эту минуту снова лишился чувств.

— Я причина ваших несчастий, — сказал Сен-Пуанж, — и обещаю вам посвятить всю мою жизнь на то, чтобы хоть сколько-нибудь исправить сделанное мной зло.

Первою мыслью Простака, когда он увидел перед собою этого человека, было убить его одним ударом, а затем лишить жизни и себя. Ничто не могло быть натуральнее этого порыва. Но Простак был безоружен и, сверх того, за ним смотрели во все глаза. Сен-Пуанж нимало не оскорбился презрительным отказом и знаками отвращения, какие были ему заявлены в ответ на его слова. Но время успокаивает мало-по-малу все. Господин де Лувуа сумел сделать отличного офицера из Простака, который под другим именем появился в Париже и в армии, где пользовался уважением всех честных людей, как неустрашимый воин и философ.

Воспоминание о былом, вызывая постоянно на глазах его поток горьких слез, в то же время служило ему некоторым утешением. Память о милой Сент-Ив сберег он до последней минуты своей жизни. Аббат Сент-Ив и приор



получили назначения на хорошие должности. Тетушка Керкабон убедилась, что племяннику ее действительно гораздо лучше было сделаться офицером, чем субдиаконом. Версальская подруга Сент-Ив, кроме припрятанных ею на память серег, получила еще богатый подарок. Отец Тутату жил попрежнему припеваючи, благодаря никогда не прекращавшейся присылке всевозможных подношений в виде шоколада, кофе, сахару, лимонов, и тому подобной благодати вместе с душеспасительными книгами в сафьяновых переплетах, как, например, «Размышлений» преподобного отца Круазе, или «Цветника блаженных». Добряк Гордон прожил в теснейшей дружбе с Простакком до самой смерти. Он получил также хорошее место и отрекся навсегда от своего прежнего учения о действительной благодати. Он выбрал своим девизом слова: несчастье может иногда послужить на пользу. Сколько есть на свете честных людей, которые имеют право сказать: от несчастья не бывает никакой пользы.



ЦАРЕВНА  
ВАВИЛОНСКАЯ

1 7 6 8



**L A P R I N C E S S E  
D E B A B Y L O N E**

**1 7 6 8**



## I

Старый Бел, царь Вавилона, считал себя первым человеком на земле, потому что все придворные говорили ему это, и историографы подкрепляя это доводами. До некоторой степени эту смешную его уверенность может оправдать, то обстоятельство, что, хотя предшественники его построили Вавилон за тридцать тысяч лет до него, но он значительно украсил город. Известно, что его дворец и парк, расположенные в нескольких парансангах \* от Вавилона, занимали пространство между Тигром и Ефратом и представляли восхитительные берега, омываемые водами этих рек. Его обширный дом, в три тысячи шагов по фасаду, возвышался до облаков. Крыша в виде террасы, была окружена балюстрадай из белого мрамора, в пятьдесят футов высоты, украшенной колоссальными статуями царей и всех великих людей царства. Крыша эта, составленная из двух рядов кирпичей, залитых толстым слоем свинца от одного края до другого. была покрыта сверх того

сплошным слоем земли, глубиною в двенадцать футов, и на этой земле произрастал целый лес олив, пальм, апельсиновых, лимонных, гвоздичных, кокосовых и коричных деревьев, образовавших непроницаемые для знойных солнечных лучей аллеи.

Воды Евфрата подымались в эти сады посредством сотни насосов, проложенных внутри коллон, и наполняли огромные мраморные бассейны; далее эти воды изливались в каналы, образовывали в саду каскады, шириною до шести тысяч футов, сотню тысяч фонтанов, высота которых едва доступна была взору, и возвращались снова в лоно реки. Сады Семирамиды, \* удивлявшие Азию несколько веков спустя, были только слабым подражанием этим древнейшим чудесам.

Но что всего прекраснее было в Вавилоне, что затмевало все остальное, так это — единственная дочь царя, по имени Формозанта. Ее портреты и бюсты послужили, спустя много веков, образцом Афродиты, изваянной Праксителем и прозванной потом Венерой Каллипигой. \* Но, боже, какая разница между оригиналом и копией. Бел гордился дочерью больше, чем своим царством. Ей исполнилось семнадцать лет и пора было найти ей достойного супруга: но где искать? Древний оракул предсказал, что Формозанта должна принадлежать тому, кто натянет лук Нимврода. \* Этот Нимврод, сильный ловец перед господом, оставил после себя лук длиною в семь вавилонских футов из черного дерева, более крепкого, чем кавказское железо, которое куют в кузницах

Дербента, и ни один смертный со времен Нимрода не мог натянуть необыкновенный лук.

Это еще не все. Рука, натянувшая лук, должна была убить самого ужасного и свирепейшего из львов, каких только видели на арене вавилонского цирка; далее победитель льва должен был одолеть в единоборстве всех соперников; но прежде всего, он должен был воочию явиться всех умнее, всех великодушнее, всех добродетельнее и обладать, сверх того, самой редкой в мире вещью.

Три царя осмелились оспаривать руку Формозанты; то были: египетский фараон, индийский шах и великий хан скифов. Бел назначил день и место соревнования. Последнее должно было произойти в конце его парка, на обширной арене, где сходились воды Евфрата и Тигра. Вокруг этого пространства воздвигли мраморный амфитеатр, долженствовавший вместить в себе пятьсот тысяч зрителей. Вблизи этого амфитеатра находился трон царя; последний должен был явиться вместе с Формозантой, в сопровождении всего двора. Направо и налево между троном и амфитеатром возвышались также троны и почетные места для соперничавших царей и знатных гостей, явившихся присутствовать при этом необыкновенном царственном зрелище.

Египетский царь прибыл первым, восседая на спине быка Аписа, имея в руках сестр Изиды.\* За ним следовали две тысячи жрецов, в облачениях из полотна белее снега, две тысячи евнухов, две тысячи мавров и две тысячи воинов.

Вскоре за ним явился царь Индии в колеснице, влекомой двенадцатью слонами.

Свита его была еще многочисленнее и блестящее свиты фараона.

Последним явился скифский царь. Его сопровождали только одни избранные воины, вооруженные луками и стрелами. Ему заменял коня великолепный тигр, им самим укрощенный, не уступавший ростом прекраснейшим коням Персии. Рядом с внушительной и величественной фигурой этого царя, его соперники выглядели совсем маленькими: его голые руки, белые и мускулистые, казалось, уже натягивали лук Нимврода.

Все три государя простерлись ниц перед Белом и Формозантой. Фараон принес в дар царевне двух прекраснейших нильских крокодилов, двух гишпопотамов, двух зебр, двух египетских крыс и две мумии, а вместе с тем две книги великого Гермеса \* — вещь, которую он считал величайшей редкостью в мире.

Индийский царь предложил царевне сто слонов, из которых каждый нес на спине башню из золоченого дерева, — и положил к ее ногам В е д ы, \* написанные рукой самого Ксаки. \*

Повелитель скифов, не умевший ни читать, ни писать, подарил ей сто боевых коней, покрытых попонами и шкурами чернобурых лисиц.

Царевна опустила глаза и ответила поклоном, исполненным достоинства и скромности.

Бел приказал отвести всех трех царей на приготовленные для них места.

— Почему нет у меня трех дочерей? — говорил он им. — Я бы сделал сегодня шесть человек счастливыми.

Затем он велел бросить жребий, кому первому пробовать лук Нимврода. Имена трех соискателей положили в золотой шлем. Первым выпал жребий фараона, затем следовало имя индийского царя. Царь скифов, глядя на лук и на своих соперников, не сожалел о том, что он третий.

Пока шли приготовления к блестящему состязанию, двадцать тысяч пажей и двадцать тысяч молодых девушек, без малейшего замешательства и нарушения порядка, разносили между рядами скамей прохладительные напитки. Все признавали, что боги создали царей для того, чтобы они обращали каждый день в праздник, внося разнообразие в развлечения; что жизнь слишком коротка, чтобы не пользоваться ею с этой целью; что судебные тяжбы, интриги, войны и богословские диспуты представляют неприятную и ненужную трату времени, напрасно сокращая жизнь; что человек рождается только для веселья: что он не питал бы такой постоянной и страстной склонности к удовольствиям, если бы не был для них создан; что природа человека естественно расположена к радости, и что все остальное—одно безумие. Этой превосходной морали противоречили всегда одни только факты.

В тот момент, когда готовились приступить к испытанию, долженствовавшему решить судьбу Формозанты, к ограде арены приблизился молодой незнакомец, сидевший на спине единорога, в сопровождении слуги на таком же животном. Незнакомец держал на руке большую птицу. Стража была изумлена при виде



странного животного и сидевшего на нем юноши, который имел облик божества. Говорили впоследствии, что у него была голова Адониса \* на торсе Геракла, величие соединилось в нем с приятностью; черные брови и длинные белокурые волосы, являя тип красоты, невиданной до тех пор в Вавилоне, очаровали все собрание. Весь амфитеатр встал, чтобы лучше рассмотреть его; все придворные дамы устремили на него удивленные взоры. Сама Формозанта подняла свои всегда опущенные вниз глаза и покраснела; соперники побледнели; все зрители, глядя на юношу, восклицали:

— В целом мире один этот молодой человек столь же прекрасен, как царевна.

Пораженные удивлением начальники стражи спросили незнакомца, не царь ли он? Чужестранец ответил, что не имеет этой чести, но сказал, что прибыл издалека, привлеченный любопытством и желает знать, существуют ли цари, достойные руки Формозанты. Его провели вместе со слугой, единорогами и птицей в первый ряд амфитеатра, где он отвесил глубокий поклон Белу, его дочери, трем королям и всему собранию и, покраснев, занял свое место, оба единорога легли у его ног, птица вспорхнула к нему на плечо, а слуга, имевший при себе небольшой мешок, расположился рядом с ним.

## II

Состязание началось. Из золотого футляра вынули лук Нимврода. Старший церемониймейстер, в сопровождении пятидесяти пажей и

предшествуемый двадцатью трубачами, подал лук фараону. Египетский царь приказал жрецам благословить лук и, положив его на голову Аписа, не сомневался в том, что одержит эту победу. Выступив на середину арены, он пробует, напрягает все силы, делает судорожные движения, но вызывает этим только хохот зрителей и даже улыбку Формозанты.

Его главный духовник приблизился к нему и сказал: «Откажитесь, ваше величество, от суетной чести, основанной только на силе мускулов, — вы одержите верх во всем остальном: вы победите льва, потому что у вас есть сабля Озириса; вавилонская царица должна принадлежать умнейшему, а вы разрешите труднейшие загадки; она должна стать супругой самого добродетельного человека; человек этот вы, вас воспитали египетские жрецы; тот, кто всех щедрее, должен обладать ею, а вы подарили ей двух прекраснейших крокодилов и двух прекраснейших крыс, какие есть в Дельте; вы владеете быком Аписом и книгами Гермеса, а это самые редкие вещи в мире: никто не может оспаривать у вас Формозанту». — «Вы правы», ответил фараон и занял снова свой трон.

Тогда вручили лук индийскому царю; он натер себе мозоли, не сходявшие потом с рук две недели, но утешился, заранее уверенный, что царь скифов не будет счастливее его.

Настала очередь скифа; он соединял в себе силу и ловкость, так что в его руках лук, казалось, стал сгибаться; он даже несколько его согнул, но не мог довести дело до конца. Его приятная внешность вызвала сочувствие зрите-

лей; многие вздохнули, сожалея о его неудаче, и подумали, что прекрасная царевна никогда не будет замужем. Тогда молодой незнакомец одним прыжком очутился на арене, и, обратившись к повелителю скифов, сказал: «Не удивляйтесь, ваше величество, что вам не удалось вполне достигнуть цели; эти самострелы из черного дерева делаются на моей родине, и нужно знать особый прием для обращения с ними; гораздо больше чести для вас согнуть его немного, чем для меня натянуть его вполне. Сказав это, он взял стрелу, положил ее на тетиву, натянул затем лук Нимврода, и стрела мгновенно упала далеко за пределами арены. Миллион рук аплодировал этому чуду. Весь Вавилон огласился одобрительным гулом, и все женщины говорили: «Как хорошо, что прекрасный юноша так силен».

Он вынул между тем из кармана маленькую дощечку из слоновой кости, начертил на ней что-то золотой иглой, прикрепил эту дощечку к луку и поднес царевне, чаруя при этом всех своими манерами и обхождением. Затем он скромно вернулся и занял свое место между птицей и слугой. Весь Вавилон был в изумлении, цари сконфузились, но незнакомец, по видимому, ничего не замечал.

Формозанта была еще более поражена, прочитав на дощечке несколько рифмованных строчек на прекрасном халдейском языке. Содержание их было следующее:

Нимврода лук—оружье боевое,  
Амура лук — оружие любви.

Он ваш теперь. Блаженство неземное  
Вы можете дарить, будя огонь в крови.  
Три мощные царя вступили в состязанье.  
И ваш единый взгляд для них теперь закон.  
Ждет победителя счастливое венчанье.  
Но всех несчастней тот, кто будет побежден.

Небольшой мадригал этот несколько не рассердил царевну. Несколько придворных прежнего двора критиковали его, говоря, что раньше, в доброе старое время, сравнили бы Бела с солнцем, а Формозанту с луной, ее шею с башней, а горло с четвериком пшеничного зерна, они говорили, что у чужеземца вовсе нет воображения, и что он не знает правил истинной поэзии; но все дамы нашли стихи очень любезными; они удивлялись, что человек, так хорошо владевший луком, вместе с тем так умен. Одна из придворных дам царевны шепнула ей: «Сударыня, — сколько талантов пропадают в нем совершенно даром. На что послужат молодому человеку его ум и сила?»

— На то, чтобы им восхищались, — ответила царевна.

— Ах, — процедила придворная дама сквозь зубы; — еще один мадригал и он мог бы быть любим.

Между тем Бел, посоветовавшись со своими магами, объявил, что, несмотря на неудачные попытки трех царей, Формозанта, тем не менее, должна выйти замуж и что она будет принадлежать тому, кто победит льва, откормленного нарочно для этого случая в его зверинце. Египетский фараон, который был вскормлен

всей мудростью своей страны, находил, что просто смешно подвергать царя опасности быть съеденным, только для того, чтобы его женить; он признавал, что обладание Формозантой высокая награда, но был того мнения, что не сможет жениться на прекрасной вавилонянке, если лев им полакомится. Индийский царь отнесся сочувственно к этому взгляду фараона. Оба решили, что вавилонский царь смеется над ними; что надо призвать войско, чтобы его наказать; что у них довольно подданных, которые сочтут за честь умереть вместо своих повелителей, прежде чем упадет волос с их священных голов; что они без труда могут лишить вавилонского царя престола и затем жребием решить, кому достанется Формозанта.

Сговорившись таким манером, каждый из них отправил в свою страну приказ собрать армию в триста тысяч человек, с целью похитить Формозанту.

Один только скифский царь сошел на арену, держа палаш в руке. Он не был до безумия очарован красотой Формозанты; слава до сих пор была его единственной страстью, и она привела его в Вавилон. Он хотел показать, что если цари Индии и Египта достаточно благоразумны и не хотят подвергаться опасности в борьбе со львами, у него хватит мужества, чтобы не отказаться от испытания и восстановить обаяние венца. Его редкое мужество не позволило ему даже воспользоваться услугами ручного тигра; он выступил один, в легком вооружении, защищенный стальным шлемом

с золотою насечкой, на котором развевались три лошадиные хвоста, белые, как снег.

Против него выпустили огромнейшего льва, какой когда-либо был вскормлен в Ливанских горах. Его ужасные когти, казалось, способны были растерзать, а его пасть проглотить всех трех царей сразу. Его грозное рычание заставило задрожать весь амфитеатр. Двое смелых борцов бросились друг на друга с немыслимой быстротой; смелый скиф вонзил свой меч в пасть льва, но острие, встретив один из крепких, непроницаемых зубов, сломилось в куски, и лесное чудовище, остервеневшее от раны, уже впивало когти в тело монарха.

Молодой незнакомец, тронутый опасностью, угрожавшей смелому государю, быстрее молнии бросился на арену; он снял голову льву с такой ловкостью, с какою наши молодые люди во Франции снимают на каруселях кольца или голову мавра.

Вынув маленький ящичек, он подал его скифу и сказал: «Ваше величество, вы найдете в этом ящичке настоящий диктам, \* растущий на моей родине. Ваши славные раны будут излечены в один миг. Только случай помешал вам победить льва, но ваше мужество достойно удивления».

Скиф, более доступный чувству благодарности, нежели ревности, поблагодарил своего спасителя, и, нежно поцеловав его, удалился, чтобы залечить раны лекарством.

Незнакомец передал львиную голову слуге, который, вымыв ее в мраморном бассейне фонтана и выпустив всю кровь, вынул из мешка

стальные клещи, вырвал все сорок львиных зубов и заменил их таким же количеством алмазов, не менее крупной величины.

С тою же отличавшей его скромностью, молодой человек занял свое место. Голову льва он дал теперь птице. «Прекрасная птица», сказал он, «снеси к ногам Формозанты этот слабый знак моего усердия». Птица улетела, держа в когтях грозный трофей; она подала его царице, склонив почтительно голову и опустившись к ногам ее. Сорок алмазов ослепили все глаза; это великолепие было новостью в блестящем Вавилоне, изумруд, топазы, сапфир считались драгоценнейшими украшениями. Бел и весь его двор были объаты изумлением. Но птица сама удивляла их еще больше: она походила в общем на орла, но глаза ее были столь же кротки и нежны, сколько глаза орла выражают угрозу и жестокость. Ее клюв был розового цвета и, казалось, имел нечто общее с красивым ртом Формозанты; ее шея напоминала цвета радуги, но белее яркие и живые; ее перья отливали всеми оттенками золота; ее ноги казались окрашенными смесью серебра и пурпура, и хвосты прекрасных птиц, запрягавшихся впоследствии в колесницу Юноны, \* не могли сравниться с ее хвостом.

Всеобщее внимание, любопытство, удивление и восхищение всего двора делилось между сорока алмазами и птицей. Она села на барьер между царем и его дочерью, Формозанта гладила ее, целовала и называла ласковыми именами. Птица возвращала поцелуи и при этом смотрела на царицу нежными глазами; она

брала из рук ее бисквиты и фисташки и своими пурпурно-серебряными лапками с невыразимой грацией клала лакомства в клюв.

Бел, внимательно присматриваясь к брильянтам, подумал о том, что едва ли одна из его провинций может оплатить стоимость такого подарка. Он приказал приготовить для незнакомца дары великолепнее тех, которые были приготовлены для царей. «Этот юноша, без сомнения, сын китайского императора или властителя той страны, которую зовут Европой, о которой я слышал, или Африки, земли соседней, как говорят, с египетским царством».

Он тотчас послал своего главного конюшего приветствовать чужеземца, спросить, властелин ли он одной из этих стран, и почему, обладая такими сокровищами, он приехал с одним слугой и маленьким мешком?

В то время как главный конюший приближался к амфитеатру, чтобы исполнить поручение, явился другой слуга на единороге. Обратившись к молодому человеку, он сказал: «Омар, отец ваш, умирает, и я явился известить вас об этом». Незнакомец поднял глаза к небу, и в них показались слезы. Он ответил только одним словом: «Едем».

Главный конюший передал приветствие Бела победителю льва, щедрому гостю, обладателю прекрасной птицы, и спросил у слуги, какое государство принадлежит умирающему отцу юноши? Слуга ответил: «Его отец — старый пастух, любимый всеми в целой округе».

Во время этой краткой беседы, незнакомец уже сидел на единороге и сказал конюшему:



«Передайте, сударь, Белу и его дочери, что я их покорный слуга и осмеливаюсь просить царевну заботиться о птице, которую ей оставляю. Она единственная в своем роде, как сама **Формозанта**».

Сказав это, он исчез, как молния. Двое слуг последовали за ним и скоро пропали из виду. **Формозанта** не могла удержаться от восклицания. Птица, обернувшись к тому месту, где сидел ее хозяин, повидимому, казалась опечаленной, не видя его больше, но затем, внимательно посмотрев на царевну и коснувшись слегка клювом ее прекрасной руки, она как бы выразила готовность служить ей.

Бел, изумившись до нельзя, когда узнал, что необыкновенный юноша не более, как простой пастух, не в силах был этому верить. Он велел догнать его, но посланные скоро вернулись и объяснили, что единорогов, увозивших гостя и слуг, невозможно догнать, и что они, по всей вероятности, делают по сто лье в день.

### III

Все рассуждали об этом странном приключении и истощали усилия ума в напрасных догадках о том, каким образом сын пастуха мог дарить сорок алмазов, почему он ездит на единороге, и т. д. Все терялись в предположениях а **Формозанта**, лаская птицу, погружена была в глубокие грезы.

Княжна **Алдея**, троюродная сестра ее, прекрасно сложенная и почти столь же красивая, как **Формозанта**, говорила ей:

— Не знаю, кузина, может быть, этот юноша и сын пастуха, но мне кажется, он выполнил все, что дает ему право на вашу руку: он натянул лук Нимврода и победил льва; он очень умен, доказательством чему служит изящный мадригал; далее, о человеке, подарившем вам сорок алмазов, нельзя не сказать, что он самый щедрый из людей; его птица бесспорно самая редкая вещь в мире, а его добродетель не имеет себе равной, так как он, имея возможность остаться с вами, не задумываясь, отправился в путь, когда узнал о болезни отца. Он удовлетворил всем требованиям оракула, кроме одного, а именно — поражения соперников; но он сделал больше: он спас жизнь единственному, который мог с ним состязаться, и, если непременно надо было побить остальных двух, вы едва ли сомневаетесь в том, что он легко с ними бы справился.

— Все, что вы говорите — правда, — ответила Формозанта, — но возможно ли, что храбрейший из людей, и притом в такой степени любезный, — сын пастуха.

Одна из придворных дам, вмешавшись в разговор, заметила, что слово пастырь часто применяется к царям: их зовут пастырями, потому что они также стригут до гола свое стадо (то была глупая шутка служанки), что молодой человек явился с такой простотой лишь с целью ярче показать, насколько его личные достоинства выше царской пышности, и быть обязанным Формозантой только самому себе. В ответ на все это царевна нежно поцеловала птицу несчетное число раз,

Между тем шли приготовления к большому пиру в честь трех царей и других вождей, явившихся на праздник. Дочь и племянница царя должны были явиться хозяйками на этом пиру. Царям передали подарки, достойные великолепия Вавилона. Перед началом ужина Бел собрал совет и повел речь относительно замужества Формозанты, при чем выказал себя большим дипломатом.

— Я уже стар, — сказал он, — а между тем, не знаю, кому отдать дочь и что мне делать. Тот, кто ее заслужил, — простой пастух; цари индийский и египетский — трусы; повелитель скифов мне нравится больше других, но он не выполнил ни одного из условий. Я посоветуюсь еще раз с оракулом, а вы пока рассуждайте, и мы решим согласно с тем, что он скажет, ибо цари должны руководствоваться только велениям бессмертных богов.

Затем он отправился в свою молельню; оракул, по обыкновению, ответил ему немногими словами:

— Дочь твоя не выйдет замуж, пока не постранствует по свету, — сказал он.

Бел вернулся в совет и повторил эти слова.

Все министры питали глубокое уважение к оракулам; все они признавали или делали вид, будто признают их столпами религии; что разум должен молчать перед ними; что благодаря им цари сохраняют власть над народами, а маги над королями, и что без оракулов не было бы ни добродетели, ни мира на земле. Наконец, засвидетельствовав свое глубочайшее почтение к ним, они почти единогласно при-

шли к заключению, что этот оракул слишком дерзок; что не следует слушаться его; что ничего нет неприличнее для девушки вообще и для дочери вавилонского царя в особенности, как странствовать по свету, неизвестно зачем; что это вернейший путь не выйти вовсе замуж или выйти так, что брак поставит ее в положение нелепое, недостойное и смешное, словом, что у оракула нет здравого смысла.

Самый молодой из министров, по имени Ондаз, умнейший из них, сказал, что оракул разумен, вероятно, какое-нибудь благочестивое паломничество и предложил сопровождать царевну. Совет согласился с этим мнением, но каждый хотел взять на себя роль указателя пути. Царь решил, что дочь может отправиться в храм, находившийся в расстоянии трехсот парасангов, на поклонение святому, которого считали покровителем брачных союзов, и что ее должен сопровождать старейший из членов совета. Приняв это решение, все отправились ужинать.

#### IV

Посреди садов, между двумя каскадами, возвышался овальной формы салон величиною до трехсот футов в диаметре, лазурный свод которого, усеянный золотыми звездами, воспроизводил в совершенстве все небесные явления. Этот свод со всем, что на нем было, приводился в движение невидимым механизмом, подобно тому, как настоящие звезды и светила. Сто тысяч светильников, заключенных в цилиндры из горного хрусталя, освещали столовую

внутри и извне; буфеты имели вид маленьких амфитеатров; один заключал в себе двадцать тысяч ваз и золотых блюд, другой, стоявший напротив, служил для всевозможных фруктов, третий наполнен был хрустальными амфорами, и в них сверкали вина из всех стран земли. Наконец, четвертый амфитеатр служил помещением для музыкантов.

Гости заняли места вокруг стола, украшенного резьбой, изображавшей цветы и фрукты, расцвеченные драгоценными камнями. Прекрасная Формозанта сидела между индийским царем и фараоном, а прекрасная Алдея рядом с повелителем скифов.

Здесь было около тридцати государей и каждый сидел рядом с одной из красивейших придворных дам. Царь Вавилона занимал место посередине, против своей дочери. Казалось, чувства его делились между радостью оттого, что Формозанта еще остается с ним, и горем оттого, что он не мог выдать ее замуж. Формозанта просила его позволить ей держать птицу возле себя за столом, и царь охотно на это согласился.

Затем началась музыка, и это дало знатым гостям возможность свободно занимать своих соседок. Пир отличался не только пышностью, но и приятностью. Пред Формозантой поставили рагу, особенно любимое ее отцом. Царевна заметила, что надо передать ему блюдо, и птица тотчас схватила его с удивительной ловкостью и понесла к царю. Невозможно было описать изумление пировавших гостей. Царь ласкал птицу не менее, чем это делала дочь.

Лтица вернулась тотчас к своей госпоже. По пути она распустила великолепный хвост; ее крылья переливали такими прекрасными цветами и золотистые перья ее так ослепительно сверкали, что пораженные гости смотрели только на нее; музыканты перестали играть и остались неподвижными... Никто не ел, никто не говорил, слышен был только общий шопот удивления. Царевна целовала ее во время всего ужина, забыв, повидимому, о существовании всех царей в мире. Фараон и индийский царь были раздосадованы теперь еще сильнее, и каждый из них, негодуя, мысленно обещал себе поторопить своих триста тысяч воинов и отомстить.

Что до скифского царя, то он был очень занят своей соседкой, прекрасной Алдеей. Обладая гордым сердцем, он не испытывал ни гнева, ни досады от невнимания Формозанты и относился к этому скорее равнодушно. «Она хороша», — говорил он, — я признаю это, но, мне кажется, она принадлежит к числу женщин, всецело занятых своей красотой и убежденных, что все должны быть счастливы, если они снисходят до того, что позволяют на себя глядеть, показываясь в свете. На родине моей не кланяются кумирам. Я предпочел бы некрасивую женщину, но любезную и внимательную, этой прекрасной статуе. Вы, сударыня, не менее прекрасны и, вместе с тем, так добры, что удостоиваете вашей беседой чужестранца. Мы, скифы, народ откровенный и я признаюсь, что отдаю вам предпочтение перед вашей кухней».

Он, однако, ошибался насчет характера Формозанты: она не была так пренебрежительна, как ему казалось. Во всяком случае, его любезность очень понравилась царице Алдее, и беседа их становилась все интереснее. Прежде чем настало время встать из-за стола, они уже вполне сговорились и остались довольны друг другом.

После ужина все вышли погулять в садовых кущах. Скиф и Алдея постарались найти укромное местечко, и Алдея, очень откровенная по натуре, сказала царю:

— Я не питаю зависти к моей кузине, хотя она красивее меня и займет со временем трон Вавилона. Я довольна уже тем, что нравлюсь вам такая, как есть, и я предпочитаю Скифию с вами Вавилону без вас. Но вавилонское царство по праву подобает мне, если только в мире значит что-нибудь право, потому что я принадлежу к старшей ветви потомков Нимврода, а Формозанта к младшей: ее дед отнял престол у моего деда и лишил его жизни.

— Так вот как ценят родственную кровь в Вавилоне! — воскликнул скиф. — Как звали вашего деда?

— Его звали Алдеем, как и меня. Отец носил то же имя. Он был заточен вместе с матерью, и Бел после их смерти, не опасаясь ничего с моей стороны, стал воспитывать меня вместе с дочерью, но решил, что я не должна никогда выйти замуж.

— Я отомщу за вашего отца, деда и за вас самих, — сказал царь скифов. — Я отвечаю вам за то, что вы будете замужем: я увезу вас

послезавтра рано утром, потому что завтра должен обедать с царем вавилонским, и я вернусь сюда поддержать ваши права с войском в триста тысяч человек.

— Я очень рада, — ответила Алдея.

Обещав друг другу верить и ждать, они простились.

## V

Несравненная Формозанта уже давно легла почивать. Возле постели она приказала поставить для своей птицы апельсинное дерево в серебряном ящике. Она опустила занавески, но у нее не было ни малейшего желания спать. Ее сердце и воображение были слишком возбуждены. Прекрасный незнакомец стоял перед ее глазами: вот он пускает стрелу из лука Нимврода, вот она видит, как он отсекает голову льву, она повторяет слова его мадригала, наконец, она замечает, как он удаляется на своем единороге... тут она залилась слезами и воскликнула, всхлипывая:

— Никогда, никогда, я не увижу его больше, он не вернется...

— Он вернется, сударыня, — ответила ей птица со своего дерева, — может ли кто бы то ни было увидеть вас один раз и не вернуться?

— О, небо! О, вечные силы! Моя птица говорит чистейшим халдейским языком!

С этими словами она открывает занавески, протягивает руки и, став на колени в своей постели, говорит:

— Не божество ли вы, сошедшее на землю, не сам ли великий Оромазд \* скрывается под



этими красивыми перьями? Если вы бог, верните мне прекрасного юношу.

— Я не более, как птица — был ответ, — но я родилась в те времена, когда еще животные имели дар речи и когда птицы, змеи, ослицы, лошади и коршуны свободно беседовали с людьми. Я не хотела говорить при всех, из опасения, чтобы ваши фрейлины не сочли меня за оборотня; я хочу открыться только вам одной.

Измученная и растерявшаяся Формозанта, очарованная всеми этими чудесами, волнуясь и спеша задать сразу сто вопросов, хотела узнать прежде всего, сколько птице лет.

— Двадцать семь тысяч девятьсот лет и шесть месяцев, сударыня, — ответила та; — в одном возрасте с тою маленькой небесной революцией, которую ваши маги называют процессией равноденствия и которая совершается раз в двадцать восемь тысяч лет без малого. Есть перемены гораздо более продолжительные, и между нами есть существа гораздо старше меня. Вот уже две тысячи лет, как я научилась говорить по халдейски во время одного из моих странствований, и мне всегда нравился этот язык; но другие животные, мои собратья, отказались говорить на земле.

— Почему же, скажи, божественная птица?

— Потому что люди, увы, приобрели привычку поедать нас, вместо того, чтобы беседовать с нами и учиться у нас... О, варвары, как будто они не могли убедиться, что, имея те же органы, те же чувства, те же потребности и желания, мы имеем и ту же душу, как они это

называют, что мы их братья, и что только злых животных можно варить и есть. Мы — ваши братья, и высшее существо, вечное и творящее, заключив договор с вами,<sup>1</sup> включило в него и нас: оно запретило вам питаться нашей кровью и нам пить вашу. Басни вашего древнего Локмана, \* переведенные на все языки, останутся вечным памятником счастливого времени, когда существовало общение между нами; они начинаются всегда этими словами: «В то время, когда животные умели говорить». Правда, между вами многие женщины и теперь беседуют со своими собаками, но последние решили не отвечать с тех пор, как их стали принуждать ударами бича ходить на охоту и быть сообщниками в убийстве наших общих старых друзей: оленей, зайцев, ланей и куропаток. У вас существуют еще старые поэмы, — в них лошади говорят, а ваши кучера еще и теперь ежедневно обращаются к ним со словами; но они делают это так грубо и употребляют такие грязные выражения, что лошади, которые вас некогда очень любили, теперь вас в такой же мере ненавидят. Страна, где живет ваш прекрасный юноша, совершеннейший из людей, остается единственною, в которой ваша порода еще любит нас и умеет говорить с нами, и это единственная также страна на земле, где люди справедливы.

— Но где же она, эта родина моего милого незнакомца? Как зовут этого героя? Как назы-

<sup>1</sup> См. гл. IX 10-й книги Бытия и гл. III, XVIII, XIX Экклезиаста.

(Примеч. Вольтера)

ваются его земли? Я верю столько же тому, что он пастух, как тому, что вы летучая мышь.

— Его родина, сударыня, называется страной гангаридов. Это народ добродетельный и непобедимый, обитающий на восточном берегу Ганга. Моего друга зовут Амазан; он не царь и, я думаю, не жалеет об этом: он слишком любит своих земляков и такой же пастух, как они. Но не думайте, что эти пастухи похожи на ваших голышей, которые стерегут овец, одетых гораздо лучше, чем они, и которые вынуждены платить большие подати из своего ничтожного вознаграждения. Гангаридские пастухи все равны между собою и полные хозяева своих овец, пасущихся многочисленными стадами на вечно цветущих лугах. Они никогда не убивают животных; на берегах Ганга считается тяжким преступлением лишать жизни и есть себе подобных; овечья шерсть тоньше и ослепительнее шелка и служит предметом обширной торговли с Востоком. Кроме того, земля гангаридов производит все, чего только может желать человек: алмазы, принесенные вам в дар Амазаном, добыты в шахтах, принадлежащих ему; единорог, на котором вы его видели, — верховое животное гангаридов; это прекраснейшее из всех животных, гордое и страшное и в то же время весьма кроткое. Сотни гангаридов и сотни единорогов довольно, чтобы рассеять многочисленное войско. Около двухсот лет тому назад один индийский царь возымел безумную мысль покорить этот народ. Он явился и привел с собой десять тысяч слонов, миллион воинов. Единороги про-

калывали слонов вроде того, как у вас подают на стол жаворонков, насаженных на золотые вертела. Воины падали под ударами сабель гангаридов, как падает рис под серпами жителей Востока. Царь был взят в плен вместе с шестьюстами тысяч своих воинов; всех их выкупали в спасительных водах Ганга и стали приучать к местному режиму, т. е. кормили их только растительной пищей, которую природа предназначила для всех живущих. Люди, питающиеся мясом и упивающиеся вином, имеют острую, кипучую кровь и легко приходят в бешенство; один из распространенных видов помешательства заключается в том, что люди эти жаждут крови и опустошают плодородные долины с целью властвовать над кладбищами. Шесть месяцев пошло на лечение индийского царя от этой болезни. Когда, наконец, врачи установили, что пульс его стал спокойнее и рассудок вернулся к нему, они засвидетельствовали это перед советом. Совет, согласившись с мнением единорогов, препроводил индийского царя, его придворных олухов и глупых воинов на родину, не причинив им никакого вреда. Этот урок был им полезен и сделал их умнее; с той поры индийцы питают уважение к гангаридам, подобно тому, как в вашей стране невежды, желающие чему-нибудь научиться, уважают халдейских философов, но не могут с ними никогда сравняться.

— Кстати, милая птица, — сказала царица, — есть ли религия у гангаридов?

— Можете ли вы в этом сомневаться, сударыня? Каждое полнолуние мы собираемся для

молитвы: мужчины в одном храме, — женщины, во избежание рассеяния, в другом; все птицы — в роще, четвероногие — на лугу. Мы благодарим тогда создателя за все блага, которыми пользуемся... Лучшие проповедники у нас — это попугаи... Такова родина моего милого Амазана и также мое отечество; моя привязанность к нему столь же сильна, как ваша любовь. Если вы верите мне, мы отправимся вместе, и вы осчастливите его вашим посещением.

— Поистине, моя птичка, вы взялись за хорошее ремесло, — сказала царевна, улыбаясь.

Она сгорала желанием совершить это путешествие, но не смела в этом признаться.

— Я служу моему другу, — ответила птица — и радость служить тому, кого любишь, уступает только счастью вас любить.

Формозанта решительно не знала, что с ней; ей казалось, что она не на земле. Все, что она видела в этот день, все, что слышала, и в особенности то, что она чувствовала сердцем, привело ее в восторг, далеко превосходивший тот, который испытывают мусульмане, когда, освободившись от земных уз, прилетают на девятое небо и наслаждаются в объятиях гурий, увенчанные ореолом славы и небесного блаженства.

## VI

Всю ночь Формозанта говорила об Амазане. Она называла его своим пастушком, и с того времени слова пастух и возлюбленный стали употреблять у некоторых народов, как одно-

значашие. Она то спрашивала у птицы, любил ли Амазан других женщин, — и та отвечала «нет», чему царица крайне радовалась, то хотела знать, какой образ жизни ведет он, и с глубоким волнением слушала, когда птица говорила ей о том, что он старается делать добро, содействовать успехам искусств, проникать в тайны природы и стремиться к совершенству. То она хотела знать, обладает ли ее птица точно такою же душою, как и господин ее, почему ей двадцать восемь тысяч лет, тогда как ее милому только что минуло восемнадцать или девятнадцать. Она задавала сотни подобных вопросов, и птица отвечала ей довольно сдержанно, чем еще больше возбуждала ее любопытство. Наконец, сон смежил веки Формозанты и ее окружили приятнейшие сновидения, посылаемые богами и превосходящие часто самую действительность, хотя объяснить их едва ли может даже халдейская ученость.

Формозанта проснулась очень поздно. Утро для нее еще не наступило, когда царь-отец вошел в ее спальню. Птица встретила его величество с отменной вежливостью, проводила его до алькова, взмахнула несколько раз крыльями вытянула шею и снова села на место. Царь присел на постель дочери, похорошевшей под влиянием сонных грез. Его огромная борода коснулась ее лица, и, поцеловав два раза, он сказал:

— Ты не нашла вчера супруга, милочка, надежда обманула меня. Однако, тебе надо выйти замуж, ибо этого требует благо государства. Я советовался с оракулом, который, как

ты знаешь, никогда не лжет и постоянно руководит моими действиями, и он приказал мне отпратьвить тебя путешествовать.

— Ах, к гангаридам, разумеется! — воскликнула царевна и при этих нечаянно вырвавшихся у нее словах поняла, что сказала глупость.

Король понятия не имел о географии, а потому спросил, что она хочет этим сказать. Она поспешила найти отговорку. Затем царь сообщил ей план путешествия. В ее свите назначены были состоять, кроме разной прислуги, старейший член государственного совета, духовник, фрейлина, врач, аптекарь и птица.

Формозанта до приезда царей и Амазана никогда не покидала дворца и вела скучную жизнь среди этикета, пышности и принужденных развлечений, а потому она была в восторге, узнав о предстоящей поездке. Кто знает, думала она втайне, быть может, боги внушат моему милому гангариду желание посетить тот же храм, и я увижу его. Она нежно благодарила отца, уверив его, что она всегда питала в глубине души особое почтение к святому покровителю храма.

Бел устроил для гостей прекрасный обед; присутствовали одни мужчины. Недоставало в этом обществе искренности. Все эти люди, цари, князья, министры, жрецы завидовали друг друга, все обдумывали свои слова и стеснялись соседей и себя самих. Ужин был не весел, хотя пили много. Обе царевны оставались в своих покоях, обедали в одиночку и заняты были каждая приготовлениями к отъезду. Фор-

мозанта пошла потом в сад со своей милой птицей, и эта последняя перелетала с дерева на дерево, чтобы позабавить ее, распуская свой великолепный хвост и щеголяя прекрасными перьями.

Египетский царь, разгоряченный вином, чтобы не сказать пьяный, потребовал лук и стрелы. Его паж подал ему и то и другое. По правде говоря, фараон был наихудшим стрелком в своем государстве, и когда он стрелял, то самое безопасное место было там, куда он метил. Но чудная птица, летевшая сама, как стрела, попала нечаянно под выстрел. Она свалилась, покрытая кровью, на руки Формозантё. Египтянин удалился, глупо смеясь. Царевна вскрикнула так, что ее должно было услышать само небо, проливая слезы и ударяла себя в грудь и в лицо. Птица, умирая, прошептала ей: «Сожгите меня и снесите меня, мой пепел в счастливую Аравию, на восток от древнего города Адена или Эдена, и положите его на солнце на небольшом костре из гвоздики и корицы». Сказав это, она умерла. Формозанта долго оставалась в беспамятстве, и, когда пришла в себя, снова залилась слезами.

Отец, разделяя ее горе и проклиная египетского царя, не сомневался в том, что смерть птицы дурное предзнаменование; он поспешил узнать мнение оракула. Последний сказал: «То и другое, жизнь и смерть, неверность и постоянство, потеря и награда, бедствия и счастье». Ни сам царь, ни его совет не могли ничего понять, но все же он был доволен тем, что исполнил свои религиозные обязанности,



## VII

Пока он советовался с оракулом, дочь его, в слезах воздавала последние почести птице и решила отнести ее пепел в Аравию, хотя бы с опасностью собственной жизни. Птичье тело сожгли в несгораемом льне, вместе с апельсиновым деревом, служившем ей ложем. Формозанта приказала собрать пепел в золотую вазу, украшенную сплошь драгоценными карбункулами и алмазами, вынутыми из пасти льва. Вместо этой печальной необходимости, она охотно сожгла бы ненавистного ей египетского царя. Это было ее единственное желание. В порыве досады она велела убить обоих крокодилов, гиппопотамов и зебр, а также обеих крыс и бросить все это в море. Если бы Апис попался к ней в руки, она с ним сделала бы то же самое.

Египетский царь, весьма оскорбленный, уехал тотчас же с целью привести скорее свое войско. Индийский царь, узнав об этом, тоже отправился, дабы соединить свои триста тысяч воинов с египетским ополчением. Властитель Скифии ночью увез княжну Алдею, решив непременно явиться снова во главе своих трехсот тысяч и вернуть своей возлюбленной ее вавилонское наследство, по праву принадлежавшее старшей линии.

Прекрасная Формозанта, со своей стороны, отправилась в путь в три часа утра, со своей свитой из богомольцев, лстя себя надеждой что может выполнить последнюю волю птицы, и что справедливые боги вернут ей милого

Амазана, поскольку она не может жить без него.

Таким образом случилось, что царь вавилонский, проснувшись по утру, никого не нашел возле себя. «Вот как кончаются праздники», промолвил он, «и какую пустоту они оставляют в душе, когда весь этот шум затихает». Но настоящий царственный гнев овладел им, когда он узнал о похищении княжны. Он приказал разбудить всех министров и собрать совет. В ожидании, пока они явятся, он не забыл посоветоваться с оракулом, но не мог получить никакого ответа, кроме известного всему миру с тех времен изречения: «Если девушек не выдают замуж, они выходят сами».

Тотчас отдан был приказ войску в триста тысяч человек выступить против скифского царя. Ужаснейшая война разгорелась, таким образом, со всех сторон, и это был единственный результат великолепнейшего из праздников, виденных на земле. Четыре воинства, по триста тысяч человек каждое, грозили всей Азии полным опустошением. Понятно, что троянская война, удивившая мир несколько веков спустя, была в сравнении с этим только детской забавой. Но правда и то, что осада Трои велась из-за женщины не первой молодости и дурного поведения, тогда как здесь дело шло о двух молодых девушках и о птице.

Индийский царь ожидал свою армию на большой, прекрасно устроенной дороге, соединявшей тогда непосредственно Вавилон с Кашмиром. Повелитель скифов спешил с Алдеей по столь же прекрасной дороге к горе Иломаус.

Впоследствии, благодаря дурному управлению, все эти дороги исчезли. Египетский царь двинулся на запад и приближался к Средиземному морю, которое невежественные евреи прозвали впоследствии «Великим морем».

Что касается прекрасной Формозанты, она следовала по Бассорской дороге, обсаженной высокими пальмами, бросавшими вечную тень и производившими плоды во все времена года. Храм, составлявший цель путешествия Формозанты, находился в самой Бассоре. Святой, которому этот храм был посвящен, был вроде обожаемого в Лампсаке. \* Он не только доставлял девушкам женихов, но иногда заменял им мужей. Это был святой, наиболее чтимый в Азии.

Формозанта, впрочем, нисколько не заботилась о святом, она лишь думала об одном своем милом гангариде и призывала имя прекрасного Амазана. Она рассчитывала в Бассоре сесть на корабль и достигнуть Счастливой Аравии, чтобы исполнить последнюю волю покойной птицы.

### VIII

На третьем ночлеге, когда Формозанта, едва успев занять в гостинице приготовленное для нее помещение, узнала, что там же остановился египетский царь. Его шпионы следили за ней и сообщали обо всем; он изменил маршрут и отправился за ней в сопровождении многочисленной свиты. У всех дверей гостиницы он поставил часовых, а сам вошел в покои царицы и сказал;

— Сударыня, вас, именно, я искал. Вы оказывали мне мало внимания пока я гостил в Вавилоне; гордость и капризы должны быть наказаны по справедливости; вы будете ужинать сегодня со мною, и я поступлю с вами завтра, смотря по тому, насколько я останусь вами доволен.

Формозанта видела очень хорошо, что сила не на ее стороне. Она поняла, что ум велит приспособляться к обстоятельствам, и решилась избавить себя от царя с помощью хитрости. Она кокетливо взглянула на него — впоследствии стали употреблять в таких случаях выражение: «делать глазки», — и заговорила с ним с такой милой скромностью и с нежным замешательством, что могла бы очаровать и свести с ума благоразумнейшего из людей и обмануть самого проницательного.

— Признаюсь, государь, я не могла не опустить глаз перед вами, пока вы были гостем моего отца; я боялась своего сердца, своей наивности и простоты; я трепетала, чтобы мой отец и ваши соперники не заметили предпочтения, которое я вам оказывала и которого вы вполне заслуживаете. Теперь я могу дать свободу моему чувству. Клянусь быком Аписом, которого после вас я уважаю больше всего на свете, что ваше предложение приводит меня в восторг. Я ужинала с вами однажды у моего отца и еще охотнее буду ужинать с вами здесь без него. Я прошу только, чтобы ваш главный духовник отужинал с нами; он показался мне в Вавилоне прекрасным собеседником. У меня есть отличное ширазское вино, и я хочу, чтобы

вы оба попробовали его. Что касается вашего предложения, то оно очень заманчиво, но мне неудобно говорить о нем. Довольно вам знать, что я считаю вас величайшим из монархов и любезнейшим из мужчин.

Эти слова вскружили голову египетскому царю, и он охотно согласился допустить к ужину духовника.

— Еще у меня к вам просьба, — продолжала царевна, — прикажите прислать ко мне моего аптекаря. Вы знаете, девушки часто страдают разными легкими немочами, вроде сердцебиения или головокружения, — требующими некоторого ухода. Словом, он мне необходим, и я надеюсь, вы не откажете мне в этом маленьком доказательстве вашей любви.

— Сударыня, — ответил египетский царь, — хотя аптекарь питает виды, диаметрально противоположные моим и хотя орудия его искусства нисколько не схожи с моими, я не могу отказать вам в справедливой просьбе; я прикажу, чтобы он явился к вам еще до ужина. Вы, конечно, устали с дороги, вам нужна, вероятно, прислужница, — велите позвать ту; какая вам всего приятнее. Потом, я буду ждать ваших приказаний и той минуты, когда состояние вашего здоровья позволит вам ждать меня.

Он удалился, а затем вскоре пришли аптекарь и прислужница, по имени Ирла. Царевна была вполне уверена в ее преданности. Она велела принести шесть бутылок ширазского вина для ужина и таким же вином напоить всех стороживших ее часовых. Потом она поручила аптекарю смешать вино с известным составом,

усыпавшим людей на двадцать четыре часа. Приказания ее были в точности исполнены. Царь со старшим духовником явились через полчаса. Ужин прошел очень весело; царь и священник осушили шесть бутылок и признались, что такого вина не найти в Египте. Служанка позаботилась между тем напоить людей. Царевна не пила вовсе, утверждая, что врач ей предписал диету. Вскоре все вокруг уснуло.

У старшего духовника египетского царя была великолепнейшая борода, какую только может обладать человек этой касты. Формозанта очень ловко отрезала ее и, пришив к ней небольшую тесемку, прикрепила к своему подбородку. Она надела потом его рясу и все знаки достоинства, а прислужницу нарядила служителем храма Изиды. Наконец, взяв свою урну и драгоценность, она оставила гостиницу, пройдя мимо часовых, спавших так же крепко, как их повелитель. У ворот были приготовлены две оседланные лошади. Царевна не могла взять с собою никого из своей свиты — им угрожала бы тогда опасность быть задержанными караулами на большой дороге.

Формозанта и Ирла проехали между рядами солдат. Те, принимая ее за главного духовника, называли ее преосвященнейшим отцом и просили благословения. Обе беглянки достигли Бассоры через двадцать четыре часа, прежде чем пробудился царь. Там они поспешили переодеться, чтобы не возбудить подозрений. Они наняли корабль, и он доставил их через Ормуздский пролив к прекрасным берегам Эдема в счастливую Аравию. Это был тот са-

мый Эдем, сады которого так славились, что их впоследствии отождествили жилищем праведных. Они послужили также прообразом Елисейских полей, садов Гесперид и садов на островах Счастья, ибо в жарких странах люди не могут вообразить большего блаженства, как тень и журчание воды. Жить вечною жизнью на небесах вместе с высшим существом, или гулять в райских садах стало означать то же самое у людей, которые говорят, не понимая друг друга, ибо не умеют ясно и точно выражать свои мысли.

## IX

Первой заботой царицы, как только она вступила на эту землю, было воздать погребальные почести птице, согласно желанию этой последней. Своими прекрасными руками она сложила небольшой костер из корицы и гвоздики. Каково же было ее удивление, когда пепел, положенный ею на костер, сам собою воспламенился. Мгновенно все сгорело, и на месте осталось огромное яйцо, из которого вышла птица, — живая и блистающая еще более ярким великолепием. Более прекрасной минуты царица еще никогда не испытала за всю свою жизнь; одна только другая минута могла быть ей еще дороже: она желала ее, но не смела надеяться, что она наступит.

— Я теперь вижу — вы феникс, \* я много слышала о вас, — сказала она птице. — Я чуть не умерла от удивления и радости. Я не верила в возможность воскресения, но, к счастью, убедилась сама.

— Воскресение обыкновеннейшая вещь в мире, — ответил феникс. — Родиться два раза или один раз — одинаковое чудо. Все в мире есть воскресение: гусеница воскресает в виде мотылька, орех, брошенный в землю — в виде дерева; все животные, погребенные в земле, воскресают в форме растений и питают других животных, становясь в свою очередь составной частью их существа. Все частицы, входящие в состав тела, превращаются в различные организмы. Правда, мне одному только могучий Ормузд даровал милость воскресать в моем собственном виде.

Формозанта не переставала удивляться с того дня, как увидела в первый раз Амазана и феникса. Теперь она сказала:

— Я понимаю, что высшее существо может создать из пепла птицу, почти совсем подобную вам, но чтобы вы были именно та же, имели ту же душу, это я, признаюсь, не совсем ясно понимаю. Где же была ваша душа в то время, когда я носила в кармане вас, после того как вы умерли?

— Но, боже мой, сударыня, почему вы думаете, что великому Ормузду труднее продолжать свое дело над частицей меня самого, нежели начинать творение сызнова. Он подарил мне некогда чувство, память, мысль. Он возвращает их мне вновь. Не все ли равно, заключены эти дары в скрытом во мне первоначальном атоме огня или в совокупности всех моих органов. В конце концов, ни феникс, — ни люди, все равно не будут знать, как это происходит. Величайшей милостью, дарован-



ной мне высшим существом, я считаю то, что оно воскресило меня для вас. Почему не могу я провести между вами и Амазаном все двадцать восемь тысяч лет, остающиеся мне жить до ближайшего моего воскресения.

— О, мой феникс, вспомните ваши первые слова в Вавилоне — я никогда их не забуду: они мне подали надежду увидеть вновь дорогого, обожаемого пастуха. Мы должны непременно отправиться вместе к гангаридам и увести его в Вавилон.

— Таково и мое намерение, — сказал феникс: — нам нельзя терять ни минуты: мы должны избрать кратчайший путь, иначе говоря, нам остается только перелететь отделяющее нас пространство. В счастливой Аравии есть два грифа — мои лучшие друзья; они живут всего в ста пятидесяти милях отсюда. Я отправлю им письмо с голубиной почтой, и они будут здесь до наступления ночи. У нас остается еще время заказать для вас удобный диван, с ящиками для припасов. Вы прекрасно устроитесь в этом экипаже с вашей служанкой. Оба грифа сильнейшие из этой породы, и каждый из них будет держать в когтях одну из ручек дивана. Но, повторяю, время дорого.

И он тотчас отправился вместе с Формозантой заказать этот экипаж знакомому обойщику. Четыре часа спустя все было готово. В ящики положили маленькие королевские хлебцы, бисквиты, лучшие чем в Вавилоне, лимоны, ананасы, кокосы, фисташки и эдемское вино, превосходившее вкусом даже ширазские вина.

Экипаж был удобен и прочен. Грифы явились в Эдем в условленное время. Формозанта и Ирла заняли свои места, и грифы понесли их, как перышко. Феникс то летел рядом, то садился на спинку. Они мчались стрелой и с невообразимой быстротой рассекали воздух, останавливаясь для отдыха только ночью и то на несколько минут, чтобы покормить и напоить крылатых перевозчиков.

## X

Вот, наконец, они в стране гангаридов. Сердце царицы трепетало от радости, надежды и счастья. Феникс остановил грифов перед домом Амазана, но его здесь не оказалось. За три часа перед тем он уехал неизвестно куда.

— Увы, я ждал этого, — сказал феникс: — три часа проведенные вами с египетским царем в этой несчастной гостинице по дороге в Бассору, быть может, похитили у вас навсегда счастье вашей жизни. Боюсь, что нам не вернуть Амазана.

Феникс спросил слугу, можно ли, по крайней мере, увидеть мать Амазана. Ему ответили, что супруг ее скончался накануне, и потому она никого не принимает.

Феникс, будучи своим в этом доме, пригласил все-таки царицу войти в зал, стены которого были облицованы апельсиновым деревом, с полосками слоновой кости. Сто поселян и поселянок, в длинных белых одеждах с розовой отделкой, подали ей в ста фарфоровых корзинках сто заманчивых блюд, между которыми

не оказалось ни одного замаскированного трупа. Здесь были: рис, саго, манная крупа, вермишель, макароны, яичница, яйца, сливочный сыр, овощи и фрукты, обладавшие ароматом и вкусом, о которых в других странах не имеют ни малейшего представления. Здесь были также в изобилии освежающие напитки, превосходившие лучшие вина.

Пока царица ужинала, отдыхая на ложе из роз, четыре павлина, к счастью немые, навевали на нее прохладу своими великолепными веерами; двести птиц, сто пастухов и сто пастушек устроили для нее концерт в два хора. Соловьи, канарейки, малиновки, зяблики брали верхние ноты вместе с пастушками, а пастухи исполняли партии альтов и басов: в общем это была сама природа — простая и прекрасная. Царица признавалась, что при всем великолепии Вавилона, природа у гангаридов несравненно приятнее. Но все время, пока длилась эта музыка, утешая и волнуя сердце, царица не переставала проливать слезы. Она говорила своей спутнице, юной Ирле:

— Эти пастухи и пастушки, эти соловьи и канарейки — все они любят, кого хотят, а я не вижу моего героя, юношу, достойного моих нежных и нетерпеливых желаний.

Пока продолжался ужин и царица то удивлялась, то плакала, феникс говорил матери Амазана:

— Сударыня, вы не можете отказать в свидании вавилонской царице, вы знаете...

— Я знаю все, — сказала она, — и между прочим знаю также о приключении в гости-

нице на Бассорской дороге. Мне все рассказал утром черный дрозд. Этот жестокий дрозд виноват в том, что сын мой, взбешенный этой вестью, покинул родительский дом.

— Но вы не знаете, что я обязан царевне моим воскресением?

— Нет, дитя мое, — я лишь узнала от дрозда, что вы умерли и была безутешна. Я была так огорчена этой потерей, смертью мужа и неожиданным отъездом сына, что приказала закрыть для всех двери дома; но так как вавилонская царевна почтила меня своим посещением, попросите ее поскорее войти, у меня есть для нее важные новости, и я хочу, чтобы вы также присутствовали.

Тут она отправилась в соседний зал, навстречу царевне. Она шла с некоторым трудом: этой женщине было около трехсот лет, но она еще хорошо сохранилась, и видно было, что в двести тридцать или сорок лет она была наверно еще прелестна. Она приняла Формозанту почтительно и с достоинством, и на царевну живое впечатление произвели ее печаль и сочувственный вид.

Формозанта поспешила выразить ей соболезнование, по случаю потери мужа.

— Увы, — ответила она, — вы имеете больше оснований, чем думаете, сожалеть о его смерти.

— Без сомнения, — возразила Формозанта, — я очень тронута: он был отцом...

При этих словах она заплакала...

— Только для него стремилась я сюда, несмотря на опасности. Я покинула для него отца и самый блестящий двор в мире. Египетский

царь, ненавистный мне, старался овладеть мною, но, убежав от него, я перелетела воздушное пространство, чтобы увидеть милого... Но вот я здесь, а он бежит от меня.

Слезы и рыдания мешали ей продолжать...

Тогда мать Амазана снова заговорила.

— Да, сударыня, когда вас похитил египетский царь, и вы ужинали с ним в гостинице... В то время как вы прекрасными руками подавали царю кубок с вином, вспомните, не заметили ли вы летающего по комнате черного дрозда.

— В самом деле, да, вы мне напомнили. Тогда я не обратила внимания, но теперь, собравшись с мыслями, очень хорошо помню, что черный дрозд с громким криком вылетел в окно в ту минуту, когда царь встал и поцеловал меня.

— Увы, сударыня, — продолжала мать Амазана, — вот причина вашего несчастья. Сын послал дрозда справиться о вашем здоровье и обо всем, что делается в Вавилоне. Он думал вскоре вернуться к вам, упасть к ногам вашим и посвятить вам свою жизнь... вы не знаете, до какой степени он вас обожает. Все гангариды умеют любить и остаются верными, но сын мой в особенности отличается живым и постоянным чувством. Дрозд встретил вас в гостинице в то время, как вы весело пили вино с царем и с гнусным попом; он видел, наконец, как вы нежно поцеловали царя, убившего феникса, тогда как мой сын ненавидит этого человека. Справедливое негодование овладело дроздом; он улетел, проклиная ваше пагубное увлечение; вернув-

шись сегодня, он рассказал все как было, и, боже, в какую минуту пришелся этот рассказ. Сын оплакивал вместе со мной смерть отца и феникса и в то же время он узнал от меня, что вы его троюродная сестра.

— О, небо!.. Он мой брат! — Сударыня, возможно ли это? Но как? Какая радость... и в то же время как я несчастна, что оскорбила его.

## XI

— Мой сын — ваш двоюродный брат. Повторяю, — продолжала мать, — и я докажу вам это теперь же. Но став моей родственницей, вы лишаете меня сына, — он не переживет горя, причиненного ему вами.

— Ах, тетушка, — воскликнула прекрасная Формозанта, — клянусь Амазаном и могущественным Ормуздом, этот пагубный поделуй далеко не был преступным, — напротив, он служит сильнейшим доказательством любви моей к вашему сыну. Ради него я вышла из повиновения отцу; ради него я странствовала от берегов Ефрата до берегов Ганга, при чем попала в руки низкого египетского царя. Я могла уйти только обманув его, — пусть свидетелями этого пепел и душа феникса — он один может меня оправдать. Но каким образом ваш сын, родившись на берегах Ганга, мог оказаться моим родственником, тогда как наша династия царствует уже столько веков на берегах Ефрата?

— Вы знаете, — возразила ей почтенная женщина, — что ваш двоюродный дед Алдей

был вавилонским царем и что он был свергнут с престола отцом Бела?

— Да, сударыня.

— Вы знаете, что у Алдея родилась дочь царевна Алдея и что она была воспитана при вашем дворе. Отец мой, преследуемый вашим отцом, искал убежища в нашей прекрасной стране под чужим именем и здесь женился на мне. У нас родился сын: это Амазан — прекраснейший, сильнейший, храбрейший и добродетельнейший, а в настоящее время и безумнейший из смертных. Он отправился на вавилонский праздник, наслышавшись о вашей красоте. С той поры он вас обожает, может быть я не увижу никогда больше моего сына.

Затем она велела показать царевне документы, но та не взглянула на них.

— Ах, — сказала она, — нужны ли нам доказательства, когда сердце хочет верить. Но где же Алдей-Амазан? Где мой брат, мой возлюбленный, мой царь? Где моя жизнь? Куда он отправился? Я пойду его искать на звезде Каноне, на Шеат, на Альдебаране. Я хочу убедить его в моей любви и невинности.

Феникс оправдал царевну в вине, взводимой на нее черным дроздом, но как было разубедить Амазана и вернуть его? Он разослал птиц по всем дорогам и поднял на ноги единогогогов.

Наконец, принесли известие, что Амазан отправился по пути в Китай.

— Хорошо, едем, — воскликнула царевна, — путь не так далек; через пятнадцать дней, не позже я надеюсь вернуть вам сына.

При этих словах они обе — и невеста и мать гангариды — пролили горючие слезы, обменявшись нежными объятиями.

Феникс тотчас велел приготовить экипаж и шесть единорогов. Мать собрала двести всадников и подарила царевне, своей племяннице, несколько тысяч лучших алмазов. Феникс, огорченный бедою, которую вызвала нескромность черного дрозда, приказал всем дроздам покинуть страну, и с той поры их нельзя более встретить на берегах Ганга.

## XII

По прошествии менее восьми дней единороги привезли царевну, Ирлу и феникса в Камбалу,\* столицу Китая. Этот город был гораздо больше Вавилона, и величие его было совсем другого рода. Новизна предметов и нравов забавляла бы Формазанту, если бы она могла заинтересоваться чем-нибудь, кроме Амазана.

Едва императору стало известно, что вавилонская царевна находится у городских ворот, он тотчас послал к ней навстречу четыре тысячи мандаринов в парадных одеждах. Все они простерлись перед ней и каждый подал приветствие, написанное золотыми буквами на листке красного шелка. Формозанта сказала, что она охотно ответила бы каждому из них в отдельности, если бы имела четыре тысячи языков; но так как у нее только один, то она просит великодушно извинить, если ответит им одной общей благодарностью. После этого ее почти тельно провели к императору.



Это был справедливейший, мудрейший и любезнейший из всех земных государей. Именно он первый стал возделывать небольшое поле своими руками, дабы всем внушить уважение к земледельческому труду. Он первый стал награждать добродетель, тогда как до него повсюду ограничивались только карой за преступления. Он же только что изгнал из своих владений отряд чужеземных бонз, \* явившихся с крайнего Запада в безумной надежде заставить весь Китай думать, как они, и, под предлогом возвещения истины, успевших уже приобрести богатства и захватить почетные места.

Изгоняя их, он сказал им следующие слова, занесенные в летописи империи: — «Вы готовы натворить здесь столько же зла, сколько уже сделали в других странах. Вы пришли проповедывать догматы нетерпимости самому терпимому народу в мире, и я удаляю вас, чтобы не быть вынужденным к насилию над вами. Вас проводят с честью до моих границ, вам доставят все нужное, чтобы вы могли вернуться в то полушарие, откуда вы пришли. Идите с миром, если только вы способны жить в мире, и не возвращайтесь сюда».

Царевна обрадовалась, узнав об этом решении и услышав эти слова. Они давали ей тем большую уверенность, что она хорошо будет принята при дворе императора, ибо она сама далека была от догматов нетерпимости. Китайский император, обедая с нею вдвоем, освободил ее от всех стеснений этикета: она представила ему феникса, который был обласкан императором и сидел на спинке его кресла.

В конце обеда Формозанта доверчиво изъяснила цель своего путешествия и просила повелеть поискать Амазана в Камбале. Она рассказала все, что касалось прекрасного юноши, не скрывая роковой страсти к юному герою, воспламенившему ее сердце.

— Мне ли не знать его, — возразил император. — Я имел удовольствие принимать его у себя; он обворожил меня, этот милый юноша. Правда, он находится под гнетом глубокой печали, но его приятные качества от этого только выигрывают, и сам он становится еще симпатичнее. Ни один из моих придворных любимцев не так умен, как он, ни один из ученых мандаринов не обладает такими обширными знаниями, ни один из военных не отличается таким героизмом, и его крайняя молодость увеличивает блеск его талантов. Если бы, к несчастью, меня покинули Тион и Чангти, и мной овладела страсть к завоеваниям, я просил бы Амазана стать во главе всей моей армии, и не сомневался бы в победе над целым миром. Жаль только, что горе иногда омрачает его ум.

— Ах, государь! — воскликнула Формозанта голосом, в котором звучали разочарование и упрек. Почему вы не устроили так, чтобы он обедал с нами? Пощадите меня... велите пригласить его сейчас к столу.

— Сударыня, он уехал сегодня утром и не сказал даже, в какую сторону направится.

Формозанта обратилась к фениксу:

— Видели ли вы когда-нибудь девушку более несчастную чем я? — спросила она. — Но, государь, — продолжала она, — почему он ре-

шился покинуть столь внезапно двор, до такой степени любезный и приятный, что, мне кажется, у всякого должно явиться желание провести здесь всю жизнь.

— Случилось вот что, сударыня: одна княжна, прелестная особа, влюбилась в него и назначила ему свидание в полдень; он уехал рано утром и оставил записку, причинившую княжне много слез. Он написал ей следующее: «Прекрасная и благородная княжна, вы заслуживаете, чтобы вас любил человек, чье сердце никогда никому не принадлежало; — я же поклялся бессмертным богом любить всегда одну **Формозанту** — царевну вавилонскую, и научить ее, как владеть своими страстями во время странствований. Она, к несчастью, изменила мне с недостойным царем египетским. Я — несчастнейший из смертных: я потерял отца, феникса и надежду быть любимым **Формозантой**; я покинул мою горящую мать и родину, ибо не в силах жить ни минуты там, где узнал, что **Формозанта** любит другого; я поклялся странствовать из страны в страну и оставаться ей верным. Вы презирали бы меня, и боги ниспослали бы на меня кару, если бы я нарушил мое обещание. Полюбите другого и будьте верны, как я».

— Ах, дайте мне это необыкновенное письмо, — сказала прекрасная **Формозанта**, — оно будет служить мне утешением. Я счастлива, несмотря на преследования судьбы. Амазан меня любит, Амазан отвергает ради меня любовь китайской княжны... Он один на земле способен одержать над собой такую победу; он подает

мне высокий пример, но феникс знает, что он мне не нужен. Как жестоко потерять возлюбленного из-за самого невинного поцелуя, вынужденного одной только верностью. Но где же он наконец? По какой дороге отправился он? Дайте мне указания и я уеду.

Император ответил, что, судя по некоторым донесениям, Амазан, вероятно, находится на пути, ведущем в Скифию. Тотчас носороги были запряжены, и принцесса, сопровождаемая любезными пожеланиями, простилась с императором и уехала вместе с фениксом, Ирлой и всей свитой.

Достигнув Скифии, она постигла вполне, до какой степени люди и правления различаются между собою и будут различаться до того времени, покуда какой-нибудь народ, более цивилизованный, чем все прочие, не распространит просвещение после тысячи веков тьмы, и покуда в варварских землях не появятся героические души, обладающие такой силой и энергией, что сумеют обратить дикаря в человека. В Скифии не было городов, а следовательно, не существовало и никаких изящных искусств. Степи заполняли неизмеримое пространство, и целые народы проводили жизнь в шатрах или телегах.

Это внушало ужас.

Формозанта попросила указать ей царский шатер или повозку. Ей ответили, что царь восемь дней тому назад выступил во главе трехсот тысяч воинов в поход против вавилонского царя, у которого он похитил племянницу Алдею,

— Он похитил мою двоюродную сестру, — воскликнула Формозанта, — я не ожидала этого нового приключения. Как? Моя кузина, счастливая прежде тем, что жила при моем дворе, стала сама царицей, а я даже не замужем!

Она приказала вести себя немедленно к повозке царицы. Неожиданность свидания в этой отдаленной земле и удивительные вещи, которые они имели сообщить одна другой, сделали встречу приятной и заставили их позабыть, что они никогда не любили друг дружку. Обе были в восторге от этой случайности. Иллюзия заменила искреннюю нежность; они целовались со слезами и проявили искренность и задушевность, потому что встретились не во дворце.

Алдея узнала феникса и наперсницу. Она одарила свою двоюродную сестру собольими мехами и получила взамен алмазы. Они говорили о войне и сожалели о людях, отправляемых на убой, ради прихоти или из-за спора, который честные посредники могли бы решить в один час. Но больше всего говорили они о прекрасном чужеземце — победителе льва, щедрым обладателе крупнейших в мире алмазов, сочинителе мадригаллов, владельце феникса и несчастнейшем из людей, благодаря доносу черного дрозда.

— Мой дорогой, милый брат! — восклицала Алдея.

— Вы наверно его видели, — моего милого жениха, — говорила Формозанта. — Может быть, он здесь еще. Не может быть, чтобы он покинул вас, свою сестру так же внезапно, как китайского императора.

— Видала ли я его!—воскликнула Алдея.— О, боги!.. Он провел здесь четыре дня со мною. Ах, сестрица, если б вы знали, как он несчастен. Эта сплетня довела его до безумия. Он странствует по свету, сам не зная, куда направиться. Представьте себе, он отклонил любовь прекраснейшей из скифских женщин и уехал вчера, написав ей письмо, которое привело ее в отчаяние. Он отправился теперь к киммерийцам.

Хвала богу, — воскликнула Формозанта, — еще отказ в мою пользу. Счастье выше моих ожиданий, как мои бедствия превзошли мои опасения. Прикажите подать мне это милое письмо; я последую за ним, не выпуская из рук ни одного из этих доказательств его верности. Прощайте, сестрица... Амазан у киммерийцев и я лечу за ним...

Алдея нашла, что царица еще безумнее, чем Амазан, но так как она сама отказалась от наслаждений и блеска Вавилона ради скифского царя, и так как женщины всегда сочувствуют безумствам, вызванным любовью, то она почувствовала искреннюю симпатию к Формозанте, пожелала ей счастливого пути и обещала содействие, если увидит когда-нибудь вновь своего брата.

### XIII

Вавилонская царица и феникс вскоре прибыли в государство киммерийцев, \* населенное, правда, вдвое менее, чем Китай, но зато вдвое обширнее его; государство, некогда мало отличавшееся от Скифии, но с некоторого времени

процветавшее не менее других стран, считавших себя носителями просвещения.

После нескольких дней пути, они вступили в большой город, украшенный царствующей императрицей; самой ее не было. Она совершала в то время путешествие от границ Европы до пределов Азии, чтобы ознакомиться собственными глазами со всеми своими владениями, узнать их нужды и найти средства помочь, увеличить благосостояние и распространить просвещение.

Один из первых сановников этой древней столицы, \* известившись о прибытии царевны и феникса, поспешил приветствовать и принять достойным образом Формозанту, не сомневаясь, что его повелительница, самая любезная и щедрая царица в мире, одобрит его действия и, что он угадал ее намерения по отношению к знатной гостье.

Формозанту поместили во дворце и удалили оттуда назойливую толпу. В честь ее даны были затейливые празднества. Знатный киммериец оказался превосходным натуралистом и беседовал о многом с фениксом, пока царевна отдыхала в своих апартаментах.

Феникс сознался в том, что он давно не бывал уже в этой стране и не узнает ее теперь.

— Удивительно, — сказал он, — как в такое короткое время возможно было произвести необыкновенную перемену. Всего триста лет назад я видел здесь дикую природу со всеми ее ужасами, а теперь застаю здесь искусства, блеск, славу и любезность.

— Один человек положил начало этому великому делу; \* — ответил киммериец, и одна женщина довершила его творение. Эта женщина была лучшей законодательницей, чем египетская Изида и греческая Церера. Большинство законодателей обладали узкими деспотическими взглядами и обособляли свою страну. Каждый из них смотрел на свой народ, как если бы он был единственным на земле или должен был быть непременно враждебным всем другим народам. Они выдумывали исключительные учреждения, вводили новые обычаи, устанавливали для него религию. Так египтяне, прославленные своими нагроможденными камнями, оступели и опозорили себя своими варварскими предрассудками; все прочие народы они считают ниже себя, не сообщаются с ними, за исключением двора, стоящего иногда выше общих предубеждений. Ни один египтянин не станет есть с одного блюда с чужестранцем. Их жрецы отличаются жестокостью и глупостью. Было бы гораздо лучше не иметь вовсе законов и слушаться только природы, ибо она вложила в наше сердце понимание справедливого и несправедливого чем подчинять общество законам, далеким от настоящей гуманности.

— Наша императрица питает совершенно другие намерения, — продолжал он. — Она стремится к тому, чтобы ее государство, в котором соединяются различные меридианы, отвечало потребностям всех населяющих его народов. Первым ее правилом всегда были свобода всех исповеданий и сострадание ко всяким заблуждениям. Ее гений понял, что нравствен-



ность — едина, хотя религии различаются между собой. Таким образом она ввела свой народ в общение со всеми прочими народами земли, и киммерийцы в равной мере смотрят, как на брата, на скандинава и на китайца. Она сделала больше: она пожелала, чтобы драгоценная терпимость, эта первейшая связь между людьми, была принята так же у соседей?! Она заслужила, таким образом, название матери своего народа и заслужит имя благодетельницы рода человеческого, если будет итти и далее по тому же пути. До нее люди, к несчастью обладавшие властью, посылали отряды убийц с целью грабить неизвестные племена и орошать кровью наследие отцов; этих убийц называли героями — разбой осеял их славой. Наша повелительница окружена славой другого рода: она посылает армии только для водворения мира, чтобы мешать людям вредить друг другу, и ее знамена были всегда носителями общего мира.

Феникс, в восторге от всего, что ему рассказал этот вельможа, промолвил:

— Сударь, двадцать семь тысяч девятьсот лет и семь месяцев я живу на свете и никогда не слышал ничего подобного тому, что узнал от вас.

Затем он спросил, не слышали ли здесь, что-нибудь об Амазане? Киммериец рассказал ему вещи в том же роде, как приходилось слышать в Китае и у скифов. Амазан бежал от всех дворов, которые посещал, как только какая-нибудь дама назначала ему свидание, опасное для его добродетели. Феникс тотчас же сообщил Фор-

мозанте это новое доказательство верности, тем более поразительное, что Амазан никак не мог предполагать, что оно станет когда-нибудь известным царевне.

#### XIV

Он отправился в Скандинавию. В этой стране он увидел много поразительного и нового: королевская власть и свобода находились здесь в согласии, казавшемся немыслимым в других странах; земледельцы принимали участие в законодательстве, наряду с знатнейшими, и молодой принц\* подавал много надежд быть достойным управлять свободным народом. Странное явление: единственный король, неограниченно владевший страной по формальному договору со своим народом, будучи притом самым молодым из государей, был в то же время самым справедливым.

В земле сарматов\* Амазан увидел философа на троне; его можно было бы назвать королем анархии, так как он стоял во главе ста тысяч маленьких королей, из которых каждый в отдельности одним словом мог уничтожить решения всех остальных. Богу ветров, Эолу не так трудно было сдерживать беспрестанно бушующие вихри, как этому монарху мирить разномыслящих; он находился постоянно в положении лоцмана во время бури, но корабль его не подвергался крушению, потому что государь этот был превосходный лоцман.

Посещая все эти страны, столь мало похожие на его отечество, Амазан продолжал упорно

отказываться от всех лестных предложений, не переставая думать о поцелуе, данном Формозантой египетскому царю, не изменяя странного решения дать ей пример единственной в своем роде непоколебимой верности.

Вавилонская царица с фениксом следовала за ним по пятам, постоянно опаздывая на один или на два дня. Он продолжал без усталости свое странствование, а она не прекращала ни на минуту свое преследование.

Таким образом, они проехали через всю Германию. Они были поражены успехами разума и философии на севере: все государи там были люди просвещенные и признавали свободу мысли; воспитание их не было поручено людям заинтересованным в деле обмана. Им внушали правила общечеловеческой нравственности и презрение к предрассудкам; во всех странах был уничтожен обычай, ослабивший и обезлюдивший многие южные страны, а именно погребать заживо в обширных темницах огромное количество людей обоого пола, навеки отделенных один от другого и поклявшихся никогда не сообщаться между собой. Это крайнее безумие, освященное веками, опустошало землю столько же, сколько самые жестокие войны.

Северные государи поняли, насколько такое разделение противостоит естественности и мешает размножению населения, подобно тому, как если бы на конском заводе разлучали жеребцов от кобылиц. Они отказались также от других заблуждений, менее странных, но не менее губительных.

Наконец, в этих обширных странах люди

осмеливались безнаказанно рассуждать, тогда, как в других землях думали еще, что управлять народом можно только, покуда он глуп.

## XV

Амазан прибыл в Батавию. \* Здесь он забыл немного свое горе, радуясь тому, что нашел некоторое подобие родины счастливых гангаридов: свободу, равенство, опрятность, изобилие и терпимость. Женщины в этой стране были так холодны, что ни одна не выказала ему благосклонности, как это было до сих пор. Ему не трудно было бы победить их одну за другой, если бы он захотел... не будучи любимым ни одной, но он был далек от мысли о подобных завоеваниях.

Формозанта чуть было не застала его среди этого несносного народа, но опоздала на одну минуту.

Амазан слышал в Батавии столько хвalebных рассказов об одном острове, носившем название Альбиона, что решил плыть туда на корабле. Попутный восточный ветер перенес его вместе с его единорогами в несколько часов на берега этого острова, более знаменитого, чем Тир и острова Атлантиды.

Прекрасная Формозанта, следуя за ним к берегам Двины, Вислы, Эльбы и Везера, достигла, наконец, устья Рейна, где воды его быстро втекают в Немецкое море.

Здесь она узнает, что ее дорогой возлюбленный направился к берегам Альбиона; она еще как будто видит уносящий его корабль и испу-

скает крик радости к удивлению батавских женщин, никогда не воображавших, что молодой человек может быть предметом столь радостного волнения. Что касается феникса, они не обратили на него никакого внимания, так как не думали, чтобы его перья могли конкурировать в цене с перьями их гусей и болотных птиц. Царевна наняла два корабля для переправы со всей свитой на блаженный остров, владевший теперь предметом всех ее желаний, источником ее жизни, ее божеством.

Бурный западный ветер поднялся как раз в тот миг, когда верный и несчастный Амазан ступил ногой на твердую землю Альбиона. Корабли вавилонской царевны не могли сняться с якоря. Горько сжалось сердце Формозанты; ею овладели глубокая печаль и меланхолия.

В ожидании, пока переменится ветер, она не в силах была встать с постели, но ветер не унимался в продолжение целых восьми дней. В течение этого времени, казавшегося ей вечностью, Формозанта заставляла Ирлу читать ей вслух романы. Батавы не были сами авторами этих романов, но так как они были всемирными факторами, то и продавали остроумие других наций, точно так же, как и всякого рода другие товары. Царевна приказала купить у Марка-Мишеля Рея\* все сказки, написанные в странах авзониян и вельхов, у которых продажа этих книг была благоразумно воспрещена с целью обогатить соседей. Она надеялась встретить в этих рассказах приключения, похожие на ее собственные, и тем утешить свое горе. Ирла читала, феникс делал свои замечания, но

царевна не находила того, что подошло бы к ее положению, ни в «Крестьянке-выскочке», \* ни в «Софе», ни в «Четырех факарденах».. Поминутно она прерывала чтение, прося ей сказать, не переменился ли ветер.

## XVI

Тем временем Амазан уже поспешал в столицу Альбиона в своей коляске, запряженной шестью единорогами, и мечтал о своей царевне. Вдруг он заметил экипаж, свалившийся в канаву. Слуги разошлись в поисках за помощью, а хозяин экипажа спокойно сидел на своем месте, не выказывая ни малейшего нетерпения и покуривая трубку. Его звали милорд What-(he)n, что означает, приблизительно, милорд Нутакчтож, на том языке, на который я перевожу эти мемуары.

Амазан поспешил предложить ему свои услуги; один, без посторонней помощи он поднял коляску, настолько сила его превышала силу прочих людей. Милорд Нутакчтож ограничился тем, что сказал: — Вот здоровенный мужчина!

Сбежались соседние крестьяне, и, видя, что их напрасно беспокоили, озлились на иностранца; они обступили его с угрозами, называя чужеземной собакой, и хотели избить.

Амазан схватил каждой рукой по паре этих людей и отбросил их на двадцать шагов; остальные преисполнились к нему почтением, стали кланяться и попросили на водку; он дал им больше денег, чем они когда-либо видели. Милорд Нутакчтож сказал ему:

— Я вас уважаю. Заезжайте отобедать со мною в моем загородном доме, который находится в трех милях отсюда.

Он сел в коляску Амазана, потому что его собственная была поломана во время падения.

После молчания, продолжавшегося четверть часа, он взглянул на Амазана и спросил: *How d'you do* что буквально означает: «Как вы делаете делать», а на языке переводчика значит: «как вы поживаете?» После этого он прибавил:

— У вас шесть красивых единорогов.

И опять принялся курить.

Путешественник ему ответил, что единороги всецело к его услугам, что он приехал вместе с ними из страны гангаридов, и он воспользовался случаем, дабы рассказать о вавилонской царице и о том роковом поцелуе, который она подарила царю египетскому, на что его собеседник не возразил ни слова, совершенно равнодушный к существованию на белом свете царицы вавилонской. Он молчал еще битых четверть часа, после чего вновь спросил у своего спутника «как он делал делать» и осведомился, едят ли ростбиф в стране гангаридов. Путешественник ему ответил со своей обычной вежливостью, что на берегах Ганга не принято есть своих братьев. Он изложил ему учение, которое столько веков спустя стало учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха.\* Слушая все это, милорд заснул и не просыпался, покамест не подъехали к дому.

Он был женат на женщине молодой и очаровательной, которой природа дала душу, столь

же живую и чувствительную, сколь душа ее мужа была ко всему равнодушна. Несколько альбионских вельмож приехали в этот день к ней на обед. Здесь собрались люди самые разнообразные, ибо страна эта почти всегда управляема была иностранцами, и семьи, явившиеся в свите этих государей, принесли отовсюду самые несхожие нравы. В тот день общество включало в себя несколько весьма любезных господ, других — обладавших возвышенным умом и несколько людей весьма ученых.

Хозяйка дома отнюдь не имела того принужденного и неловкого вида, той натянутости, той застенчивости, которыми отличались в описываемое время молодые женщины Альбиона; она не скрывала под презрительной осанкой и холодным молчанием бесплодия собственных мыслей и унижительной неспособности сказать что-либо: не было женщины более разговорчивой и общительной. Она приняла Амазана со всей свойственной ей любезностью и грацией. Необычайная красота этого юного чужеземца и невольное сравнение, которое она делала между ним и своим мужем, с первой минуты поразили ее весьма чувствительным образом.

Подали на стол. Она усадила Амазана рядом с собой и принялась угощать его всевозможными пудингами, узнав от него, что гангариды не употребляют в пищу ничего, получившего от богов небесный дар жизни. Его красота, его сила, нравы гангаридов, прогресс искусств, религия и правительство, — таковы были предметы застольной беседы, столь же приятной;



сколь и поучительной, которая затянулась до глубокой ночи, при чем милорд Нутакчтож очень много пил и не говорил ни слова.

После обеда, пока милэди разливала чай, пожирая глазами молодого человека, он вступил в разговор с членом парламента; ибо всем известно, что в те времена существовал парламент и что назывался он Виттенагемот, \* что означает Собрание остроумных людей. Амазан расспрашивал о конституции, о нравах, о законах, об обычаях, об искусствах и вообще причинах, сделавших эту страну столь примечательной, и альбионский вельможа отвечал ему в следующих выражениях.

## XVII

«Мы долгое время ходили нагими, хотя климат здесь совсем не жаркий; с нами долгое время обращались, как с рабами, люди, пришедшие из древней страны Сатурна, \* орошаемой водами Тибра, но мы сами сделали себе больше зла, чем испытали от наших первых победителей. Один из наших королей \* унизился до того, что признал себя подданным священника, живущего так же на берегах Тибра и носящего имя «старца Семи холмов», ибо этим «Семи холмам» суждено было долго владычествовать над значительной частью Европы, обитаемой тогда дикарями.

«Вслед за этим периодом порабощения, последовали века жестокости и анархии. Наша земля, более бурная, чем моря, ее окружающие, была разорена и обогрена кровью междоусоб-

ных войн; несколько венценосцев погибли под топором палача; более ста принцев королевской крови окончили также жизнь на эшафоте. Приверженцам их вырывали сердца и били затем ими по щекам. Историю нашего острова должен был бы написать палач, так как его руками завершались все дела.

Еще недавно, к довершению ужаса, несколько человек, носящих черные плащи, и другие, носящие поверх куртки белые рубашки, \* были укушены бешеными собаками и заразили своим бешенством всю нацию: все граждане во имя неба и спасителя стали, одни убийцами, другие жертвами, одни палачами, другие мучениками, одни притеснителями, другие рабами.

И кто бы мог подумать, что из этой, повидимому, бездны отчаяния, из этого хаоса раздоров, жестокостей, невежества и фанатизма возникнет форма правления, быть может, наиболее совершенная в настоящее время в целом мире. Во главе нации свободной, воинственной, торговой и просвещенной стоит король, уважаемый и богатый, пользующийся полной свободой делать добро и бессильный делать зло. Знатные люди — с одной стороны, и представители родов — с другой, делят с монархом законодательную власть.

«По странной прихоти судьбы, страну опустошали беспорядки и гражданские войны, анархия и бедность, но с тех пор, как установился новый порядок, у нас царят спокойствие, довольство и общее благосостояние. Все колебались, пока спорили о непонятных вещах, и все успокоились с тех пор, как перестали спо-

рять. Наш победоносный флот служит для упрочения нашей славы на всех морях и законы охраняют безопасность нашего имущества. Судьи не вправе толковать по своему произволу эти законы. Ни один приговор не может быть произнесен без изложения мотивов. Мы наказали бы, как убийцу, судью, если бы он дерзнул приговорить к смерти гражданина, не выяснив доказательства его виновности и не сославшись на закон, его осуждающий. Правда, у нас всегда есть две партии, \* воюющие между собою пером и посредством интриг, но они неизменно соединяются, если приходится защищать с оружием в руках отечество и свободу. Эти две партии взаимно следят одна за другой, каждая из них препятствует другой нарушать священные законы; они ненавидят одна другую, но они любят отечество, — это ревнивые соперники и усердные слуги одной любимой женщины.

«На основании того же разума, внушившего нам познание естественных прав человека и необходимость поддерживать эти права, мы стараемся также достичь возможно больших успехов в науках. Ваши египтяне, которые считаются такими великими механиками, ваши индийцы, слывущие великими философами, ваши вавилоняне, хвастающие тем, что они наблюдали звезды в течение четырехсот тридцати тысяч лет, греки, написавшие так много фраз и так мало дельного, — все они решительно ничего не знают в сравнении с нашими школьниками, изучившими открытия наших великих учителей.

«Мы вырвали у природы в течение одного века больше тайн, чем род человеческий узнал в продолжение множества предшествовавших столетий.

«Вот в каком положении мы теперь находимся. Я не скрыл от вас ничего: ни хорошего, ни дурного, ни нашей славы, ни нашего бесславия, и ничего не преувеличил».

Амазан почувствовал, что в его душу проникает сильное желание познакомиться с этими открытиями, и он охотно остался бы проводить жизнь на этом острове, если бы в его истерзанном сердце не говорила страсть к царице, сыновнее почтение к покинутой матери и любовь к родине. К тому же несчастный поцелуй, подаренный царицей египетскому царю, не давал ему возможности сосредоточить внимание на изучении высоких наук.

— Признаюсь, — сказал он, — что, поставив себе задачей странствовать по всему свету и бежать от самого себя, я любопытною очень видеть древнюю страну Сатурна и народ берегов Тибра и «Семи холмов», которому вы некогда повиновались. Без сомнения, это должен быть первый народ в мире.

— Советую вам совершить это путешествие, — возразил житель Альбиона, — если вы любите музыку и живопись; мы сами часто несем туда наш сплин, — впрочем, вы будете удивлены, познакомившись с потомками наших завоевателей.

Разговор длился долго. Хотя ум прекрасного юноши был не совсем в порядке, он, однако, говорил так приятно. В его голосе было столь-

ко трогającego, его обращение так нежно и благородно, что хозяйка дома не могла удержаться и не вовлечь его в беседу наедине. Она нежно пожимала его руку, беседуя с ним; она смотрела на него влажными, блестящими глазами, полными глубокого желания. Она удержала его к ужину и пригласила остаться ночевать. Каждое слово, каждая минута, каждый взгляд все сильнее разжигали в ней пламень страсти. Как только все разошлись по своим комнатам, она написала гостю записку, не сомневаясь, что он придет к ней, между тем как милорд Нутакчтож спокойно уляжется спать. Амазан, однако, имел мужество устоять, — до такой степени зернышко безумия может производить чудесные явления в душе сильной и глубоко оскорбленной.

По своему обыкновению, Амазан послал этой даме почтительный ответ. Он объяснил ей святость своей клятвы и прямую свою обязанность собственным примером научить вавилонскую царевну управлять своими страстями. Затем он приказал свите приготовиться в путь и вернулся назад в Батавию, оставив все общество в восторге от него, а хозяйку дома в отчаянии.

От избытка огорчения, она забыла спрятать письмо Амазана. Милорд Нутакчтож прочел его на другой день. Он пожал плечами и, промолвив: «Вот так пошлости», отправился с несколькими соседями-пьяницами травить зайцев.

Амазан, между тем, плыл по морю, изучая путь по географической карте, подаренной ему ученым островитянином, его собеседником в доме милорда Нутакчтож. С изумлением видел он

огромные страны, изображенные на листе бумаги. Его глаза и воображение блуждали по этому маленькому пространству, вмещающему так много. Он видел Рейн, Дунай, Альпы, Тироль, называвшиеся тогда другими именами, и все земли, которые он должен был миновать, прежде чем добраться до «Семи холмов». Но в особенности глаза его долго останавливались на стране гангаридов, на Вавилоне, где он увидел дорогую царевну, и на несчастной Бассоре, где она поцеловала царя египетского. Он вздыхал и плакал, но он не мог не думать о том, что житель Альбиона, подаривший ему вселенную в миниатюре, не был неправ, говоря, что жители берегов Темзы в тысячу раз образованнее народов Нила, Евфрата и Ганга.

В то время, как он возвращался в Батавию, Формозанта со своими двумя кораблями на всех парусах плыла по направлению к Альбиону. Корабль Амазана и корабль царевны встретились, почти коснулись друг друга... они были так близко друг от друга и не догадались о том. Ах, если бы они знали. Но властительное Провидение не позволило им этого.

## XVIII

Как только Амазан высадился на плоскую и топкую землю Батавии, он с быстротою молнии направился к городу «Семи холмов». Ему пришлось проехать через южную часть Германии; на расстоянии каждых четырех миль он находил новых государей и герцогов, герцогинь, фрейлин и нищих.

Он был удивлен тем, что все дамы одинаково кокетничали с ним с чисто германским простодушием. Он всем отвечал только скромным отказом.

Перевалив через Альпы, он сел на корабль на Далматском побережье и вскоре пристал к городу, нисколько не похожему на все, что он видел до сих пор. Море образовало улицы, и дома были выстроены на воде; на общественных площадях, украшавших город, толпилось множество людей — мужчин и женщин; у них были двойные лица, а именно, кроме природных еще картонные, дурно нарисованные, прикрепленные сверху, так что все эти люди имели вид призраков.\* Иностранцы, посещавшие эту страну, начинали с того, что покупали себе «лицо» точно так же, как в других странах приобретают шапку и сапоги. Амазан пренебрег этой противоестественной модой и являлся всегда таким, как есть.

В городе было двенадцать тысяч девушек, занесенных в большую книгу республики; девушки эти были полезны государству, обогащая нацию необыкновенно выгодной и приятной торговлей. Тогда как обыкновенные купцы отправляли товары на Восток с большими издержками и риском, эти прелестные создания торговали без всякого риска и потерь. Они все хотели представиться Амазану и предложить ему сделать выбор, но он поспешно бежал из города, повторяя имя несравненной вавилонской царицы и клянясь бессмертными богами, что она прекраснее всех двенадцати тысяч венецианских девушек вместе взятых. «Прелест-

ная обманщица, — воскликнул он при этом, — я научу вас быть верной».

Наконец, желтые воды Тибра, миазматические болота, редкие, истощенные обитатели и нищие в старых дырявых плащах, позволявших видеть сухую, морщинистую кожу, — возвестили ему, что он находится у ворот города «Семи холмов», города героев и законодателей, завоевавших и удержавших в повиновении значительную часть мира.

Он воображал, что встретит у триумфальных ворот города пятьсот батальонов, предводителей героев, а в сенате увидит собрание полубогов, дарующих миру законы: он нашел, вместо всякой армии, человек тридцать бездельников, которые стояли на часах под зонтиками из боязни солнца. Проникнув в храм, показавшийся ему красивым, услышал пение мужчин, имевших женские голоса.

— Удивительная страна, эта древняя область Сатурна, — подумал он. — Я видел города, где никто не имел своего лица: здесь же мужчины не имеют ни бороды, ни мужского голоса.

Ему объяснили, что эти певцы не настоящие мужчины, и что их сделали такими для того, чтобы они с большею приятностью пели хвалу множеству достойнейших людей. Амазан ничего не понял из этого объяснения. Эти господа попросили его спеть что-нибудь; он пропел со свойственной ему грацией один гангаридский мотив. У него был прекрасный тенор.

— Ах, сударь, — сказали ему, — у вас мог бы быть превосходный дискант, если бы...



— Что значит это *если бы*? Что вы хотите сказать?

— Ах, сударь...

— Но в чем же дело?

— Если бы у вас не было бороды.

И ему объяснили, в чем дело, в забавных выражениях и с самыми комическими жестами. Амазан совершенно смутился.

— Я много путешествовал, — сказал он, — но никогда не слышал ничего подобного этой странной фантазии.

Когда пришел конец пению, старец города на «Семи холмах» двинулся во главе огромной процессии к воротам храма и, приподняв большой палец, сложив два следующих вместе и согнув два остальных, он рассек рукою воздух и сказал на языке, вышедшем давно из употребления: «Городу и вселенной». Гангарид не мог понять, как могут два пальца достать так далеко...

Затем перед его глазами прошел весь двор владыки мира. Это все были степенные люди, одни в пурпуровых, другие в фиолетовых мантиях,\* все почти с умилением взглядывали на прекрасного Амазана, кланялись ему и говорили друг другу:

«San Martino, che bel ragazzo! San Pancratio, che bel fanciullo!»<sup>1</sup>

«Усердные», ремесло которых заключалось в том, что они показывали иностранцам достопримечательности города, поспешили познать его с развалинами, где ни один погон-

<sup>1</sup> Св. Мартин, какой красивый мальчик! Св. Панкратий, какой красивый юноша!

щик ослов не захотел бы теперь провести ночь; все это были памятники былого величия мирового города. Он увидел, кроме того, двухсотлетние картины и двадцативековые статуи, показавшиеся ему образцовыми произведениями искусства.

— Создают ли у вас и теперь такие произведения? — спросил он.

— Нет, ваша светлость, — ответил один из усердных хвастунов, — но мы презираем весь остальной мир, потому что у нас сохранились эти редкости. Мы же сами стали чем-то вроде старьевщиков и гордимся старым платьем, хранящимся в кладовых.

Амазан хотел видеть дворец государя; его проводили туда. Он увидел людей в фиолетовой одежде, занятых подсчетом казенных доходов: столько-то с земель, расположенных на Дунае, столько-то с земель на Луаре, столько-то с земель на Гвадалквивире и Висле.

— Ого, — заметил Амазан, справившись по своей карте, — ваш государь, новидимому, владеет всей Европой, подобно тому, как древние герои города «Семи холмов».

— Он должен владеть целым миром по божественному праву, — возразил человек в фиолетовой одежде. — Было время, когда его предшественники казались недалеко от всемирной монархии. Но преемники их, по доброте своей, довольствуются теперь, что короли, их подданные, платят кой-какую дань деньгами.

— Однако, ваш повелитель остается царем царей? По крайней мере, ему принадлежит этот титул? — спросил Амазан.

— Нет, ваша светлость, его звание: «слуга слуг»; он ведет свой род от рыбака и привратника, поэтому знаки его достоинства — ключи и сети, но он отдает приказания царям. Еще не так давно он отправил сто один приказ \* королю Кельтов, и тот повиновался.

— Ваш рыбак послал также, вероятно, полмиллиона человек, чтобы привести в исполнение сто один приказ?

— О, нет, ваша светлость. Наш святой отец не так богат, чтобы содержать даже десять тысяч войска; но к его услугам имеются от четырехсот до пятисот тысяч вдохновенных пророков, расселенных во всех странах. Эти пророки всех цветов, естественно, кормятся везде за счет народа. Они возвещают именем бога, что святой отец может открывать своими ключами все замки, в особенности от железных сундуков с деньгами. Один нормандский священник, \* поверенный всех мыслей короля, о котором я только что упомянул, уверил его, что он должен без возражения повиноваться сто одной мысли нашего повелителя; потому что, вы должны знать, одна из привилегий старца «Семи холмов» та, что он всегда прав, скажет ли он что-нибудь, или напишет, все равно.

— Вот удивительный человек, — сказал Амазан, — я бы хотел с ним отобедать.

— Если бы вы были королем, ваша светлость, то и тогда вы бы не могли сидеть с ним за одним столом. Все, что он может сделать, это приказать поставить для вас рядом стол поменьше, чем его. Но если вы хотите иметь честь

побеседовать с ним, я исходатайствую для вас аудиенцию, а вы мне дадите за это buona mercia.<sup>1</sup>

— Охотно, — сказал гангарид.

Фиолетовый человек поклонился.

— Завтра же я представлю вас, — сказал он, — вы сделаете три земных поклона и должны будете поцеловать ногу старца «Семи холмов».

При этих словах Амазан начал хохотать так, что почти задохся. Он вышел, держась за бока, и смеялся до слез всю дорогу, пока не добрался до своей гостиницы, где еще долго не мог успокоиться.

Во время обеда к Амазану пришли двадцать человек, все без бороды, и двадцать скрипачей. Они устроили ему концерт. Остаток дня за ним ухаживали самые значительные в городе лица, которые делали ему еще более удивительные предложения, чем поцеловать ногу старцу. Так как он был очень вежлив, то сперва предположил, что его приняли за женщину и уведомил их, что они ошибаются. Но когда два или три человека в фиолетовых одеждах стали очень приставать к нему, он вышвырнул их из окна, не думая, что приносит тем особую жертву Формозанте.

Затем он поспешил покинуть этот город повелителей мира, где надо целовать ногу старца, как будто у него щека была на ноге, и где еще более странно обходятся с молодыми людьми.

<sup>1</sup> Хороший подарок.

## XIX

Персезжая из страны в страну, повсеместно уклоняясь от соблазнов, верный вавилонской царевне, и продолжая с ненавистью думать о царе египетском, Амазан, — этот образец постоянства, — прибыл в новую столицу Галлии. Этот город, подобно многим другим, пережил все стадии варварства, невежества, глупости и нищеты. Его первое название означало грязь и навоз; \* потом он получил название Изиды, вследствие того, что перенял культ этой богини. Его сенат сначала состоял из лодочников. Город долгое время был в рабстве у героев-грабителей «Семи холмов». Спустя несколько столетий появились другие разбойники-герои с рейнских берегов, захватившие его крохотную территорию.

Так как время все изменяет, то оно оказало и здесь свое влияние. Половина города имела красивый и благородный вид, а другая оставалась грубой и смешной: это был прообраз населения. В городской черте проживало по меньшей мере около ста тысяч человек, не занимавшихся ничем, кроме игры и развлечений. Этот праздный люд только критиковал чужие действия. Он не знал ничего о том, что делается при дворе, хотя последний находился всего на расстоянии четырех миль. Единственным занятием этих празднотлюбцев были визиты и веселые забавы. Ими управляли, как детьми, которым дают игрушки, чтобы они не плакали. Если им говорили об ужасах, опустошавших родину двумя веками раньше, и о том

безотрадном времени, когда одна часть населения истребляла другую из за разных софизмов, они замечали, что это, в самом деле, очень нехорошо, и затем принимались за свои шуточки и веселые куплеты.

Но если праздные люди были веселы, любезны и забавны, тем заметнее была разница между ними и занятыми людьми.

Между этими действительно или притворно занятыми людьми можно было встретить много мрачных фанатиков, отчасти невежественных, отчасти плутов, которые нагоняли уныние одним своим видом и готовы были весь мир поставить верх дном лишь бы добиться влияния; но праздные своими танцами и пением заставляли их прятаться в пещерах, подобно тому, как птицы вынуждают сов искать приюта в развалинах.

Другая, менее многочисленная, — группа занятых людей, — были хранителями древних варварских обычаев, против которых громко вопияла человеческая природа; они справлялись только с архивными записями, источенными червями. Всякий обычай, как бы он ни был бессмысленен и ужасен, казался им священным, если они его там находили. Как следствие этой низкой привычки почерпать свои суждения в источниках той темной старины, когда еще не умели мыслить, в этой столице наслаждений господствовали жестокие нравы. По той же причине не было никакого соответствия между виной и карой: порою невинного заставляли выносить страшные муки, с целью заставить его сознаться в преступлении, кото-

рого он не совершал. Шалость молодого человека наказывалась, как отравление или отцеубийство. Праздные бурно роптали, но на другой день уже не помнили об этом и говорили только о последних модах.

Народ этот пережил век, в течение которого искусства достигли высокой степени совершенства. Никто бы не поверил, что возможно нечто подобное. Иностранцы являлись сюда, как и в Вавилон, чтобы восторгаться великими памятниками архитектуры, чудесными садами, превосходными произведениями скульптуры и живописи. Они восхищались музыкой, проникавшей в душу, не утомляя слуха.

Только в это счастливое время люди узнали, что такое истинная поэзия, гармоничная, говорящая сердцу столько же, сколько уму. Красноречие обогатилось новыми прекрасными формами выражения. Театральные подмостки, в особенности, огласились произведениями, недостижимыми по совершенству. Наконец, хороший вкус распространился в такой степени, что даже между друидами стали встречаться недурные писатели.

Все эти лавры, возносившие славу народа почти до облаков, скоро стали засыхать в истощенной земле. Немногие из них уцелели, и то с поблекшими, умирающими листьями. Причинами упадка были недостаток старания и серьезного отношения к делу, пресыщение красотой и порча вкуса. Тщеславие было на стороне возвращения к старому времени и оно же, преследуя истинные таланты, заставляло их покидать родину. Трутни изгоняли пчел.

Исчезли искусства, почти исчез гений; заслугой считалось — рассуждать вкривь и вкось о достоинствах прошлого века. Пачкун трактирных стен критически разбирал картины великих мастеров; бумагомараки искажали смысл великих творений; невежество и дурной вкус вызывали к жизни плохие произведения, повторявшие одно и то же в сотнях томов под разными заглавиями. Все книги стали похожи или на лексиконы или на брошюры. Один друид, издававший газету, печатал два раза в неделю бессмысленные заметки о беснующихся и о чудесах, производимых на чердаках какими-то нищенками и попрошайками. Другие, бывшие друиды,\* одетые в черное, почти умирающие от злости и голода, жаловались во множестве писаний на то, что им не позволяют более обманывать народ и предоставляют это право одним козлам в серых одеждах. Некоторые архи-друиды печатали пасквили и диффамации.

Амазан ничего не знал обо всем этом; да если бы и знал, это не могло бы его особенно заинтересовать. Все его помыслы были заняты вавилонской царевной, царем египетским и измененной клятвой презирать кокетство женщин всюду, куда бы ни привело его горе.

Все мужское население, легкомысленное и невежественнее, всегда готовое довести до крайности любопытство, враждебное человеческому роду, долго толпилось около его единорогов; женщины, как более рассудительные создания, ломились в двери гостиницы, чтобы посмотреть на него самого.



Он выразил хозяину желание видеть прежде всего двор, но «праздные», принадлежавшие к лучшему обществу и случайно оказавшиеся здесь, объяснили ему, что это уже не в моде, что времена переменялись, и интересные развлечения существуют только в общественных местах.

В тот же вечер он был приглашен к ужину одной дамой, которой ум и таланты славились за пределами отечества и которая посетила также некоторые страны, только что виденные Амазаном.\* Ему очень понравилась и сама дама и общество, собравшееся у нее. Там царилa свобода без излишеств и веселье без шума, наука без напыщенности и остроумие без резкости. Он убедился, что слова «хорошее общество» не пустой звук, хотя ими часто злоупотребляют.

На другой день он обедал в обществе не менее приятном, но гораздо менее почтенном. Чем больше нравились ему собеседники, тем более он нравился им. Он чувствовал, как сердце его смягчается, подобно тому, как ароматические специи его родины распускаются на легком огне, распространяя приятное благоухание.

После обеда его повели в театр, и он видел чудесное зрелище, осужденное, впрочем, друидами, ибо они очень ревниво относятся ко всему, что уменьшает их аудиторию. Спектакль заключал в себе приятные стихи, прекрасное пение, танцы, служившие выражением душевных движений, и декорации, чарующие глаз при помощи иллюзии. Это зрелище, со-

вмещавшее в себе несколько родов искусства, было известно под названием *оперы*, хотя это слово принадлежало чужому языку. Некогда на языке «Семи холмов» оно означало труд, заботу, занятие, промысел, предприятие, нужду, дело. \* Это дело привело в восторг Амазана. В особенности очаровала его одна девушка своим мелодическим голосом и грацией движений. После спектакля эта деловая девушка была ему представлена новыми друзьями, и он подарил ей горсть брильянтов. Она была так признательна, что не покидала его весь вечер. Он ужинал с ней. Во время ужина он забыл свою сдержанность, а после ужина и свою клятву — оставаться во веки веков нечувствительным к женской красоте, и нежному кокетству. О, какой пример человеческой слабости!

Прекрасная царица вавилонская приехала, между тем, в этот город вместе с фениксом и своей неразлучной Ирлой и двумястами гангаридских воинов на единорогах. Ей пришлось долго ждать, пока открылись городские ворота. Она спросила, находится ли еще в городе прекраснейший, храбрейший, умнейший и вернейший представитель человеческого рода.

Городские чины тотчас догадались, что речь идет об Амазане. Она приказала вести себя в гостиницу, где он остановился. С сердцем, бьющимся от избытка чувств, она вошла в дом. Душа ее была вся проникнута невыразимой радостью от сознания, что она, наконец, увидит своего жениха, этот образец постоянства. Никем не остановленная, она вошла в его комнату: занавесы не были спущены. она увидела

прекрасного Амазана, спавшего в объятиях хорошенькой брюнетки. Они оба очень нуждались в отдыхе.

## XX

Формозанта испустила горестный крик, огласивший стены дома. Но этот крик не пробудил ни ее двоюродного брата, ни деловую девушку. Царевна упала без чувств на руки Ирлы. Придя в себя, она поспешила оставить эту злополочную комнату в горести, смешанной с гневом.

Ирла навела справки о том, какая это молодая девушка проводит ночные часы с прекрасным Амазаном.

Ей объяснили, что это деловая девушка, очень снисходительная, пользующаяся репутацией очень милой певицы.

— О, праведное небо! О, могущественный Оромазд! — воскликнула вся в слезах прекрасная вавилонская царевна. Для кого он изменил мне! Тот, кто отвергал ради меня самые заманчивые предложения, забыл меня для галльской актрисы! Нет, я не переживу этого позора.

— Сударыня, — сказала Ирла, — таковы все молодые люди от одного конца света до другого; как они ни влюблены в какую-нибудь богиню красоты, сошедшую на землю, они изменяют ей в иную минуту с трактирной прислужницей.

— Конечно, — возразила царевна, — я не увижу его больше никогда в жизни. Едем сию минуту... пусть запрягут моих единорогов...

Феникс заклинал ее подождать, по крайней мере, пока проснется Амазан и сможет с ней объясниться.

— Он не заслуживает этого, — ответила царица. — Это было бы для меня слишком оскорбительно: он, чего доброго, подумает, что я просила вас делать ему упреки или что я хочу примириться с ним. Если вы меня любите, не присоединяйте этой обиды к оскорблению, которое он мне нанес.

Феникс, так или иначе, был обязан жизнью дочери вавилонского царя, и ему оставалось только повиноваться ей. Таким образом она отправилась в путь со всей своей свитой.

— Куда мы поедем, сударыня? — спросила Ирла.

— Не знаю, — ответила царица: — мы направимся по той дороге, какая нам попадется. Лишь бы только уйти от Амазана навсегда, больше я ничего не требую.

Феникс был рассудительнее Формозанты, ибо он не был ослеплен страстью, и в дороге старался ее утешить. Он ласково уверял ее, что не стоит терзать себя печалью за чужую вину; он ставил ей на вид, что Амазан дал достаточно блестящие и многочисленные доказательства верности, и можно простить ему минутное заблуждение; что он в сущности праведник, которого Оромазд случайно забыл осенить своей благодатью, и что он отныне будет еще более постоянен в любви и добродетели; что желание загладить вину заставит его превзойти себя; что она поэтому может быть еще счастливее: что многие благородные царицы

до нее прощали подобные заблуждения и ничего от этого не теряли. Он приводил ей примеры. И он обладал таким ораторским талантом, что в сердце Формозанты понемногу нисходили мир и спокойствие. Она начинала сожалеть о своей поспешности; ей теперь казалось, что единороги бегут слишком быстро... но она не смела вернуться. Борясь между желанием простить и выказать свой гнев, между любовью и гордостью, она не остановила единорогов и продолжала свое странствование по земле, согласно тому, как предсказал оракул.

Амазан, проснувшись, узнал о прибытии и внезапном отъезде царевны и феникса. Ему описали отчаяние и гнев Формозанты; ему сказали, что она клялась никогда не простить ему.

— Мне остается только догнать ее, — воскликнул он, — и умереть у ее ног.

Его друзья из общества праздных сбежались к нему, услышав об этом приключении. Они наперерыв доказывали ему, что он поступит гораздо умнее, если останется жить с ними, что ничто не может сравниться с приятностью жизни, проводимой в лоне искусств и беспристрастных утонченных наслаждений, что многие иностранцы и даже владетельные государи предпочитали столь сладкий покой и очаровательное ничегонеделание своей родине и трону, что, притом, экипаж его сломан, и каретник prepares для него другой, по новейшему фасону, что лучший в городе портной уже кроит для него дюжину кафтанов по последней моде и что дамы, знаменитые своим остро-

умием и любезностью, в домах которых ставятся лучшие комедии, назначили каждая свой день, с намерением устроить в честь его праздник.

Деловая девушка тем временем пила шоколад за туалетом, смеялась, пела и дразнила прекрасного юношу, заметившего, наконец, что она глупее гусенка.

Так как искренность, прямотушие и откровенность были отличительными чертами благородного молодого человека, наравне с мужеством и величием души, он рассказал друзьям повесть своих несчастий и странствований. Они узнали от него, что он троюродный брат Формозанты, а также историю пагубного поцелуя царевны. «Родные обыкновенно прощают другу другу подобные шалости — говорили они, — иначе пришлось бы всю жизнь ссориться».

Ничто не поколебало его намерения следовать за Формозантой... Но экипаж еще не был готов, и ему пришлось провести несколько дней в обществе досужих, среди празднеств и развлечений. Наконец, он простился с ними, обняв их всех и заставив принять в подарок наилучшие алмазы, дав при этом совет никогда не изменять легкомыслию и ветренности, ибо только эти качества делают их милыми и счастливыми.

— Германцы, — говорил он, — старики Европы; жители Альбиона — зрелые люди; обитатели Галлии — дети... Мне нравится играть с ними.

## XXI

Его проводникам не трудно было идти по следам царевны. Везде только и говорили о ней и о ее большой птице: жители страны еще не могли опомниться от удивления и восторга. Жители Далмации и Анконы не были столь поражены впоследствии, увидев дом, летающий по воздуху; берега Луары, Дордоньи, Гаронны и Жиронды еще оглашались возгласами изумления.

У подошвы Пиренеев Амазан в последний раз был свидетелем танцев с тамбуринами, но за пределами этих гор он не встречал уже ни радости, ни веселья. Иногда издали доносились к нему напевы, но они имели обыкновенно грустный характер. Жители отличались медлительностью движений и все носили кинжалы за поясом, а в руках нанизанные четки; все население, одетое постоянно во все черное, казалось в трауре. На вопрос слуг Амазана прохожие отвечали знаками. Хозяева гостиниц, где они пробовали остановиться, объясняли в нескольких словах, что в доме ничего нет, и за самыми необходимыми вещами надо посылать за несколько миль.

На вопрос о том, не видели ли они проезжавшую здесь прекрасную царицу вавилонскую, молчаливники отвечали менее лаконически:

— Мы ее видели, но она вовсе не так хороша. Красивы только смуглые лица, у нее же шея, словно алебастр, а это противнейшая вещь на свете, и в нашем климате почти неизвестная.

Амазан приближался к провинции, орошаемой Бетисом.\* Прошло не более двенадцати тысяч лет с той поры, как эта страна была открыта жителями Тира почти одновременно с открытием ими огромного острова Атлантиды, затопленного несколько веков спустя.

Тирияне возделывали почву Бетики, ибо туземные жители оставляли ее необработанной, утверждая, что им незачем вмешиваться в это дело, и что соседям их, галлам, надлежит обрабатывать их поля. Те же тирияне привезли с собой палестинцев, которые с того времени стали селиться всюду, где только можно заработать деньги. Они скопили здесь великие богатства, отдавая деньги в рост, — пятьдесят на сто. Нарды Бетики считали их поэтому колдунами; все те, кто был заподозрен в колдовстве, сжигались без всякого милосердия обществом. друидов, называемых «разыскивателями» или антропокайями.\* Священники одевали их сперва в особые облачения с масками, отнимали их имущество в свою пользу и набожно читали собственные молитвы палестинцев, в то время как поджаривали их на медленном огне — *rog Amor de Dios*.<sup>1</sup>

Вавилонская царица остановилась в городе, получившем впоследствии название Севильи. Она предполагала спуститься затем по реке Бетис и через Тир вернуться в Вавилон, увидеть отца и там постараться забыть изменившего ей жениха, если это возможно, или же выйти за него замуж. Она велела притти двум палестин-

<sup>1</sup> Из любви к богу.



цам, устраивавшим все дела при дворе. Они должны были снарядить для нее три корабля. Феникс вел с ними все переговоры и, поторговавшись немного, условился о цене.

Хозяйка гостиницы была очень набожна, а ее муж, такой же ханжа, был «свой человек»,\* — другими словами служил шпионом друидам — разысквателям антропокайям. Он поспешил донести им, что у него в доме находится колдунья и что двое палестинцев заключили договор с дьяволом, принявшим образ птицы. Друиды, узнав, что у путешественницы много алмазов, рассудили, что она несомненно колдунья. Но так как все «*разыскватели*» трусы, то они дождались ночи и тогда заперли двести воинов и единорогов, помещавшихся в огромных конюшнях.

Загородив плотно все выходы, они арестовали царевну и Ирлу. Они не могли однако захватить феникса, так как он быстро поднялся и улетел: он надеялся отыскать Амазана на дороге из Галлии в Севилью.

Он действительно встретил его уже на границе Бетики и рассказал о беде, постигшей царевну. Амазан не мог вымолвить ни слова, так он был поражен и взбешен. Он тотчас одел стальную кирассу с золотой насечкой, вооружился копьем в двенадцать футов длиною, двумя дротиками и острым мечом, по прозвищу *Молниеносный*, одним ударом которого можно было рассекать деревья, скалы и друидов. Он покрыл свою красивую голову шлемом, украшенным перьями страуса и цапли. Эти древние доспехи Магога были ему подарены сестрой

Аддесей во время пребывания его в Скифии. Немногочисленная свита сопровождала его верхом на единорогах.

Амазан поцеловал феникса, сказав ему следующие печальные слова:

— Я виноват во всем этом. Если бы я не проводил время с деловой девушкой в городе досужих людей, прекрасная царица не находилась бы теперь в таком печальном положении. Но поспешим к антропокайям.

Вскоре они достигли Севильи. Полторы тысячи альгвазилов стерегли помещение, где были заперты двести гангаридов со своими единорогами. Уже все было готово для священной казни царицы, Ирлы и двух богатых палестинцев.

Великий антропокайя с двумя младшими антропокайями уже заседал в священном судилище. Жители Севильи толпились вокруг с четками у пояса, сложив руки в трепетном молчании. Привели царицу, Ирлу и палестинцев в маска, со связанными за спиной руками.

Между тем феникс через слуховое окно проник в темницу к гангаридам. Они тотчас стали ломать стены. Амазан делал то же снаружи, и вскоре заключенные вырвались оттуда в полном вооружении на своих единорогах. Амазан стал во главе отряда. Уничтожить альгвазилов, друидов и шпионов не составляло большого труда: каждый единорог сразу одним махом прокалывал дюжину антропокайев. Молниеносный меч Амазана рассекал надвое попадавшихся ему под руку врагов. Люди, одетые в черные плащи с грязными воротниками, разбежались

во все стороны, не выпуская из рук четок освященных рог *l'amoq de Dios*. Амазан схватил рукой великого розыскивателя и бросил его на костер, приготовленный в сорока шагах; туда же он побросал и остальных, менее значительных розыскивателей, одного за другим. Покончив с этим, он простерся у ног Формозанты.

— Как вы милы, — сказала она, — и как я бы вас обожала, если бы вы не изменили мне с деловой девушкой.

Между тем как гангариды накладывали на костер тела антропокайев, и пламя подымалось до облаков, а Амазан мирился с царевной, они увидели как будто войско, приближавшееся издалека.

Впереди шествовал на колеснице, запряженной восемью мулами, старик с царской короной на голове. Сто других колесниц следовали за ним; рядом с ними торжественно подвигались на прекрасных лошадях люди в черных плащах с брыжами; далее следовала толпа пешеходов, молчаливых, с жирно напوماженными волосами.

Амазан собрал в строй гангаридов и выступил с копьём впереди. Но король, \* как только увидел его, снял свою корону, сошел с колесницы, приложился к его стремени и сказал:

— Вы посланы богом, вы мститель рода человеческого; освободитель нашей родины и мой покровитель. Эти священные чудовища, от которых вы очистили землю, поработали меня именем старца «Семи холмов». Я вынужден был переносить их преступное господство; мой па-

род оставил бы меня, если бы я вздумал умерить только их гнусную жестокость: отныне я дышу свободно, я царствую, и обязан этим вам.

Сказав это, он почтительно поцеловал руку Формозанты и просил ее оказать ему честь и войти вместе с Амазаном, Ирлой и фениксом в его колесницу. Оба палестинца, придворные банкиры, простертые до сих пор на земле от страха и благодарности, только теперь встали. Свита и единороги последовали за королем Бетики во дворец.

Так как достоинство короля серьезного народа требовало, чтобы колесница двигалась медленно, Амазан и Формозанта имели довольно времени рассказать обо всех своих приключениях. Король беседовал также и с фениксом, восхищался им и сто раз целовал его. Он понял, до какой степени грубы и невежественны стали народы Запада, позабывшие язык животных, поедая их, и ему стало ясно, что одни гангариды сохранили природу и достоинство первобытного человека; но в особенности он настаивал на том, что наибольшие варвары из смертных антропокайи, от которых Амазан очистил только что землю. Он не переставал благословлять его и благодарить. Прекрасная Формозанта уже забыла приключение с деловой девушкой, и душа ее полна была теперь лишь восторгом перед героем, спасшим ей жизнь. Амазан, уже зная всю правду о поцелуе, данном царю египетскому, и о рождении феникса, испытывал чистую радость и был воодушевлен страстной любовью.

## XXII

Обедали во дворце и весьма дурно. Бетийские цвара самые плохие в Европе. Амазан посоветовал выписать их из Галлии. Королевский оркестр исполнил во время обеда знаменитую арию, получившую в позднейшие века название «Испанские мотивы». После обеда стали говорить о делах.

Король спросил прекрасного Амазана, царевну и феникса, что они намерены предпринять.

— Что касается меня, — ответил Амазан, — я думаю вернуться в Вавилон, который со временем перейдет в мое владение, и просить у дяди руки моей троюродной сестры, несравненной Формозанты, если она не предпочтет поселиться со мной у гангаридов.

— А я, — сказала Формозанта, — решила, конечно, не разлучаться с моим троюродным братом; но я думаю, мне следует, прежде всего, вернуться к царю, отцу моему, тем более, что он позволил мне только совершить путешествие на богомолье в Бассору, а я объехала весь свет.

— А я, — сказал феникс, — последую всюду за этими двумя нежными и великодушными любовниками.

— Вы правы, — заметил король. — Но вернуться в Вавилон не так легко, как вы думаете. Я всегда знаю все, что делается в этой стране, благодаря тирийским кораблям и моим банкирам-палестинцам, ведущим переписку со всеми народами земного шара. Все взяли за ору-

жие на берегах Евфрата и Нила. Скифский царь, во главе трехсот тысяч конных воинов, требует возвращения наследства своей жены. Цари Индии и Египта опустошают берега Евфрата и Тигра, каждый во главе трехсот тысяч человек, дабы отомстить за свое унижение при вавилонском дворе. Пользуясь отсутствием египетского царя, его враг, царь эфиопский, грабит с тремястами тысяч воинов Египет. Вавилонский царь имеет в своем распоряжении не более шести сот тысяч человек для защиты и, признаюсь вам, когда я слышу описания этих грозных полчищ, извергаемых Востоком, и о поразительной стоимости этих армий, я сравниваю это все невольно с нашими ничтожными отрядами в двадцать, тридцать тысяч солдат, которых так трудно кормить и одевать, и я склонен думать, что Восток существовал гораздо раньше Запада. Мы как будто только вышли из хаоса и лишь вчера распростились с варварством.

— Государь, — возразил Амазан, — младшие иногда первенствуют над теми, кто вступил раньше их на то же поприще. На моей родине принято думать, что человеческий род ведет свое происхождение из Индии, но я совсем не уверен в этом.

— А вы как думаете? — спросил король, обращаясь к фениксу.

— Я еще слишком молод, государь, чтобы судить о древности, — ответил тот, — живу всего около двадцати тысяч лет. Но мой отец, переживший пять раз этот возраст, говорил мне, что, по словам его деда, страны Востока

были всегда населеннее и богаче других. Дед слышал от своих предков, что все животные ведут свое происхождение с берегов Ганга. Я лично не так тщеславен, чтобы настаивать на этом мнении. Я не могу думать, что лисицы Альбиона, альпийские сурки, галльские волки обязаны существованием моей родине, точно также как не думаю, чтобы ваши дубы и сосны происходили от пальм Индии.

— Откуда же, в таком случае, мы приходим? — спросил король.

— Ничего не знаю, — ответил феникс. — Я хотел бы только знать, куда отправятся прекрасная царевна и мой милый Амазан.

В ответ на это король выразил сомнение, смогут ли они со своими двумя сотнями единорогов пробиться сквозь полчища в триста тысяч воинов каждое.

— Почему бы и нет? — возразил Амазан.

Король Бетики понял прекрасное значение этого «почему бы и нет?» Но он думал, что одного величия души все же мало против трех армий.

— Советую вам, — сказал он, — соединиться с эфиопским царем; я нахожусь в сношениях с этим черным государем через посредство палестинцев. Воюя с египетским царем, он будет очень рад получить от вас подкрепление; я вам дам к нему письмо. Я могу вам дать также две тысячи моих людей, трезвых и очень храбрых. Если захотите, вы можете нанять столько же басков или иначе васконов — народа, живущего, или, вернее, прыгающего на склонах Пиренеев; пошлите туда одного из ва-

сих людей с несколькими алмазами: любой васкон оставит хижину отцов, чтобы служить вам. Они неутомимы, смелы и веселы: вы останетесь ими вполне довольны. Пока они соберутся, мы займем вас празднествами и приготовим корабли. Что бы я для вас не сделал, я никогда не расплачусь за услугу, оказанную мне вами.

Амазан наслаждался радостью встречи с Формозантой и счастьем примиренной любви, почти не уступающим прелести любви зарождающейся.

В скором времени собрался отряд веселых и гордых васконов, выступавших под звуки тамбуринов; другой отряд суровых и надменных бетинцев был также готов. Старый король нежно обнял юных счастливцев. Он приказал нагрузить их суда оружием, постелями, шахматными фигурами, черными платьями, испанскими воротниками, луком, баранами, курами, большим запасом чесноку и пожелал им счастливого пути, постоянства в любви и успеха в делах.

Флот пристал к берегам, на которых много веков спустя Дидона, сестра Пигмалиона и супруга некоего Сихея, покинув город Тир, основала великолепный город Карфаген, разрезав на ремни бычачью кожу. Так повествуют серьезнейшие писатели древности, никогда не сочинявшие сказок, и профессора, пишущие для маленьких мальчиков. Впрочем, в Тире не существовало никогда ни Пигмалиона, ни Дидоны, ни Сихея, и самые имена эти чисто греческие. В Тире не было царей даже в то время,



Гордый Карфаген не был морской гаванью во времена Амазана; несколько нумидийцев сушили там рыбу на солнце. Потом флотилия миновала Бизацену и Сирты, плодородные берега, где впоследствии возникли Кирияя и великий Херсонес.

Они достигли, наконец, первого устья священной реки Нила. На окраине этой плодородной земли порт Каноа уже тогда давал приют судам всех торговых народов, несмотря на то, что никто не знал, основан ли порт Каноа, или жители Каноа выдумали этого бога; получил ли город свое название от звезды, или, наоборот, — звезда от него. Было известно лишь то, что и город и звезда древнего происхождения. Вот все, что можно знать о происхождении вещей, какова бы ни была их природа.

Как бы то ни было, именно здесь эфиопский царь, успевший разорить весь Египет, встретил непобедимого Амазана и божественную Формозанту: он принял одного за бога войны, другую за богиню красоты. Амазан передал ему рекомендательное письмо от испанского короля. Царь Эфиопии, прежде всего, по обычаю героических времен, устроил блестящие празднества; потом стали говорить о том, как приступить к истреблению трехсот тысяч воинов египетского царя, трехсот тысяч индийцев и трехсот тысяч скифов, осаждавших огромный и надменный Вавилон.

Две тысячи бетийцев, сопровождавших Амазана, уверяли, что им не нужны эфиопы, дабы спасти Вавилон; довольно того, что король

приказал им освободить этот город, — и они сами смогут это сделать. Но они соглашались идти вместе с васконами лишь в том случае, если те будут маршировать в арьергарде.

Васконы говорили, что им никто не нужен и что они одни побьют египтян, индийцев и скифов.

Двести гангаридов смеялись над теми и другими и были того мнения, что одной сотни единорогов довольно, дабы обратить в бегство всех земных царей. Прекрасная Формозанта успокоила их разумными речами. Амазан представил черному монарху гангаридов, единорогов, испанцев, басконов и свою прекрасную птицу.

Покончив наскоро все приготовления, войско двинулось через Мемфис, Гелиополис, Петру, Артемиру, Сору, Апамею, и началась пригнопамятная война против трех царей, в сравнении с которой все последующие войны напоминают простые петушинные бои.

Всем известно, что затем эфиопский царь влюбился в прелестную Формозанту и застал ее врасплох в то время как сладкий сон смежил ее длинные ресницы. Известно также, что Амазан, застав их вместе, думал, что видит союз дня и ночи. Возмущенный этим, он вынул свой грозный меч, отсек противную голову дерзкому негру и выгнал из Египта всех эфиопов. Все эти подвиги увековечены в летописях Египта. Стоустая молва распространила славу побед Амазана над тремя царями, при помощи бетийцев, васконов и единорогов. Он вернул Формозанту ее отцу и освободил всю ее свиту,

обращенную египетским царем в рабство. Великий хан скифов объявил себя вассалом Вавилона, и его брак с Алдеей был всеми признан. Непобедимый и великодушный Амазан, признанный наследник вавилонского царя, с триумфом вступил в город, вместе с фениксом в сопровождении ста царей, его данников. Великолепие свадебного торжества превзошло все празднества, устроенные некогда царем Белом. За обедом подали жареного Аписа. Цари Индии и Египта служили за столом, наливая вино молодым, и пятьсот поэтов Вавилона слагали песни в честь этого бракосочетания.

О, музы! Вас всегда призывают в начале груди; я же обращаюсь к вам только в конце его. Пусть упрекают меня в том, что я читаю «Благодарю тебя, Христе боже наш», не прочитав «Очи всех на тя господи уповают».\* Музы, вы все же не перестанете мне покровительствовать. Помешайте дерзким продолжателям портить своими баснями те истины, которые я преподал смертным в настоящем правдивом рассказе, как они испортили «Кандида», «Простака» и целомудренные похождения целомудренной Жанны, которые один бывший капуцин искажил в батавском издании стихами, достойными капуцина.

Да не причинят они этого ущерба моему типографу, обремененному многочисленным семейством и едва имеющему довольно денег, чтобы платить за литеры, бумагу и черную краску.

О, музы! Осудите на молчание презренного

Коже, \* профессора болтологии в коллеже Мазарини; ведь это он остался недоволен нравственными рассуждениями Велисария и императора Юстиниана и дерзнул писать гнусные клеветнические пасквили против этих двух великих мужей.

Вложите кляп в уста педанта Ларше, \* который, не зная ни слова по-вавилонски и не имея случая, подобно мне, странствовать на берегах Евфрата и Тигра, позволяет себе бесстыдно утверждать, будто прекрасная Формозанта, дочь величайшего из земных царей, княжна Алдея и все дамы этого столь почтенного двора отправлялись спать за деньги со всеми конюхами Азии в главном храме Вавилона и делали это во имя религии. Этот школьный развратник, ваш враг и враг стыдливости, обвиняет прекрасных египтянок Мендеса в том, будто они любились с козлами, и потому тайне собираются предпринять поездку в Египет, дабы иметь, наконец, успех у прекрасного пола.

Зная новые времена не лучше, чем древность, он, в надежде снискать благоволение какой-нибудь старухи, распускает слух, будто несравненная Нинона \* в возрасте восьмидесяти лет ложилась спать с аббатом Жедуаном, членом Французской Академии и Академии Надписей. Он никогда не слышал про аббата де-Шатонефа, которого смешивают с аббатом Жедуаном. Он столь же мало знаком с Ниноной, как и с девами Вавилона.

Музы, дочери неба, ваш враг Ларше сделал кое-что похуже этого: он восхваляет цедера-

стию; он дерзает утверждать будто все мальчики моей страны занимаются этою мерзостью. Он рассчитывает спасти себя, умножив число виновных.

Благородные и чистые музы, вы, которым равно ненавистны педантизм и педерастия, защитите меня от магистра Ларше.

И вы, магистр Алиборн, по прозванию Фрерон, отставной иезуит, вы, чей Парнас помещается то в Бисетре, то в уличном кабаке, вы, которому воздано по заслугам на сценах всех европейских театров в честной комедии «Шотландка», вы, достойный сын попа Дефонтэна, \* рожденный от его любви к одному из тех красивых мальчиков, которые, вооруженные железом и повязкой, подобно сыну Венеры, поднимаются ввысь, но никогда не выше каминных труб; вы, мой милый Алиборн, к которому я всегда испытывал великую нежность и когорый, однажды, заставил меня смеяться целый месяц подряд в то время, когда на театре представляли «Шотландку», — и я рекомендую вашему вниманию мою «Вавилонскую царевну». Постарайтесь наговорить о ней возможно больше дурного, чтобы ее больше читали.

Я не забуду здесь и вас, церковный газетчик, знаменитый оратор конвульсионеров, отец церкви, основанной аббатом Вешераном и Авраамом Шомеем, \* не упустите случая заявить в ваших листках, столь же красноречивых, сколь разумных, что вавилонская царевна еретичка, деистка и безбожница. В особенности же постарайтесь уговорить г-на Рибаллье

добиться осуждения вавилонской царицы богословским факультетом Сорбонны. Вы доставите большое удовольствие моему книгопродавцу, которому я подарила эту историйку по случаю нового года.





## **ПРИМЕЧАНИЯ**





## ЗАДИГ

*К стр. 3.* П о в е с т ь о З а д и г е, первый значительный опыт Вольтера по части повествовательной прозы, представляет собою искусную мозаику из традиционных сказочных мотивов. Писатель многое позаимствовал из Галлановского перевода «1001 ночь». Тем не менее, быт и нравы, им изображаемые, не имеют, в сущности, ничего специфически восточного и скорее воспроизводят версальскую придворную среду и высшее общество Парижа. Султанша Шераа, которой посвящена повесть, есть не кто иная, как маркиза де Помпадур, главная фаворитка короля Людовика XV и покровительница Вольтера.

К а д и - э л ь - а с к е р — в Турции в XVIII в. главный судья и член верховного Дивана, должность, соответствовавшая западно-европейскому канцлеру.

S c h e w a l — турецкий месяц, совпадающий с нашим маем. Г е д ж р а или г и д ж р а бегство Мохаммеда из Мекки в Медину, происшедшее в 622 г. нашей эры. От этого события берет свое начало мусульманское летоисчисление.

К с т р . 5. С к а н д е р — сын Филиппа, Александр Македонский. Согласно преданию, его, во время одного из походов по Азии, явилась навестить Фалестриса, царица амазонок, живших якобы по течению реки Герме (в древности Гермодона), в пределах нынешней Азиатской Турции. С у л е й м а н — турецкая форма имени библейского царя Соломона.

З о р о а с т р — легендарный основатель древне-персидской религии.

К с т р . 7. И м а у с — нынешний Белур-таг и Гамалайские горы.

К с т р . 8. Г е р м е с Т р и ж д ы в е л и к и й — легендарный египетский врач и мудрец, мнимый автор не-

скольких теософских сочинений, написанных в III в. нашей эры.

*К стр. 12.* *Зендавеста* — священная книга древних иранцев. Вольтер в своей повести говорит о ней по наслышке, потому что первый европейский перевод *Зендавесты*, сделанный Анкетилем Дюпероном, вышел в свет лишь в 1771 году.

*К стр. 15.* *К а р а т* — равняется четырем долям нашей пробы, а *denier de fin ou de ki* — восьми, так что в данном случае золото было 92-й пробы, а серебро — 88-й.

*К стр. 17.* *И е б о р* — анаграмма имени Буайе (Во уе театинского монаха, наставника дофина, впоследствии епископа Мирпуасского. Буайе был заклятым врагом Вольтера и противился избранию писателя во Французскую Академию.

*К стр. 27.* *С у б с т а н ц и я* (сущность) и *а к ц и д е н ц и я* (случайный признак) — термины схоластической философии. Учение о монадах и о предустановленной гармонии вселенной составляло основу философии Лейбница.

*К стр. 29.* *С а д д е р* — правильное *Ешт-Саде* или *Малая Авеста* — вторая часть *Зендавесты*, представляющая собою сокращение первой части.

*К стр. 52.* *К а м б а л у* — правильное *Хан-балык* — татарское название нынешнего Пейпина (Пекина).

*Тейтат* — бог войны у древних кельтов. Ему поклонялись под видом дротика и дуба. Омела также была предметом поклонения у галльских племен. Полагали, будто она представляет собою лекарство против всех болезней и противоядие, которое предохраняет от всех ядов.

Намек на стих из библейской «Песни Песней»: «Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску». Гл. VII, 5.

#### МИКРОМЕГАС

*К стр. 105.* *Микромегас* — сложное греческое слово, означающее Маловеликий. Эта сказка Вольтера написана как подражание «Странствованиям Гулливера» Джонатана Свифта.

*К стр. 106.* *Блэз Паскаль* (1623 — 62) — знаме-

нитый французский писатель, математик и философ, не пользовавшийся симпатиями Вольтера за свою крайнюю набожность.

*К стр. 108.* Джаованни-Баптиста Люлли (1633 — 1687) — известный капельмейстер и композитор, с 1672 г. стоял во главе Парижской оперы, написал ряд «музыкальных трагедий», которые пользовались большим успехом во Франции, но на родине автора, в Италии, были встречены на первых порах довольно холодно.

В лице обитателя Сатурна выведен секретарь Французской Академии Бернар де Фонтенель (1657 — 1757), плодовитый автор, из многочисленных писаний которого с сюжетом «Микромегаса» непосредственно связаны «Разговоры о множественности миров» (изд. 1685), представляющий собой популяризацию космографических воззрений Декарта и Коперника. В речах сатурнианского академика Вольтер дает едкую и забавную пародию на кокетливый, цветистый стиль Фонтенеля.

*К стр. 118.* Вольтер имеет в виду экспедицию, отправленную в Лапландию для измерения земного градуса. Другая, подобная же экспедиция была одновременно послана в Перу. Произведенные измерения окончательно подтвердили теорию Ньютона о строении планетной системы.

*К стр. 120.* Антоний Левенгук (1632 — 1723) — голландский ученый, один из первых ввел употребление микроскопа при зоологических и физиологических исследованиях, первый наблюдая кровяные тельца, поперечную полосатость мускулов, трубочки зубного вещества, волокна хрусталика и т. д., открыл инфузорий и описал довольно много форм их.

*К стр. 125.* Иоганн Сваммердам (1637 — 1680) — голландский анатом и энтомолог, первый распознал три разных состояния у пчел (самца, самки и рабочей пчелы), описал половые органы пчелиной матки и трутня, а равно ротовые части и жало пчелы.

Реомиюр, — известный французский физик и зоолог (1683 — 1757). Его главное сочинение: *Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des insectes* (P. 1734 — 1742).

*К стр. 126.* Здесь намек на войну, которая велась в 1736—1739 гг. между Турцией с одной стороны, и

Россией и Австрией, с другой. Цесарь — титул австрийского императора.

К стр. 128. Здесь перечисляются все главнейшие мыслители, чье влияние сказывалось в первой половине XVIII ст. Теории так наз. перипатетиков, т. е. учеников знаменитейшего из философов древности Аристотеля, еще пользовались кредитом на богословских факультетах католических стран. Там же прилежно изучались сочинения св. Фомы Аквинского, виднейшего представителя средневековой схоластики. Однако, во Франции их уже далеко оттеснила на второй план Картезианская школа в лице своего основателя Рене Декарта (1596—1650) и его последователя Николая Мальброша (1638—1715). В ученых кругах, уже освободившихся от гнета церковного авторитета, но еще не решавшихся открыто порвать с историческим христианством, много сторонников имел немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716). Наконец, для самого Вольтера и для близких к нему представителей свободомыслящего просвещения наивысшим философским авторитетом служил англичанин Джон Локк (1632—1704), книгу которого «Опыт о человеческом разумении» цитирует ученый, беседующий с Микромегасом.

Энтелехия — термин аристотелевской философии, означающий осуществление того, что заложено в материи, как простая возможность.

К стр. 130. Животное в четырехугольной шапочке — католический священник.

### КАНДИД ИЛИ ОПТИМИЗМ

К стр. 135. Эта наиболее известная и чаще всего цитируемая повесть Вольтера является сатирой на оптимистическую философию германского мыслителя Готфрида Лейбница (1646—1716). Лейбниц учил, что творческий разум создал мир таким, каким мы его знаем, а не иным, потому что мир этот лучше всех возможных миров осуществляет цель мироздания. Если бы был возможен мир лучше и совершеннее существующего, божественное всеведение знало бы о нем, божественная благодать желала бы его, божественное всемогущество создало бы его.

И напротив, существование непоправимо дурного мира противоречило бы всем перечисленным выше свойствам божества. Лейбниц не отрицал зла. Но он, подобно другим рационалистам XVIII ст., считал зло лишь недостатком, требующим восполнения, и был убежден, что в общей мировой гармонии зло исполняет некую полезную функцию.

Вольтер по складу своего ума сам был склонен к рационалистическому оптимизму. Но необычайно чуткая впечатлительность и, кроме того, острая восприимчивость ко всему смешному, позволили ему заметить нелепую и комическую сторону в превыспренних умствованиях германского философа. Страшное Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 г. почти целиком уничтожившее этот цветущий торговый город, чрезвычайно поразило Вольтера и показалось ему типичным образчиком бессмысленного, стихийного зла, несовместимого с существованием мудрого, всеблагого и всемогущего творца вселенной. Четыре года спустя он написал историю Кандида, в которой Лиссабонское землетрясение является центральным эпизодом.

Минден — прусская крепость, служившая для заключения государственных преступников.

К стр. 135. *Candide* — по-французски чистосердечный, искренний.

К стр. 136. Пан — по-гречески все; глосса — слово. Таким образом это имя означает Всезнайка. В лице Панглоса выведен немецкий ученый математик Самуил Кениг, ревностный последователь Лейбница, одно время пользовавшийся гостеприимством Вольтера в замке Сирей.

К стр. 140. Под болгарами Вольтер подразумевает здесь пруссаков.

К стр. 141. Фридрих II — король прусский, основатель военного могущества этой державы.

Диоскорид — древне-греческий врач, живший во II—I веке нашей эры, автор многочисленных медицинских сочинений.

Авары — племя, обитавшее некогда на Балканском полуострове и в пределах нынешней южной России. Вольтер называет аварами французов, противников Пруссии во время Семилетней войны.

*К стр. 143.* Анабаптисты — буквально перекрещенцы, мистикорационалистическая секта, распространенная в XVI в. в Германии и Нидерландах, но позднее сильно уменьшившаяся в числе по причине религиозных преследований. Анабаптисты отвергали крещение младенца и прочие внешние формы церковности, проповедывали общность имуществ и отличались широкой благотворительностью.

*К стр. 151.* До середины XIX столетия европейцам не было позволено посещать Японию. Исключение делалось лишь в пользу голландцев, которые ухитрились уверить японское правительство в том, что они не христиане. Для подтверждения этой басни голландские купцы и моряки были вынуждены проделывать различные кощунственные церемонии.

*К стр. 163.* Святая Германдада — особый жандармский отряд, охранявший безопасность на проезжих дорогах в Испании. Некоторые иностранные писатели ошибочно связывали эту чисто полицейскую часть с инквизицией.

*К ордельеры* — нищенствующий монашеский орден.

*К стр. 164.* Мараведи — испанская мелкая монета.

*Бенедиктинцы* — монашеский орден, обладавший значительными богатствами и славившийся ученостью своих членов. Приор — настоятель монастыря.

Иезуитский орден основал собственную колонию в Южной Америке, в области Парагвай, на территории, находившейся под номинальным верховенством испанского короля. Совершенно поработив своей властью местных индейцев, иезуиты создали здесь фактически независимое государство, весьма замечательное в том отношении, что в нем был сознательно проделан один из первых опытов аграрного коммунизма. После временного закрытия ордена папой Климентом XIV испанцы и португальцы разделили иезуитские владения в Америке, что удалось им лишь после длительной кровавой войны.

*К стр. 166.* Папы Урбана X никогда не существовало. Последний папа, носивший это имя, был восьмым по счету.

*К стр. 170.* Ma che sciapura d'essere senza coglione по-итальянски «какое несчастье быть скопцом» (смягченный перевод).

*К стр. 171.* Дей — начальник, управитель, губернатор.

*К стр. 172.* Ага — турецкий чин, соответствующий полковнику. — Янычары — гвардия султана.

Меотийское болото — в древне-греческой и римской географии Азовское море. Крепость Азов после двукратной осады была взята русскими в 1696 г.

*К стр. 173.* Имам — у мусульман духовное лицо е высшим богословским образованием.

*К стр. 177.* Алькади и Альгвазилы — судебный следователь и полицейские служители у испанцев.

*К стр. 179.* Lospadres — по-испански отцы, В данном случае иезуиты.

Эспонтон — небольшая пика с плоским наконечником, служившая в XVIII в. признаком обер-офицерского звания.

*К стр. 190.* Легенда об Эльдорадо, «Золотой стране», была широко распространена среди испанских, английских, французских авантюристов, исследовавших Новый Свет. Попытки отыскать дорогу в Эльдорадо послужили причиной многих замечательных географических открытий.

*К стр. 192.* Великий Могол — титул мусульманских императоров северной Индии, славившихся своим богатством и пышностью.

*К стр. 196.* Инки — южно-американское племя, возглавлявшее обширную Перувианскую империю, которая была разрушена испанцами в 1533 г.

Сэр Вальтер Ралей (1552—1618) — английский государственный деятель и писатель, фаворит королевы Елизаветы, основал Виргинию, первую английскую колонию в Северной Америке.

*К стр. 209.* Амстердам был одним из важнейших центров книжной промышленности в XVIII столетии. Благодаря отсутствию предварительной цензуры, здесь печатались книги, не имевшие возможности выйти в свет во Франции и в Германии, в частности многие произведения самого Вольтера.

Социнианство — рационалистическая секта, возникшая в XVI в. Она отвергала божественное происхождение Христа и все церковные таинства.

*К стр. 210.* Манихейство — персидская секта



III в. нашей эры, имевшая большое влияние на только-что зародившееся христианство. Манихеи утверждали, что в мире существуют два враждебные, но совершенно равносильные начала, которые находятся в вечно́й борьбе между собой. Главным образом под воздействием манихейства сложился христианский догмат о первородном грехе и обширный цикл легенд о соперничестве бога с дьяволом.

*К стр. 213.* К о н в у л ь с и о н е р ы — см. конец второго примечания к стр. 223 (об яansenистах).

*К стр. 214.* Н о б и л и — венецианские дворяне, которые одни пользовались всей полнотой политических прав в республике.

Под б о л ь ш о й к н и г о й Вольтер разумеет Библию.

*К стр. 217.* Трагедия, действие которой происходит в Аравии, не что иное, как «Магомет» самого Вольтера.

Учение о врожденных идеях, независимых от опыта, было одним из устоев каретэианской философии, господствовавшей во Франции вплоть до середины XVIII столетия. Вольтер, как последователь Локка, был убежденным противником этой теории.

*К стр. 218.* Под довольно плоской трагедией Вольтер разумеет пьесу Томаса Корнеля «Граф Эссекс». Католическая церковь в принципе осуждала театральные представления и долго не разрешала хоронить актеров на приходских кладбищах. Под именем М о н и м ы Вольтер выводит здесь знаменитую трагическую актрису Адриенну Лекуврер, телу которой парижское духовенство отказало в погребении.

*К стр. 219.* Эли-Катрин Ф р е р о н (1719—1776) — парижский критик и журналист, сотрудник «Литературного Года» и других периодических изданий. Прославился своими нападка́ми на энциклопедистов и на Вольтера, который посвятил ему особую брошюру «Анекдоты о Фрероне», а потом вывел в весьма непривлекательном виде в комедии «Шотландка» под именем Фрелона.

К л е р о н — прозвище трагической актрисы Клер Дери де-ля Тюд (1723—1803), превосходно исполнявшей ряд ролей в пьесах Вольтера, который сам давал ей уроки декламации.

*К стр. 221.* Габриэль Г о ш а (1709—1774) — плодэви-

тый, но бездарный писатель, пытавшийся защищать христианство от нападок энциклопедистов. В 1756 г. вышла в свет его книга «Парагвай или беседа о нравственности».

*К стр. 223.* Аббат Николай Трюбле (1697—1770) — критик и журналист, сотрудник журнала «Французский Меркурий». В 1765 г. издал «Панегирики святым, сопровождаемые размышлениями о красноречии». Именно об этой книге идет речь на страницах «Кандида». Вольтер одно время благоволил к Трюбле, но тот рассердил его неосторожным отзывом о «Генриаде».

Янсенисты — последователи епископа Ипрского Корнелия Янсения (1585 — 1638). Молинисты — сторонники испанского иезуита Молиноса (1535—1601). Эти два враждебные течения в католическом богословии XVII—XVIII века расходились главным образом в вопросах о свободе воли и о свойствах благодати — действительной или достаточной, необходимой христианину для душевного спасения. Все эти теологические тонкости в конечном итоге служили лишь знаменами для враждующих церковно-политических партий. Молинисты были сторонниками неограниченной папской власти; янсенисты отстаивали так называемые вольности галликанской церкви. После долгой и шумной борьбы, сопровождавшейся взаимными преследованиями, янсенисты, наконец, были формально осуждены папской буллой *Un genitus*. Не желая признать себя побежденными, они сделали попытку перенести борьбу в народные массы. С этой целью они начали устраивать в Париже, на кладбище св. Медарда, где был погребен один из их мучеников, дьякон Франсуа Ларис, торжественные ночные молебствия, несколько смахивающие на русские хлыстовские радения. Участники этих собраний, охваченные экстазом, падали на землю в конвульсиях, откуда присвоенное им название *конвульсионеров*. Вскоре эти собрания были запрещены, несмотря на все толки о мнимых чудесах и исцелениях, и помещение монастыря опечатано полицией. Вольтер написал по этому поводу злую эпиграмму:

*De par le roi. défense à Dieu  
D'opérer miracle en ce lieu.\**

\* По указу короля воспрещается богу творить чудеса на сем месте.

*К стр. 228.* Роберт Франсуа Дамьен — уроженец Артуа (латинское название провинции Атребазия), ранил перочинным ножом короля Людовика XV. Хотя Дамьен был невидимому человек душевно больной, его казнили с ужасными пытками; в Париже произошло множество арестов. Вольтер вспоминает по этому поводу два покушения на жизнь короля Генриха IV. Первое из них, совершившееся в декабре 1549 г., не имело серьезного характера и должно было только послужить предостережением монарху, покровительствовавшему протестантам. Второе, имевшее место 14 мая 1610 г., закончилось смертельным исходом. Все три преступника, по словам Вольтера, «наслушались глупостей», т. е. были религиозными фанатиками.

*К стр. 230.* Адмирал Бинг, — потерпевший поражение в битве с французским флотом, был обвинен и трусости и расстрелян по приговору военного суда в Портсмуте в 1757 г.

*К стр. 232.* Театины — нищенствующий монашеский орден, основанный в 1524 г.

*К стр. 237.* Пококуранте — по-итальянски означает, «Тот, у кого мало забот».

*К стр. 243.* Монахи Доминиканского ордена, занимавшиеся преследованием ересей, назывались во Франции якобинцами, потому что им принадлежала в Париже часовня, посвященная св. Якову. Их не надо смешивать с членами знаменитого клуба времен Великой Французской Революции.

*К стр. 248.* Иоанн Антонович — племянник императрицы Анны Иоанновны, был еще ребенком возведен на престол в 1740 г., но вскоре низложен и провел всю остальную жизнь в Шлиссельбургской крепости, где и убит в 1762 г.

Карл Эдуард — внук короля Якова II из династии Стюартов, неудачный претендент на английский престол в царствование Георга II.

Король Август II был изгнан из Польши в 1756 г. Станислав Лещинский в 1704 г. был избран на польский престол, под давлением шведской партии, но затем низвергнут своим соперником Августом I, опиравшимся на поддержку России, и удалился во Францию, где его дочь вышла замуж за Людовика XV. Он носил

титул Герцога Лотарингского, и Вольтер нередко бывал гостем при его дворе в Люневилле.

*К стр. 249.* Барон Теодор фон Нейгоф, вестфальский авантюрист, в 1736 г. был избран королём Корсики, восставшей против ига генуэзцев, но не смог удержаться и, всеми оставленный, умер в Англии в 1756 г.

*К стр. 251.* Рагоцци — династия Трансильванских владетельных князей. Последний представитель этого рода Франциск II предводительствовал восстанием венгерцев против Австрии, но в 1708 г. потерпел поражение и был вынужден удалиться сперва в Польшу, а потом в Турцию.

*К стр. 255.* Ичоглан — турецкий паж:

*К стр. 266.* Ut operaretur eum — «чтобы он его воздвигал» (цитата из Библии).

Кандид печатается в переводе Ф. К. Сологуба.

## ПРОСТАК

*К стр. 270.* Аврелий Августин — епископ Гиппонский (354—430), — один из знаменитейших отцов церкви, истинный основатель всего западного богословия.

Франсуа Рабле (1499—1553) — знаменитый французский писатель, автор сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», считался в свое время большим вольнодумцем и даже безбожником.

До 1769 г. Канада принадлежала Франции.

*К стр. 273.* Генри Сен-Джон лорд Болинброк (1678—1851) — английский государственный деятель, философ и писатель, проповедник религиозной терпимости, находился в дружеских отношениях с Вольтером, на которого имел большое влияние.

*К стр. 290.* Согласно легенде, изложенной в «Деяниях апостольских, придворный евнух царицы Канадаки, по имени Иуда, был окрещен в реке апостолом Филиппом.

При введении христианства в Европе духовенство систематически переделывало языческие мифы в легенды о христианских святых.

*К стр. 314.* Франсуа-Мишель Ле Теллье, маркиз де Лувуа (1619—1691) — военный министр и фаворит Людовика XIV, прославился своей энергией и жестокостью.

*К стр. 315.* Замок, построенный королем Карлом V — не что иное, как Бастилия, знаменитая темница, предназначенная для государственных преступников.

Пор-Рояль — известный женский монастырь в Париже и, кроме того, тесно с ним связанное общежитие для мужчин, находившееся за чертою города. Так называемые «господа» из Пор-Рояля вели монашеский образ жизни, хотя и не произносили монашеских обетов. Оба Пор-Рояля — мужской и женский — были главными твердынями яansenизма.

*К стр. 319.* Антуан Арно (1612—1694) и Пьер Николь (1628—1695) — два писателя по богословским и философским вопросам, принадлежали к числу отшельников Пор-Рояля (см. выше). Наибольшей известностью пользовался их коллективный труд «Логика Пор-Рояля».

*К стр. 320.* «Розыскания истины» — главное сочинение французского философа Николая Мальбранша (1638—1715), самого замечательного, после Декарта, представителя картезианской школы.

*К стр. 323.* Генрих IV — первый французский король из династии Бурбонов (царств. 1589—1610), любимый герой Вольтера, особенно прославился изданием Нантского Эдикта (1598), которым даровано равноправие протестантам и положен конец религиозным войнам во Франции.

*К стр. 323.* Фезензак Фезанзагет и Астарак — крохотные феодальные княжества на юге Франции.

*К стр. 325.* Почти все европейские народы старались по примеру римлян установить свое родство с выходцами из Трои. Фригиец, о котором говорится ниже, — мифический герой Эней, сын богини Афродиты, зять царя Приама.

Фукидид — знаменитый греческий историк V в. до нашей эры, составивший описание Пелопонесской войны.

Амадис Гальский — герой старейшего и известного из средневековых рыцарских романов.

*К стр. 326.* А п е д е в т ы — по-гречески невежды. Под этою кличкой Вольтер подразумевает Сорбонских богословов, которых немного ниже он называет л и п о с т о л а м и, т. е. носящими льняные одежды.

*Ю ст и н и а н* (царств. 527—565) — византийский император, известен как кодификатор римского права, вел долгие войны с персами и вандалами. Самым выдающимся полководцем на его службе был некто Велисарий. Несмотря на свои заслуги, Велисарий на старости лет подвергся опале и, по преданию, был ослеплен. В 1767 г. французский писатель Мармонтель, единомышленник и подражатель Вольтера, издал в свет роман о Велисарии и подвергся осуждению со стороны Сорбонны, усмотревшей ересь в этом довольно скучном произведении.

*К стр. 329.* «И ф и г е н и я», «Ф е д р а», «А н д р о м а х а» и «Г о ф о л и я» — пьесы величайшего из французских трагиков Жана Расина (1639—1699), перед которым благоговел Вольтер. «Р о д о г у н а» и «Ц и н н а» трагедии Пьера Корнеля (1606—1684).

*К стр. 332.* Жак Бенэн Б о с с ю э т (1627—1704) — выдающийся церковный оратор, историк и богослов, был епископом города Мо. Воздвиг яростное гонение против Жанны Марии Г ю й о н, плодовитой мистической писательницы, основательницы того направления религиозной мысли, которое получило название квиетизма.

*К стр. 337.* О т е ц Т у т а т у (Tout á tous) — букв. «Весь для всех».

*К стр. 361.* Луи Марильяк — маршал Франции, казнен в 1632 г. по проискам кардинала Ришелье, который был тогда первым министром слабовольного короля Людовика XIII.

*К стр. 373.* К а т о н М л а д ш и й — вождь римских республиканцев, покончил с собою, потерпев поражение в борьбе с Юлием Цезарем.

### ВАВИЛОНСКАЯ ЦАРЕВНА

*К стр. 379.* П а р а с а н г — персидская мера длины, около 4½ километров.

*К стр. 380.* С е м и р а м и д а — легендарная вавилонская царица, дочь богини Деркетто и супруга ассирийского царя Нина. Позднейшие народные предания при-

писывали ей все сколько-нибудь замечательные памятники ближнего востока, не только ассиро-вавилонские, но также персидские и египетские.

**Каллипи́га** — по-гречески Прекраснозная.

**Нимвро́д** — мифический основатель Вавилона, упоминаемый в Библии, которая называет его «сильным ловцом перед господом», т. е. знаменитым охотником.

*К стр. 381.* **Аписи Изи́да** — древне-египетские божества. Аписа чтили под видом быка.

**Систр** — музыкальный инструмент, состоявший из металлического лезвия с прикрепленными к нему на цепочке металлическими палочками, которые звучали, ударяясь о лезвие.

*К стр. 382.* **Гермес Трисме́гист** (Трижды Великий) — вымышленный автор теософского учения, излагаемого в нескольких книгах и отрывках эллино-египетского происхождения. Эти так наз. «герметические книги», появившиеся уже в христианскую эпоху, явились первоисточниками позднейшей западно-европейской алхимии.

**Веды** — священные книги древних индусов, представляющие собрание гимнов, богослужебных формул и объяснений к главным особенностям ритуала.

**Саки́** — искаженное японцами имя Сакия Муни, обоготворенного основателя буддийской религии.

*К стр. 384.* **Адо́нис** — мифический красавец, любовник Афродиты, растерзанный кабаном.

**Дикта́м** — целебное растение.

*К стр. 390.* **Юно́на** — древне-римская богиня, супруга Юпитера, обыкновенно изображалась в колеснице, запряженной павлинами.

*К стр. 399.* **Орома́зд**, иначе **Орму́зд** — божество света и добра в древне-персидской мифологии.

*К стр. 401.* **Ло́кман** — древне-арабский писатель, предполагаемый автор сборника басен, широко распространенного на востоке.

*К стр. 410.* В **Лампса́ке** находился храм Приапа, бога половой любви. Его культ сопровождался сладострастными обрядами.

*К стр. 414.* **Фени́кс** — сказочная птица аравийских легенд, воскресавшая каждый раз после того, как ее сжигали на костре.

*К стр. 423.* Камбала, правильное Хан-Балык (Город хана) — татарское название нынешнего Пейпина.

*К стр. 424.* Чужеземные бонзы — европейские миссионеры, главным образом иезуиты.

*К стр. 429.* Киммерийцами Вольтер называет русских. Киммерийская императрица — Екатерина II, которой писатель бессовестно льстил и от которой неоднократно получал богатые подарки.

*К стр. 430.* Иван Иванович Шувалов (1727—1797) — русский вельможа, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, первый куратор московского университета. При его участии Вольтер написал одно из наиболее слабых своих произведений «История России в царствование Петра Великого».

*К стр. 431.* Петр I.

Намек на вмешательство Екатерины II во внутренние дела Польши с требованием равноправия для православных.

*К стр. 433.* Наследный принц шведский, впоследствии король Густав III, после вступления на престол осуществил ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма. Королевское самодержавие было введено в Швеции с согласия сейма, при чем Густав опирался на горожан и крестьян.

Земля Сарматов — Польша. Философ на троне — король Станислав Понятовский (род. 1732 г., избр. королем 1762 г., сконч. 1798 г.). Вольтер оказался плохим пророком, потому что в правление Станислава совершились два раздела Польши, и страна потеряла свою независимость.

*К стр. 435.* Батавия — Голландия, имевшая в ту эпоху республиканское устройство, единственная страна на европейском континенте, где была установлена полная веротерпимость и допускалась свобода печати.

*К стр. 436.* Марк-Мишель Рей — голландский книгоиздатель, печатавший сочинения Вольтера. Страны Австрия и Вельхов — Италия и Франция.

*К стр. 437.* «Крестьянин-высочка» — роман Мариво; «Софа» — повесть Кребийлона Младшего; «Четыре фаркадена» — рассказ Гамильтона. Все эти произведения, бывшие в большой моде в середине XVIII в., отличаются крайне скабрёзным характером.



*К стр. 438.* Пифагор — наполовину легендарный греческий мудрец VI в. до нашей эры. Порфирий — философ неоплатоник (232—305) и Ямвлих (ум. 330) его ученик. Оба они отчаянно боролись против христианства, окончательно восторжествовавшего при их жизни в Римской империи.

*К стр. 440.* Виттенагемот — букв. «собрание мудрых». Так назывался совет родовых старейшин у древних саксонцев. Английские историки считают его отправной точкой для позднейшего развития всей английской конституции.

Древняя страна Сатурна — Рим.

Английский король — Иоанн Безземельный (царств. 1199—1216) формальным актом признал свое государство леном св. Престола. Старец семи холмов — римский папа.

*К стр. 441.* Пуритане и пресвитериане отчаянно боролись против государственной английской церкви и были главными виновниками Великой Английской Революции.

*К стр. 442.* Две партии, оспаривавшие власть над Англией XVII столетия, тори — партия крупных землевладельцев и виги — представители торгового и промышленного капитала.

*К стр. 446.* В Венеции XVIII в. было принято ходить по улицам в масках.

*К стр. 448.* Римские кардиналы носят пурпуровые, а епископы фиолетовые мантии.

*К стр. 450.* Имеется в виду папская булла Unigenitus осудившая учение янсениста Кеннеля. Она действительно состояла из 101 параграфа и была принята во Франции, несмотря на сопротивление частей высшего духовенства с архиепископом парижским кардиналом де Ноайлем во главе.

Нормандский священник — аббат Ле Геллье, духовник короля Людовика XIV.

*К стр. 452.* Лютеция — древнее название Парижа, означает грязь.

*К стр. 455.* Друиды — жрецы у древних кельтов. Бывшие друиды, — в данном случае, братья упраздненного в 1768 г. иезуитского ордена.

Козлы в серых одеждах — монахи ораторианды, которым были переданы учебные заведения, отнятые у иезуитов.

*К стр. 456.* Г-жа Жоффрен — хозяйка салона, где собирались писатели и философы. Она одно время жила в Польше, через которую проехал Амазан.

*К стр. 457.* По латыни *opus* — дело, *orega* — дела-произведения.

*К стр. 463.* Бетис — древнее название реки Гвадалквивира. Бетика — Испания.

Антропокай — инквизиторы. Ученый критик Вольтера Ларше (о котором см. ниже) указал здесь ошибку. Следовало бы сказать антропокости, т. е. сожигатели людей, но, повидимому, Вольтер предпочел смягчить выражение в ущерб его смыслу.

*К стр. 464.* Светские сотрудники инквизиции носили звание *familiars*, что означает свои или домашние люди.

*К стр. 466.* Испанский король Карл III, в царствование которого иезуиты были изгнаны из Испании. Одно время он старался также ограничить власть инквизиции, но потерпел в этом неудачу.

*К стр. 474.* В подлиннике говорится о *Benedicte* — латинской молитве, читаемой католиками перед обедом. Редактор счел возможным заменить это непонятное русскому читателю слово начальными строками соответственных славянских молитв.

*К стр. 475.* Аббат Франсуа Мари Коже (1723—1781) — ректор парижского университета, автор книги *Examen de Bélisaire* в которой с неодобрением отзывается об упомянутом выше романе Мармонтеля «Велисарий».

*К стр. 475.* Пьер-Анри Ларше, — французский филолог, переводчик Геродота, Еврипида и Ксенофонта. осмелился критиковать исторические труды Вольтера, чем вызвал неистовый гнев раздражительного певца «Генриады».

Нинон де Ланкло — французская куртизанка, знаменитая тем, что необычайно долго сохраняла свою молодость. Один из ее последних любовников аббат де Шатонейф был крестным отцом и покровителем Вольтера.

*К стр. 476.* Пьер-Франсуа Гюйо Дефонтен (1685—1745) — критик и литератор, сотрудник «Журнала Уче-

ных» и других периодических изданий; был обвинен в противоестественных половых сношениях с молоденьким савояром, трубочистом по ремеслу (этим объясняются непонятные, на первый взгляд, намеки в тексте); брошенный в тюрьму, Дефонтен освобожден из нее благодаря заступничеству Вольтера. Это не помешало ему в скором времени обрушиться на писателя с желчными обвинениями в ряде статей и отдельных брошюр, каковы «Вольтеромании», «Медиатор» и т. д. Вольтер никак не мог примириться с неблагодарностью Дефонтена и продолжал ожесточенно клеймить его много лет спустя после его смерти.

Авраам Жозеф де Шомей — французский критик и журналист, издал в 1758 г. восьмитомное сочинение «Справедливые предубеждения против энциклопедии», в котором укорял Вольтера и его друзей за вольнодумство.

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
П. С. Коган. Ф. М. Аруэ де Вольтер . . . . .	VII
Задиг или судьба. Восточная повесть . . . . .	3
Микромегас. Философская история . . . . .	105
Кандид или оптимизм . . . . .	135
Простак. Правдивая история, извлеченная из манускриптов П. Кенеля . . . . .	269
Царевна Вавилонская . . . . .	379
Примечания . . . . .	481



Цена 2 руб.  
Переплет 1 р.



ВОЛЬТЕР



ACADEMIA

ВОЛЬТЕР



Т. 1

ACADEMIA

1931

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО  
«АКАДЕМИЯ»

Правление: Москва, центр, ул. 25-го Октября, 10. Тел. 4-31-57.  
Отделение в Ленинграде: пр. Водозарский, 55б. Тел. 2-13-08 и 1-38-18.

BOABTEP

I

ACADEMIA